

Из глубины зываю...

(De profundis). - М. : Круг, 2004. - 271 с. : ил.

За правых — провидение.

Девиз на гербе Головкиных

Высказывать правду — мучительно.

Обречь себя на вынужденную ложь много хуже.

Оскар Уайльд.

Тюремная исповедь. (De profundis)

ОТ АВТОРА

В начавшемся 1993 году мне исполнится 85 лет. Так как я последний в роду, то с моим уходом уйдет в небытие и все накопленное в родовом сознании. Мои воспоминания не преследуют никакой общественно-литературной цели. Я не общественный деятель и не писатель. Между тем, в моей жизни, сломленной трагедией 1937 года, было немало такого, что предать забвению нельзя.

Взятые мной эпитафии не случайны. Девиз рода Головкиных, к которому я принадлежу (по матери), объясняет, как я остался жив после «колымского ада», из которого, как некоторые считают, не возвращаются. Изречение Оскара Уайльда определяет жанр моего повествования. Это, собственно говоря, не столько воспоминания, сколько история одной личной жизни, обрисованной не извне, а из глубины (*De profundis**), как это сделал Оскар Уайльд в своей тюремной исповеди. Великие произведения неподражаемы, но присматриваться к ним никому не возбраняется.

Я предвижу, что история моей жизни покажется многим читателям очень скупой на рассуждения. И они будут правы. Рассуждения — не мой удел. К тому же они не очень прочны, быстро устаревают. Мне же хочется, чтобы сказанное здесь никогда не подверглось конъюнктуре.

- 11 -

ИСАДЫ И СПАССК

Если бы я начал писать свои воспоминания много раньше, то, вероятно, не смог бы сделать те обобщения, которые могу сделать теперь. Для обобщений нужно очень много видеть и пережить, осмыслить. Так, например, сейчас я могу определенно сказать, что сложение мое как человека с определенной судьбой — это не цепь случайностей, а результат в основном действия среды, в которой я родился и провел юность, когда все воспринимается особенно остро. Родился я в Спасске — уездном городе Рязанской губернии в десять часов вечера 6(19) октября 1908 года, причем, по семейному преданию, — в сорочке.

Я родился в семье чиновника акцизного ведомства Карла Августовича Вагнера, происходившего из курляндских немцев. От немецкой природы отца мною унаследовано немало полезного и хорошего, что помогло мне выжить в самые трудные годы. Может быть, тут сыграло свою роль и мое рождение в сорочке? Во всяком случае, вряд ли из меня получилось бы то, что получилось, если бы отец женился на какой-нибудь спасской горожанке. Неизвестно, какими путями отец познакомился с дворянской семьей помещика Владимира

Николаевича Кожина, имени которого находилось в селе Исады на реке Оке, в 8-9 километрах от Спасска. Вероятно, это произошло в порядке несения моим отцом своей акцизной службы, в задачу которой входило наблюдение за производством продукции, подлежащей акцизу. У В. Н. Кожина был картофельный завод, производивший крахмал. Я думаю, что отцу приходилось ездить в Исады по этому поводу. Здесь и произошло его знакомство с В. Н. Кожиным и его семьей.

Я никогда не интересовался родом бабушки — кто он, от кого происходит. Мне это было безразлично. Только в зрелые годы мне стало известно, что род Кожиных ведет начало от слу-

- 12 -

жилого человека Великого князя Василия II (XV в.), от которого получил прозвище «Кожа». В числе предков Кожиных был чудотворец Макарий Калязинский (1-я пол. XV в.). Среди Кожиных было много военных. Село Исады было куплено у князей Ржевских в 1815 году Иваном Артамоновичем Кожиным, моим прадедушкой (или прапрадедушкой?).

Семья В. Н. Кожина состояла из его жены — Елизаветы Николаевны, урожденной Головниной, дворянский род которой восходит (по боковой линии) к известному мореплавателю и вице-адмиралу Василию Михайловичу Головкину (родовое гнездо Головкиных находилось в деревне Гулынки соседнего со Спасским Пронского уезда) и пятерых детей: Наталии, Людмилы, Ивана, Киры и Нины. Наталия, Людмила и Иван к тому времени, то есть к 1906/7 годам, уже обзавелись своими семьями. Таким образом, моему отцу выбирать не пришлось, он посватался за Киру. Судя по старой фотографии, свадьба была справлена в Исадах, а венчание происходило в усадебной (она же и сельская) церкви.

Если я не ошибаюсь, и мама действительно вышла замуж последней, то напрашивается размышление: почему так? Мне думается, что здесь сыграло роль поверхностное отношение мужчин к женской внешности. Судя по фотографии, мама была менее красива. Она была скорее в отца, у которого проскальзывали монголоидные черты. Ее мать (моя бабушка) была красавицей. Но мама была очень женственна, и, я думаю, папа оценил это. Вообще он был не дурак.

По сравнению с другими зятями и невесткой из дворян, мой отец («из мещан») был самым незнатным. Чем он расположил к себе моего деда? Точно ответить на это я не могу, но думаю, что В. Н. Кожин как рачительный хозяин довольно солидного имения «заприметил» в моем отце по-немецки делового человека, что ему импонировало, вернее, внушало доверие, а может быть, и надежду видеть в нем делового помощника. На сына Ивана он, кажется, не очень надеялся, так как тот уже проявлял интерес к социал-демократическим настроениям. На других зятев — тоже.

После свадебной поездки в Ялту отец и мать обосновались в городе Спасске, где вскоре я и родился. Тогда у родителей еще не было собственного дома, они снимали квартиру в деревянном доме Полетаевой, что находится напротив современного Райкома. Судя по кованым гвоздям, дом этот один из старейших в Спасске. Он стоит и до сих пор.

О своей жизни в этом доме я, конечно, ничего не помню. Не знаю также, когда мы переехали в другой дом на бывшей Озер-

- 13 -

ной улице (теперь ул. Фаткина, д. № 18), который, по рассказам, был куплен и подарен моим родителям бабушкой. С этим домом у меня связаны яркие и светлые воспоминания.

По словам Анны Ахматовой, «Говорить о детстве и легко и трудно. Благодаря его статичности его очень легко описывать, но в это описание слишком часто проникает слащавость, которая совершенно чужда такому важному и глубокому периоду жизни, как детство. Кроме того, одним хочется казаться слишком несчастными, другим — слишком счастливыми. И то и другое обычно вздор»¹.

Несмотря на мое глубокое уважение к великому поэту, я не могу с этим согласиться. Все зависит от «нацеленности» и «настроенности» воспоминаний. Как я сказал в самом начале, мои воспоминания не носят литературного характера. Они скорее — дань родственникам, которые моложе меня и которые, следовательно, не знают того, что знаю я. Фактологическая сторона воспоминаний мне дороже, нежели эмоциональная. Поэтому, надеюсь, слащавости мне удастся избежать. Что же касается «вздора», то, в противовес мнению Анны Ахматовой, мне было с чем сравнивать мое детство, значит, я мог уже тогда его «чувствовать», а со временем это чувство оформилось в сравнительную оценку. Насколько это внушает доверие — пусть судит читатель.

Дом № 18 на Озерной улице имел по фасаду шесть окон и крыльцо в виде «фонаря» с разноцветными стеклами (не сохранилось). Довольно большую протяженность дом имел и в глубину двора. В доме имелись

большая гостиная, столовая, детская комната, спальня родителей, кабинет отца и, конечно, передняя, кухня и комната для нашей няни. (Пишу для «нашей», так как вслед за мной родились мои братья Владимир и Орест). Кроме того, во двор, за которым располагался сад, выходила терраса. Это был уютный дом, обставленный без претензии на роскошь, но все же добротно. Мне запомнились большие буфеты и картины в гостиной. Одна из картин принадлежала кисти Крачковского; две других — безымянных художников. В гостиной стоял черный рояль фирмы «Ratke», на котором играла мама. К роялю и игре на нем матери я еще вернусь.

Как это ни странно, но наиболее ранние воспоминания у меня связаны не со Спасском, а с Исадами. Здесь, у гостеприимного дедушки, проводили летнее время не только мы, но и семьи дру-

1 Анна Ахматова. Сочинения. М., 1986. Т. 2. С. 243 — 244.

- 14 -

гих детей деда — Лихаревы (Наталья вышла замуж за Николая Матвеевича Лихарева, владельца мелкой усадьбы Плуталово), Кашкаровы (Людмила вышла замуж за ихтиолога Даниила Николаевича Кашкарова), Кожина (семья Ивана Владимировича) и Лызловы (Нина вышла замуж за музыканта и прокурора Бориса Николаевича Лызлова). Места хватало всем, так как в имении деда было два больших каменных двухэтажных дома — «красный», в котором жили зимой, и «белый», в котором проводили время летом. Дома эти, и вообще все имение, не были созданием деда. Как уже было сказано, имение было куплено дедом Владимира Николаевича Кожина, то есть моим прапрадедом — Иваном Артамоновичем Кожиним в 1815 году у Ржевских, некогда князей, но утративших княжеский титул. Мой дедушка появился в Исадах только в 1881 году и быстро привел захиревшее владение в хорошее состояние².

Я вспоминаю Исады как земной рай. Оба дома стояли на высоком правом берегу реки Оки, «белый» — почти у кромки обрыва, а «красный» — отступя от него, так что перед ним оказалось место громадному цветнику, которым «владела» бабушка. За дворовыми фасадами домов располагались конюшня, скотный двор, птичник, амбары для зерна, большой колодец с конным приводом и на самом дальнем конце — гумно с молотилкой. Все эти постройки обрамлялись с одной стороны оврагом, заросшим лесом («Детинух»), а с другой — громадными садами и церковью, за которыми находилось село Исады. За «Детинухом» простирались дедовские поля. За Окой, на так называемой «Детянке», располагались покосные луга. Для нас, маленьких детей, это был огромный мир, полный самых разнообразных романтических впечатлений. Начать с домов. Большая часть «красного» дома (второй этаж), который дедушка, не склонный к идеализации, называл «сундуком»³, была довольно непрезентабельной, так как все это были владения детей и внуков, съезжавшихся в Исады летом. Зато комнаты дедушки и бабушки вызвали у меня лично какое-то благоговение. Сюда мы допускались редко, и каждое посещение накладывало свой отпечаток. Комнаты дедушки, размещавшиеся в торцовой части дома с видом на церковь, были похожи на кунсткамеру. Чего только здесь не было, начиная с громадных шкафов с книгами и кончая бивнями мамонта! Где-то в глубине, за всей этой ученостью, стоял большой письменный

2 См. подробнее: Кошин В.Н. Село Исады на Оке-реке. Рязань, 1915.

3 Село Исады на Оке//Столица и усадьба. Пг., 1916. № 52.

- 15 -

стол, за которым чаще всего и находился дедушка. Он не был особенно строг, конечно, любил всех нас, давал всем внукам забавные прозвища (меня, например, почему-то называл Гурликом, брата Владимира — Максом...), но фамильярности с нами он никогда не допускал, почему между нами и им всегда (даже позже) сохранялась какая-то психологическая дистанция.

Бабушкины комнаты запомнились мне в виде оранжереи, среди которой расставлена мягкая мебель. Бабушка была чудесной доброты и всегда чем-нибудь нас угощала. Поразительно, что она никогда не кичилась своим родством с вице-адмиралом Головкиным, хотя хранила память о нем, о чем я скажу ниже.

В центральной части «красного» дома находилась большая столовая, за длинным столом которой по звону специального колокола, располагавшегося близ дома, собирались все. У всех были свои места, дети сидели

около своих родителей. Распоряжалась едой бабушка, но все сидели под наблюдением бабушки. Прием еды происходил чинно, я не помню никаких затрапезных вольностей.

Почему-то мне не запомнились завтраки и ужины, а также чаепития. Зато хорошо запомнились обеды. Пристрастия к вину не было. Блюда подавал лакей Иван. Он подносил их бабушке, которая и наполняла тарелки всех по очереди. Нам, детям, конечно, после всех.

У бабушки с бабушкой был хороший повар. Я до сих пор помню ароматный суп с гусиными потрохами, стерляжью уху, телячьи окорока, цыплят в сухарях, гренки со шпинатом, спаржу, шоколадную яичницу, рыбный кокиль, просвирки в корице. (Странно, что кухня была на первом этаже. Приготовленные блюда нужно было нести по большой деревянной лестнице наверх. Но еда всегда была горячей!)

«Белый» дом казался более романтичным. Его большие комнаты были похожи на залы дворца, наиболее парадные комнаты были меблированы в стиле ампир, на стенах висели громадные портреты в сложных рамах, по углам располагались стойки с различными чубуками. Были здесь стеклянные витрины с дорогой посудой и прочим. Но мне почему-то больше всего запомнились песочные часы. Было очень интересно смотреть, как из одной колбы в другую струится тончайший песок. Никакой ассоциации с быстротечностью жизни у меня, конечно, не возникало, я еще не знал, что такое Жизнь!

Для нас, детей, главной примечательностью «белого» дома был большой балкон, шедший вдоль выходящего на Оку длинно-

- 16 -

го фасада. Здесь летом обедали. В углу балкона стояло древко с флагом, которым любому дозволялось размахивать в адрес проходящего парохода. Это было одним из любимых наших развлечений. Стоило услышать шлепание колес парохода или увидеть его приближение из-за поворота Оки, как мы бежали на балкон и приветствовали пароход. С парохода, как правило, отвечали. Этот обмен приветствиями, возникавший совершенно непроизвольно, заронял в наши души зачатки этики.

За «белым» домом узкая тропинка среди кустов сирени вела на так называемую Красную горку — площадку на самом острове мыса, образованного высоким берегом Оки и оврагом «Детинух». Здесь стоял большой деревянный грибок со скамьями под ним. Отсюда открывалась перспектива на уходящую вправо (вниз по течению) Оку и на видневшееся вдаль имение Муратовых — владение Кашкаровых (имение Муратовых было подарено бабушкой). Берегом вдоль реки туда мы нередко бегали. Но об этом — в своем месте.

Наиболее поэтические воспоминания связаны, естественно, с «Детинухом» и обширными дедовскими садами. «Детинух» в то далекое время представлял густой лес. По дну оврага бежал ручей Шуриха, берущий начало у святого колодца. Почему он назывался святым — никто из нас не знал, но здесь все ветви кустов были обвешаны разного цвета лоскутками и крестиками, внушавшими почтение, так что наше отношение к этому месту было проникновенным.

На старых деревьях «Детинуха» в изобилии гнездились грачи. Залезть на дерево, посмотреть или даже достать (для коллекции) грачиное яйцо — было особой доблестью. Этим отличался Юра Кашкаров. Но мы его за это осуждали.

Среди «Детинуха» возвышался бугор, или останец, носивший название Лысая гора. Видимо, это название дал кто-то из старших, может быть, под впечатлением музыки Мусоргского. Ни Мусоргский, ни его музыка нам, детям, в то время не были известны, но что-то страшное, ведьмаческое с Лысой горой ассоциировалось, и мы ее избегали.

С дедушкиными садами связаны яркие воспоминания, не столько романтические, сколько игровые. В Исадах у бабушки было два больших сада — верхний и нижний. Они разделялись бульваром, ведущим из имения в деревню. Верхний сад считался дедушкиным, а нижний — бабушкиным.

Верхний сад скорее всего отцом Владимира Николаевича был обсажен елями, которые в дни нашего детства образовали теннис-

- 17 -

тые густые аллеи, густые настолько, что в них стоял полумрак и одному идти по аллее даже днем было страшновато. Так и казалось, что вот-вот кто-то выскочит из-под ели. В некоторых местах из аллеи были лазы в сад, и мы скоро хорошо изучили и запомнили, у какого «лаза» находятся яблони или груши с особо вкусными плодами. В глубине сада можно было заплутаться, а отдаленные части его так и оставались нами «не освоенными». Недалеко от садовых ворот росли вековые липы, под которыми иногда пили чай. По соседству находился громадный амбар, или, вернее, шалаш, крытый дражкой на два ската. Сюда, в специальные дощатые

отсеки собиралась из сада падаль плодов. Аромат в шалаше стоял чудесный. Богатство сортов яблонь и груш рано развили в нас знание сортов самих плодов, большинство из которых из-за суровых зим и экспериментов Мичурина совершенно вывелись. Сейчас, например, мало кто знает, что такое «терентьевка» или «чернодеревка»...

В саду находились плантации клубники. Сюда без разрешения нам заходить запрещалось, но так как «запретный плод слаще», то сторожа нередко гонялись за нами с палкой. Свободный доступ зато был в вишневику, и нам доставляло большое удовольствие залезать на старые вишни, чтобы клевать ягоды сверху. Особое любопытство почему-то вызывал застывший на стволах вишневый сок, из которого делали клей. Мы никакого клея, конечно, не делали, но эту смолу собирали и даже жевали.

Нижний (бабушкин) сад рос на более низкой приречной террасе, был более молод, разрежен и прозрачен. Его преимущества для нас состояли в том, что садовый склон, спускаясь к реке, переходил в лес, называвшийся почему-то Английским садом (вероятно, по иррегулярности?). Вот здесь-то мы и играли в фениморкуперовских героев, копали в склонах берега пещеры, строили крепости, устраивали засады и т. п.

За пределы имения мы удалялись лишь в таких случаях, как поездка на лошадях в Спасск, прогулки в соседнее Муратове, походы за ягодами на «Дегтянку». Последнее было связано с увлечением греблей; несколько шлюпок всегда было в нашем распоряжении. На шлюпках мы уплывали на песчаный остров у поворота Оки, где было отличное купание. Здесь можно было играть и в Робинзона. Купаться нас отпускали под присмотром Лели Лихаревой, нашей старшей кузины, очень красивой девушки. Любопытно, что ее красоту я переживал уже тогда! Не было ли это чувство врожденным? Из Исад в Спасск (и обратно) обычно ездили на тройке серых «в яблоках» лошадей (коренник

- 18 -

Барон был белый) с поддужными колокольчиками. Дорога проходила через поля, овраг Марицу и выходила к Оке у Старой Рязани. Здесь переправлялись через реку на пароме. Тройка дедушки всегда ставилась в центре.

В Муратове мы любили бегать по тропинке вдоль Оки. Запомнились выходы яркой голубой глины и красноватого песка в склонах берега и запах ивняка. В Муратове все было скромно, но по-чеховски поэтично. У Муратова Ока делала поворот, за которым было село Срезнево. Там, мы знали, жил святой отец Филарет. Я помню этого худого рыжебородого монаха — он бывал в Исадах и пользовался глубоким уважением как ясновидец. В 1930-е годы он погиб в концлагере.

Летнее пребывание в Исадах воспитывало чувство природы, ее красот, причем красот не экзотических, а обычных среднерусских. Вероятно, поэтому у меня формировался интерес больше всего к сочинениям Тургенева, отчасти — Льва Толстого, но не Достоевского. Думаю, в этом проявилось и то, что окружавшие нас взрослые — все были своего рода облонские, ростовы, Левины, долли, китти, но ни коим образом не Карамазовы. Даже не было кого-либо подобного Анне Карениной и Вронскому.

Хочу добавить, что наше общение с исадской природой было не созерцательным, а активным. Например, нам, мальчишкам, очень нравилось бывать в конюшне, гладить мягкие носы лошадей, давать им куски хлеба. Особый восторг вызывало проникновение в каретный сарай, где кроме выездных летних экипажей стояло много старых зимних возков. Здесь стоял особый запах кожи, конского пота, здесь можно было, взгромоздившись на козлы, воображать себя кучером, управляющим горячей тройкой.

Любовь к лошадям распространялась и на работу, которую они выполняли. Нам доставляло большую радость, если рабочие (у деда работали пленные австрийцы)⁴, вывозившие навоз на поля, брали нас с собой. На обратном пути нам разрешалось сесть на

⁴ У пленных австрийцев было трогательно-любовное отношение к нам. Дедушка, видимо, относился к ним хорошо. Осип работал доярком. По вечерам он любил сидеть на скамейке под окнами дедушкиного кабинета. Мартын хорошо рисовал. Мне он дарил нарисованные акварелью открытки. Он же и столярничал. Когда однажды в столярке я порезал себе ногу ножом, то Мартын с километр нес меня на руках к дому. Шрам на моей ноге до сих пор напоминает мне о благородстве этого человека.

лошадь верхом, и тут начинались скачки наперегонки через поля, без всяких дорог. Иногда нам удавалось сесть на лошадь верхом без упряжи, когда их гнали на водопой. Но это было страшновато.

К стаду коров нас не влекло, тем более, что в стаде гулял громадный злой и бодучий бык. На его лбу всегда была прикреплена доска.

Из полевых работ нам больше всего нравилась жатва. Для вывоза с поля снопов хлеба «мобилизовывались» не только рабочие, но и выездные лошади, и мы, конечно, пристраивались к возам, чтобы, лежа на самом верху, на духовитых снопах, затем возвращаться с пустыми телегами снова на поле, но уже бешеной рысью, даже галопом.

Нездоровой стороной усадебного быта было то, что за нами особенно не наблюдали, и в поле нашего любопытствующего зрения попадали иногда такие картины, как случки лошадей и коров. Сути этого необходимого в хозяйстве дела мы не понимали, но яркие картины производили свое впечатление, отразившись даже на наших домашних играх в лошадок. Я до сих пор переживаю чувство стыда, когда меня кто-то укорил в бесстыдстве подобных игр.

Ездить летом к дедушке в Исады мы продолжали до 1918 года, когда его выселили из имения. К тому времени мне исполнилось 10 лет. Что-то, как говорится, я уже «начал соображать». Я, например, уже не просто сидел в экипаже, но наблюдал, как пахут крестьяне, как плоха дорога, как поэтично выглядят кусты шиповника в кюветах. Это отразилось на особом восприятии «Хаджи Мурата» Толстого и даже на моей книге «Рязанские достопамятности», написанной через... 60 лет! Вот какова сила исадских впечатлений! За проведенные в Исадах годы я, конечно, смог достаточно глубоко впитать в себя усадебный дух, любовь к природе, к сельскохозяйственным работам, что позднее сказалось и на моем мировоззрении.

* * *

Жизнь в Спаске я начал помнить примерно с того времени, как меня стали готовить в школу. Это совпало с началом Первой мировой войны. Так вот, мне запомнилось, что нас — трех карапузов — соседские мальчишки дразнили:

- 20 -

Немец-перец колбаса —
кислая капуста!
Съел мышонка без хвоста,
показалось вкусно!

Дразнение, однако, не переходило во вражду. Дети есть дети, а не политики.

Что было до 6 лет — я совсем не помню. С шести или семи (?) лет меня определили к одной старой учительнице — Марии Сергеевне Селезневой, которая у себя на дому подготавливала ребят к первому классу. Это была очень добрая старушка, которая иногда спрашивала уроки, находясь за шторами в соседней комнате, и у меня иногда хватало бесстыдства, пользуясь этим, отвечать, подсматривая в учебник. Конечно, я был на этом пойман и устыжен безмерно. Надо же было случиться этому на Законе Божиим! Между прочим, я уже тогда почувствовал себя не очень способным к учению. Я мог вслед за преподавателем (это было уже в начальной школе) повторить подряд несколько строк прочитанного перед этим стихотворения («Помнишь, Саша, как лес вырубали...»), но когда приходилось отвечать по арифметике (позднее по математике, алгебре и проч.) я робел и часто проваливался.

В начальной школе мне запомнился чудесный преподаватель и добрейший человек Александр Михайлович Постников. Других учителей я не помню. Перейдя потом в бывшее реальное училище (так называемая первая ступень), я тоже не обнаружил ни способностей, ни интереса к учителям. И только с переходом в бывшую гимназию (школа второй ступени) началось мое «влечение к предметам» и учителям. Но это было время, когда уже ушли в небытие Исады. Хочу немного рассказать об этом событии. Оно было поворотным в моей жизни.

Конечно, в происходящих в стране исторических переменах мы, дети, ничего не понимали. Взрослые об этом, несомненно, говорили, но до нас их разговоры не доходили. Каков бы ни был дедушка, может быть, даже очень хорошим в мнении исадских крестьян, но ему грозила потеря всего имения. И это состоялось. Хорошо помню, как однажды (это было, кажется, в 1918 году) зазвонил в набат колокол усадебной церкви, около «красного» дома собралась толпа, и мы узнали, что пришла новая власть и нашей жизни в Исадах приходит конец. Это произошло не сразу. Сначала у дедушки отобрали «белый» дом и заселили его детьми погибших

«коммунаров». Конечно, с этими детьми мы вскоре познакомились, даже вместе играли, научились нехорошим словам. Однажды за обеденным столом я произнес вслух одно из

- 21 -

21

самых плохих слов, чем вызвал переполох. Отец выскочил из-за стола, погнался за мной (я, конечно, дал стрекача) вокруг дома, но я хорошо спрятался среди штабелей дров. Под плохим влиянием детей «коммунаров», которые, вероятно, уже прошли сквозь огонь, воду и медные трубы, у меня пробудился нездоровый интерес к деньгам. Мне они, конечно, не были нужны, но у меня их просили. И вот однажды я украл бумажные деньги из комода. Украл и спрятал их, зарыв в саду. Конечно, пропажа обнаружилась, я был изобличен и с позором наказан. Это ощущение позора гнетет меня до сих пор. Деньги-то были, как оказалось, не мамыны и не папины, а нашей добрейшей няни Параша, к тому же — моей кормилицы (как мне говорили).

События развивались. Пришло время — отобрали и «красный» дом, и вообще все имение, предложив деду покинуть Исады. Он переехал в наш спасский дом. Дедушка был очень гордый, он вышел из дома за усадьбу в поле, на дорогу в Спасск, как бы на прогулку. Здесь его догнала тройка с любимым кучером Александром и... прощай, Исады.

Должен оговориться: у дедушки отобрали не все. Во-первых, ему предоставили право оставить за собой и вывезти из Исад все вещи, которые он пожелает⁵. Кажется, дедушка ничего не пожелал, предоставив это сделать детям. Тогда кое-что взяли себе тетя Нина (ампирную мебель) и другие, но кто и что взял — не помню. Мои родители если что и взяли, то скорее что-то из столового серебра, но не мебель. Удивительно благородные были люди! По нынешним понятиям — дураки... Во-вторых, детям дедушки был выделен надел земли и для обработки ее — три лошади. Помню, как дядя Ваня взял меня однажды в поле за «Детинухом», где он что-то размерял маховой саженью. Помню и уборку первого урожая, но затем от этого дела почему-то все отказались. В-третьих, нам (я имею в виду своих родителей) разрешили осенью пользоваться частью садового урожая. Мы приезжали в Исады на отцовской лошади Ястребке, ночевали в доме священника Утешинского и, нагрузив телегу мешками с яблоками, возвращались в Спасск. Поездки эти были для нас, детей, интересны, но никакого сожаления по поводу потери Исад я лично не переживал. До того был глуп... Я не задумывался и над судьбами своих тетушек и дяди Вани. Между тем, тетя Нина пере-

⁵ Это было жестом благородства со стороны Московской музейной комиссии, в которой были известные деятели — П. Воскресенский и Ю. Сергиевский.

- 22 -

бралась с мужем в Курск (от 1919 года сохранились ее красивые курские фотографии), откуда им вскоре пришлось бежать в Крым, где Борис Николаевич был арестован и расстрелян (советской властью). Оставшись совершенно одинокой, тетя Нина пережила тиф и приехала к нам в Спасск с остриженными наголо волосами. С этого времени я стал самым любимым ею из племянников. Вскоре легальные поездки в Исады прекратились и пришлось ездить и пробираться в сад уже потихоньку, пользуясь знакомством сторожей. Постепенно Исады уходили в прошлое, но оставалось в душе, причем осталось на всю жизнь, воспоминание о чем-то необыкновенно прекрасном, золотом...

Жизнь в Спасске приобрела сложность, и это уже мной осознавалось. В связи с начавшимися крестьянскими волнениями, дедушку, как «заложника», посадили в спасскую тюрьму за высокими белыми каменными стенами. Там были и другие «заложники» из спасских купцов. Помню, как мама носила передачи дедушке. По ее словам, он переносил свою судьбу стоически. А ведь было отчего впасть в уныние, даже отчаяние: вчера — хозяин большого, прекрасно налаженного имения, сегодня — заключенный... Между тем за дедушкой не числились никакие политические грехи. Мы вообще никогда не слышали, чтобы он вмешивался в политику. Но он презирал бескультурье. Спасск он называл не иначе как Свинском.

Вскоре дедушку освободили, и он снял квартиру недалеко от нашего дома, а обедать приходил к нам. Бабушка переехала из Исад в Рязань к дяде Ване⁶.

На нашем Ястребке я возил дедушке воду, он сам помогал мне таскать из бочки ведра воды, и я удивлялся его спокойной выдержке. Ни слова жалоб! — это я хорошо помню. Он был выше всего. За подвозку воды

дедушка давал мне серебряный рубль. Как я мог брать его тогда — ума не приложу! Вероятно, представление об этике у меня было неразвито. (Вот тебе и махание флагом с балкона «белого» дома!) Зато мне было очень лестно получить однажды от бабушки в подарок альбом с репродукциями картин Айвазовского с надписью: «Дорогому Гурлику от бабушки. Город Свинск». И дата. «Свинск» я хорошо помню, а дату — нет! С цифрами у меня всегда было плоховато. Вероятно, поэтому я никогда не мог постичь «все закономерности бытия» (П. А. Флоренский) и жил больше интуицией.

б Некоторое время она жила в Спасске.

- 23 -

Голодные 1919 — 1920-е годы мы прожили в Спасске довольно терпимо, прежде всего потому, что папа, продолжая служить по акцизному ведомству, часто ревизовал уездные спиртоводочные заводы, и за работу ему давали немного спирта. Самое тяжелое (в смысле тогдашнего питания) я вспоминаю овсяный хлеб (мне он очень нравился) и пшеничную кашу с тремя ложками молока. Не так уж плохо! Лебеду, слава Богу, мы не пробовали.

Здесь я должен был бы перейти к описанию нашей спасской жизни, но мне хочется дорассказать все о бабушке и бабушке.

Не могу вспомнить, почему бабушка и бабушка оказались в Спасске на разных квартирах. Вероятно, вот почему. С введением нэпа мой дядя Иван Владимирович вместе с двумя своими приятелями взял в аренду бабушкин картофельный (крахмальный) завод, находившийся в двух километрах от Исад, на том же берегу реки Оки. Дедушка с тетей Ниной и переехал туда жить. В это время бабушка оставалась в Спасске. Мы навещали ее, и одним из памятных дней был тот, когда она достала из сундука небольшую желтоватого цвета книжку и стала читать нам ее. Это было знаменитое описание В. М. Головкиным его плена у японцев в 10-х годах XIX века. Книжка была, вероятно, семейной реликвией, и я не могу простить себе, что не проявил никаких забот о ее сохранении.

В 1924 году бабушка умер от сахарной болезни. Помню, как мама и я шли пешком из Спасска на картофельный завод, неся парчовое покрывало на гроб. Гроб бабушки несли на руках через все поле в Исады под похоронный церковный звон. Папа почему-то прибыл позднее. Я запомнил, как, пересекая без дороги поле, он почти бежал навстречу процессии. «Какой папа молодец», — подумалось мне. Я хорошо помню, что так подумал тогда. Похоронили бабушку у южных дверей церкви.

А в 1925 году умерла и бабушка. В то время она жила уже в Рязани, и дядя Ваня вез гроб с ее телом в Исады. Была зима. Поздно вечером в наш двор въехали сани с гробом, которые всю ночь стояли во дворе. На следующий день поехали в Исады. Отпевание в церкви я помню до сих пор. Бабушкину могилу выкопали рядом с бабушкиной. Они почти заросли, вечно напоминая мне о моем бездушии...

Так незаметно детство пролетело.
Светлела память, укреплялась сила,
И чувства, зароненные в те дни,
Не умирали; мир воспоминанья

- 24 -

Их сохранил, как яркие огни,
Зажженные на самом дне сознания.
В. М. Василенко

(Мне не раз придется обращаться к стихам моего друга, искусствоведа-поэта Виктора Михайловича, судьба которого очень похожа на мою.)

С тех пор наша связь с Исадами прекратилась. Никто не позаботился поставить кресты на могилах, могилы заросли бурьяном, и теперь их место даже трудно установить. Я живу надеждой, что после реставрации исадской церкви (она является памятником времен Прокопия Ляпунова, которому в XVII веке принадлежали Исады) мне удастся их восстановить. Удастся ли? Пока же я ограничился довольно подробными воспоминаниями об Исадах, опубликованными в нью-йоркском издании «Новый журнал» (№ 183, 1991 г.), в

московском еженедельнике «Русский курьер» (№ 43, 1991 г., и в спасской газете «Знамя» (№ 33, 35, 37, 39, 1992 г.). Все-таки это тоже своего рода память о дедушке и бабушке.

В качестве ремарки хочу сказать, что публикация моих детских воспоминаний о «земном рае» у дедушки в Исадах, доброжелательно встреченная в центральной прессе («Русский курьер»), подверглась неприязни со стороны некоторых читателей моего родного города Спасска. Основание: как это человек, родители которого жили «не своим трудом», мог предложить газете свои воспоминания? Читатель настоящих воспоминаний, вероятно, догадается, с чьей стороны была выражена классовая неприязнь. Увы, дух большевизма в провинции очень силен.

Между тем, наша жизнь в Спасске текла своим чередом. Если летнее пребывание в Исадах заложило в меня основы природолюбия и «эстетики сельского быта», то спасская жизнь добавила много хорошего и от себя. Спасск был почти исключительно сельскохозяйственным городом. Из промышленности здесь было только два завода — кожевенный и картофельный. Больше ничего. Все население имело наделы земли и лугов, которые сами и обрабатывали. Почти у всех были лошади и коровы, так что спасские жители мало чем отличались (по положению) от крестьян. И все же отличались и даже существенно.

Сейчас без специального исторического исследования трудно даже сказать, что обусловило довольно сложную специфику Спасска как города. Какие программы были у тех, кто закладывал основы города, утверждал план его застройки? Из чего они исходи-

- 25 -

ли, о чем думали, какие перспективы вынашивали? Или же ничего этого не было, а все шло стихийно? Особенно трудно представить себе Спасск в XIX веке, до 1913 года, когда в городе началось интенсивное строительство больших кирпичных школ, здания земской управы и пр. Примерно к этому времени относится и деревянная жилая застройка города, сохраняющаяся до сих пор.

С начала XX века Спасск превращается в средоточие «среднего сословия» — интеллигенции, состоящей из учителей, врачей, разного рода служащих. В этой среде растворялось то, что принято называть мещанским сословием, а также мелкое купечество. Занимаясь по необходимости сельским хозяйством, население города не превращалось в крестьян. Будучи мещанским по социальному происхождению, оно не было похоже на мещан. Благодаря многочисленному знакомству моих родителей, знакомству вовсе не «сверху вниз», а «на равных правах», мне казалось, что весь город состоит из интеллигенции. Жизнь и деятельность местной интеллигенции удивительным образом накладывали печать на общественное лицо города, что особенно было ощутимо в годы нэпа.

Дом моих родителей был очень показателен в этом отношении. О нем надо сказать особо.

Моя мать, Кира Владимировна, хотя и была дочерью помещика, нисколько не впитала в себя ни дворянской кичливости, ни помещицкой брезгливости к новому строю жизни. Я думаю, что это происходило не из равнодушия к политике, а потому, что она обладала широкой поэтической душой. Она училась в Москве в Екатерининском институте, где фортепьяно ей преподавал сам Рахманинов (на выставке фотографий к юбилею Рахманинова можно было видеть маму, сидящую рядом с Рахманиновым за роялем). Не знаю, была ли мама способной или рядовой ученицей, но она хорошо играла, бегло читала с листа и в Спасске считалась лучшей музыкантшей. Ее всегда приглашали как аккомпаниатора приезжие артисты. Дома она много играла (любимыми композиторами ее были Бетховен и Шопен). У мамы брали уроки музыки много спасских девочек. Впрочем, были и взрослые, даже пожилые ученицы. Отец получал не такое уж большое жалование, надо было ему помогать. Мама была очень трудолюбива, что, казалось бы, нельзя было ожидать от помещицкой дочери. Кроме того, она была очень доброй и высоко этичной натурой.

Так вот, наш дом, благодаря артистической натуре мамы, всегда притягивал к себе как местных спасских артистов, так и

- 26 -

приезжих из Рязани и даже из Москвы. В то время столичные артисты любили ездить в провинцию, где можно было разжиться продуктами. Так мы узнали братьев Пироговых, артисток Степанову, Миклашевскую и других. Все они репетировали у нас, оставляя маме автографы на нотах. Об этом много позднее я опубликовал в спасской газете «Знамя» статью «Дом, в котором пел Пирогов». (Про Григория Пирогова мне рассказывали, что, получив гонорар за концерт головками сыра, он был задержан в Спасске и выпущен лишь по телеграмме Луначарского).

Но спасская интеллигенция и сама проявляла активность. В начале 1920-х годов ее силами и при обязательном участии мамы в городском театре были поставлены две оперетты: «Ночь любви» и «В волнах

страстей». Музыкальные вечера в нашем доме иногда затягивались до рассвета. Это никого тогда не удивляло, не вызывало недовольства соседей. Наоборот, под окнами собирались слушатели и даже однажды, помню, конная милиция подъехала посмотреть — что здесь такое происходит? И — ничего! Возможно ли это в наше время? Вероятно, мещанские души подали бы на папу и маму жалобу в Горсовет. Или к родителям применили бы репрессивные меры. Ведь считается, что культура повысилась...

Другим средоточием спасской художественной самодеятельности был дом местного врача М. П. Казанского, племянница которого, Александра Николаевна Терновская, высокоодаренная художественная натура, приезжала на лето из Москвы со своей дочкой Алей и устраивала для нее и ее подруг самодеятельные детские спектакли. А. Н. Терновская очень дружила с моей мамой, у них, кажется, существовало «соглашение», что в будущем Аля должна стать моей женой. Так оно и произошло, но прежде чем этому суждено было осуществиться, много воды утекло, пережиты были многие драматические события, о чем ниже.

Наполненность нашего дома музыкой способствовала музыкальному развитию и моему, и моих братьев. Во время репетиций с артистами нам разрешалось присутствовать в невидимых местах. Помню, как нам приходилось лежать и под кроватью мамы, которая в ту пору находилась в гостиной. Любопытно, однако, что попытки мамы давать нам уроки музыки ни к чему не привели. Почему-то мама не была для нас авторитетна как учитель. Тогда мама определила меня к местной артистке Нине Михайловне Калачевой. Это была красивая полная блондинка, сильно надушенная, меня тревожил этот аромат, и уроки не ла-

- 27 -

дилась. Кажется, Нина Михайловна от меня отказалась. Я об этом тогда не жалел, но теперь готов кусать локти, так как со временем понял великое свойство музыки возвышать душу и вообще мировоззрение.

В школе же все мы трое активно участвовали в музыкальном кружке, в оркестре струнных инструментов. Орест играл на мандолине, Володя-Макс — на балалайке-бае, я — на гитаре. Мы выступали на школьных концертах. Я, кроме того, участвовал в хоре (пел басом!) и даже готовился выступить соло, но испугался. С тех пор выступление перед публикой стало для меня очень затруднительным. Я не был особенно религиозен, но вместе с товарищами ходил в наш великолепный (позднеклассического стиля) громадный собор. Отчасти это происходило под влиянием мамы, отчасти нас, юношей, тянула возможность быть ближе к знакомым девушкам (одноклассницам). Мне очень нравилось церковное пение. Оно вызывало молитвенное настроение, но я если и молился, то весьма примитивно. Глубины веры христианской мое сознание не захватывали. Это пришло много-много позднее.

Музыкальная атмосфера нашего дома ограждала от грубостей жизни. Вместе с тем не получилось, слава Богу, и так, что я стал каким-либо неженкой, не способным к сопротивлению житейским трудностям. Здесь сказалось благотворное влияние отца. Сразу скажу, что его уроки спасли мне жизнь.

Отец, как немец (он был обрусевшим немцем, родился в Харькове, где и окончил университет), отличался деловитостью и житейской трезвостью. Может быть, ему и не нравился мамин «салон», но он не чинил ему никаких препятствий. Уезжая в командировку, он оставлял на стене памятку, что нам делать, что спасать в случае пожара. Мама над ним подтрунивала, но понимала, что за папой она и мы как за каменной стеной. Эта каменная стена состояла не только из требований папы, но и из нас — его сыновей, которых он приучал к физическому труду. Все дворовое хозяйство неукоснительно велось с нашей помощью. На мне, как на старшем, лежала обязанность наблюдать и ухаживать за лошадьёю и коровой, убирать из-под них навоз, стелить им солому, гонять на водопой, задавать корм. Летом на мне лежала нелегкая обязанность ходить ни свет ни заря в далекие луга, где я должен был разыскать Ястребка и пригнать его (то есть приехать на нем) домой. Иногда мои поиски кончались неудачей, луга были обширные с лесами и кустарником. Я плакал от досады.

- 28 -

Искать и пригонять лошадь приходилось перед полевыми работами. Все полевые работы, кроме сева, мы прошли в детстве. Особенно не хотелось копать картошку и полоть. Зато уборка ржи и сенокос сопровождалась радостью. Косили мы все трое, лучше всех косил Володя. На сенокосе мы жили в шалаше недели по три, в то время как папа был в командировках. Любимым занятием было возить (верхом на лошади) копны к стогу и... варить на костре кулеш. Вместо обычных шалашей из ветвей и травы, которые все устраивали у себя на сенокосе, у нас была брезентовая палатка с настилом из досок. Соседи подтрунивали над папой, но в дождь собирались под наш брезент. Помню, одно лето было очень дождливое, и в адрес папы было сказано немало добрых слов. Должен признаться, что я недооценивал отца. Он казался мне суховатым. Правильнее же сказать, я был не очень чуток, просто глуповат. Ведь пройти горнило 1917 года, имея неплохой дом, небедное хозяйство и немалую семью, будучи к тому же зятем известного помещика, — дело далеко не простое. Между тем отец не был ни «красным», ни «белым». Он честно служил на ответственном финансовом посту, что, может быть,

отгораживало его от политической конъюнктуры. Во всяком случае, отца очень уважали за добропорядочность. Это я знаю от его подчиненных по службе. Увы, многое-многое познается слишком поздно...

Зимой отец ездил с кем-либо из нас в далекие мещерские леса за дровами. К орудиям труда, всем без исключения, я был приучен с детства. А вот к рыбной ловле никто из нас не пристрастился. Мне это занятие казалось скучным.

Занятия сельским хозяйством было подчас трудновато совмещать со школой. Иногда приходилось пропускать уроки. Вообще я был не самым хорошим учеником, довольствуясь второй ролью. Если в чем я и преуспевал, так это в рисовании и литературе.

Любовь к рисованию пробудилась еще в Исадах, причем непонятным образом. Больше всего мне хотелось рисовать лошадей. Я рисовал их десятками. Частично меня вдохновлял на это отец, которому очень удавались лошади. Но постепенно я стал рисовать и пейзажи, портреты. Из пейзажных мотивов мне больше всего нравилось писать общий вид на Спасск с лугов, паромную переправу через Оку у Старой Рязани и древние валы городища Старая Рязань, куда меня однажды взял с собой спасский художник И. А. Фокин. Возможно, что в выборе моих мотивов уже проглядывал будущий медиевист. Портреты в профиль у

- 29 -

меня получались похожие. До сих пор у меня сохраняется портрет Али Терновской, выполненный с натуры в 1926 году. Правда, мне было уже 18 лет. В классе я был первым учеником по рисованию и даже чувствовал себя наравне с нашим учителем рисования Николаем Александровичем Федоровым. Здесь самое место коснуться моего увлечения рисованием портретов В. И. Ленина.

Вероятно, смерть Ленина, его портреты в газетах и в школе произвели на меня впечатление. С 1924 года я перестал ходить в церковь. Это не было разочарованием в религии, нет! Повторяю, я никогда (в молодости) не углублялся в религию, не был захвачен ею. И, вероятно, поэтому как-то легко отошел от посещений храма. Я перестал и молиться перед тем, как лечь спать. Пагубные идеи «свободы», витавшие тогда в воздухе, оказали свое действие. Однако, грубые проявления атеизма и антирелигиозности, которые тогда начали иметь место (хулиганские выстрелы на Светлую, заутреню и т.п.) меня отталкивали.

Меня, конечно, не интересовало учение Ленина, я до него не дорос, но его скульптурная голова, громадный лоб просились на карандаш или уголь, и я рисовал портреты десятками. Это обеспокоило моего дядю Ваню, бывавшему у нас (я был его крестником), и он даже провел со мной беседу. Другую беседу со мной провел отец, который, видя, что я увлекаюсь новой философской литературой, советовал мне читать Спенсера. Почему именно Спенсера? Помнится, я тогда задумался над этим вопросом и подумал: видимо отец кое-что смыслит в философии или в социологии. Но по тогдашнему своему недомыслию ни в какую дискуссии с отцом я вступить не мог. Но я сам понял, что самоучкой многого не сделаешь, надо учиться, и я стал подумывать о будущем.

Именно дядя Ваня помог мне начать работать масляными красками, с натуры. Он привез мне из Рязани коробку масляных красок, кисти, и я смело приступил к этюду «Вид с Волчьих ям на озеро». Этюд получился с настроением, и дядя Ваня сказал, что он сделан в левитановском духе. Потом я сделал маслом портрет бабушки (с фотографии), он получился похожим и до сих пор висит у меня на стене. Конечно, с живописной точки зрения все это было мазней. От пребывания в школе-девятилетке (тогда еще не было десятилеток) у меня остались чудесные, благородные впечатления. В 20-е годы в Спасске, особенно в нашей школе 2-й ступени, собралась исключительная по профессионализму плеяда учителей. Это не были какие-нибудь зеленые выпускни-

- 30 -

ки пединститутов, а опытные педагоги со стажем, прошедшие большую жизненную школу. Главное же — это были настоящие интеллигенты, которых мы беспредельно уважали. Директорами были сначала Виктор Федорович Смирнов, затем Всеволод Михайлович Виноградов. Первого больше боялись, потом уважали и любили. Второго больше любили и, уважая, побаивались. При Виноградове школа получила право издавать типографским способом школьный литературный журнал под названием «Юная мысль». Первый номер вышел, вероятно, в 1924 году, и я его совершенно не помню. А вот во втором номере (1925 год) я принял самое активное участие. Нет, это были не стихи. Мимо этого юношеского увлечения я прошел равнодушно. Я написал и опубликовал во втором номере «Юной мысли» три прозаических отрывка: «Июльский вечер», «Осенняя песнь» и «Осенний пейзаж». Все они написаны в духе лирических впечатлений от мягких, ласковых спасских пейзажей, пережитых во время сенокоса, поиска нашего Ястребка в море лугов и т.п. Конечно, все это носило характер довольно сентиментального подражания Тургеневу. Это были мои первые печатные опусы. Когда журнал вышел, ко мне в 7 класс из старших классов приходили великовозрастные предвыпускники, хвалили, поздравляли и жали руку. Помнится, я заслужил похвалу приезжавшего к нам дяди Вани, которого мы, братья,

просто обожали. Умный, добрый, истинно русский человек, он хорошо знал Чехова, любил читать его на ночь. Его жена, тетя Маруся (из Кашкаровых) привлекала своей красотой. Вместе с тем это была очень мужественная женщина. В качестве наездницы она участвовала в бегах (в Рязани) и завоевывала призы. Позже, живя в Москве и работая дантистом, она героически вела себя в криминальных ситуациях с московскими жуликами. Ее дочери Наташа и Таня были наиболее близки мне и моим братьям.

Мои первые литературные успехи, вероятно, в какой-то степени повлияли на то, что позднее я избрал это «писательско-печатное поприще». Но это произошло много-много позднее. Здесь же я должен упомянуть, что своей любовью к литературе я всецело обязан солнцу нашей педагогической плеяды — учительнице Екатерине Сергеевне Жилинской. Не знаю, что она в свое время кончала, но преподавала она увлекательно и серьезно. Она приучила нас сначала писать план урока, затем основную литературу по теме и давала разработку темы на широком историко-культурном фоне. Частично это было похоже на тот метод, которым пользовался учитель литературы Анны Ахматовой. Очевид- **31** -

но, тогда, в начале XX века, подобный подход входил в моду. Он давал знания. Но нужно было прививать и любовь к литературе. Судя по биографии Анны Ахматовой, ее учитель по литературе не был к этому способен. Е. С. Жилинская, наоборот, жила любовью к литературе и передавала ее нам. Она давала нам делать доклады. Я готовил доклад о Базарове. Доклады читались как в своем, так и в параллельных классах. Мой доклад о Базарове был хуже доклада на ту же тему моего сверстника из класса «Б». Читали его доклад, а не мой. Зато я поразил своей статьей о Гамсуна в классном журнале. Он не входил в программу, и статья была удостоена особой похвалы. Много-много позже, уже в старческом возрасте, я узнал, что такие произведения Гамсуна, как «Пан», «Виктория», «Мистерии», которые увлекли меня, высоко ценились Анной Ахматовой. Меня это даже поразило: ведь, как я уже сказал, чувство поэзии у меня не было развито. Что же привлекало меня в романах Кнута Гамсуна? Скорее всего слияние чувства любви с природой, своего рода мистериальность, полная свобода от рационализма. Хотя по природе я был скорее рационалист... Сложное дело — юношеская психика. На этом мои школьные подвиги на литературном поприще и закончились. Почему-то я умственно созрел довольно медленно. Различного рода эмоции у меня преобладали над способностью логического рассуждения. Вероятно, поэтому я был очень нетверд в математике, а химию и вовсе не знал. Удивляюсь даже, как при таком положении дел меня выпустили из школы! Скорее здесь сыграло роль то, что меня просто любили. Любили за послушание, вероятно, за маму, с которой многие мои учителя дружили, а дочь Е. С. Жилинской и ее сестра — старшая учительница истории — брали у мамы уроки музыки...

Здесь надо сказать, что хотя мой класс считался передовым, но далеко не все у нас было благополучно. В 20-е годы наметились известные вольности во взаимоотношении полов. Ребята старших классов были уже заметно развращены. У моих товарищей ходила по рукам порнографическая «литература». Один из моих одноклассников, самый способный ученик, говорил, что на уроках Екатерины Сергеевны Жилинской, женщины действительно очень статной, он, сидя на первой парте, «мысленно раздевал» ее. На меня товарищи смотрели как на какого-то чудака. Был ли я чудаком? Или просто трусом? Этого я до сих пор не знаю, но не беру на себя смелости сказать, что я был высоконравственным человеком. Вероятно, все же преобладала робость. Многие из ребят жили половой жизнью, причем частично и с

- 32 -

нашими же школьницами. Одна из них сделала аборт, разгорелся скандал. Была даже попытка самоубийства через повешение. Начались строгие собеседования по половым вопросам. Для ребят и девушек — отдельно. Но разве лекциями можно было чего-либо достигнуть. Время способствовало «свободе» во всех областях.

В это время и я переживал свои первые увлечения. Алю Тер-новскую я где-то хранил в сердце, но она была еще десятилетней девочкой. Мне нравилась ее двоюродная сестра Наташа Кутукова, я робко искал ее внимания, но, видимо, не производил впечатления или же оба мы были очень робки. Робкими поцелуями во время игр дело и закончилось. Между тем во мне созрел мужчина — мне стали нравиться женщины более старшего возраста, с развитыми женственными формами. Это уловила даже мама. Однажды при людях она сказала, что Гурлику нравятся женщины с высоким бюстом, чем весьма смутила меня. Откуда она взяла это?

Тогда я переживал увлечение статной Лидой Высоцкой, учившейся одним классом старше. Я осмеливался провожать ее до дома, когда мы возвращались с репетиций школьного хора. Меня товарищи предупредили, что у Лиды есть поклонник в деревне, откуда она была родом, что мне не избежать с ним столкновения. Но это меня не остановило. По окончании школы Лида уехала к себе в деревню, вскоре я с товарищем посетил эту деревню. Мы долго сидели с Лидой за околицей во ржи, обнимались, но на большее, даже на поцелуи, я так и не решился. Естественно, и это мое увлечение оборвалось.

Удивительно, но мое половое чувство пробуждалось как-то медленно. И это несмотря на то, что я слышал откровенные разговоры взрослых, нередко видел маму обнаженной, а у нее была очень красивая фигура.

Вместе с тем годы брали свое. Чтение Куприна, Виктора Маржерита разжигало тайное влечение к

запретному плоду. «Дьявол» Льва Толстого вносил волнение. Красивое женское тело останавливало мое не только художническое, но и чисто мужское внимание. Стали сниться эротические сны. Именно во сне я и ощутил впервые жгучее сладострастное чувство, не отдавая еще себе отчета в том, что это такое. Я находился на краю пропасти и мог бы низринуться в нее, если бы не беседа со мной отца, который нарисовал мне тяжелые последствия ранней половой жизни. Особенно я испугался ослабления памяти. Вместе с тем, может быть, нужно было направить меня и на иной путь, как это

- 33 -

сделали родители Клима Самгина, героя романа А. М. Горького. Тогда, может быть, мое развитие было бы нормальнее, во мне не развился бы комплекс неполноценности, который в дальнейшем осложнил мою жизнь. К счастью, внимание отвлекали полевые работы, а в промежутках — футбол! В футбол мы играли безрассудно, до глубокого вечера.

К светлым спасским воспоминаниям относится моя дружба с Колей Смеляковым (он учился и дружил больше с братом Володей) и Сережей Вонсовским. Первый позднее стал крупным человеком, первым заместителем министра внешней торговли. Второй стал академиком. Мы переписываемся и сейчас. Подробнее я расскажу об этом ниже.

В 1927 году я окончил спасскую девятилетку и встал вопрос о дальнейшей моей учебе. Моего отца незадолго до этого перевели с повышением по службе в Рязань. Переехав туда, он решил перевезти к себе и всех нас. В это время в Спасске прокатилась волна арестов. Были арестованы лучшие учителя: Жилинская, Трушин и другие, всего человек восемь. Была, якобы, раскрыта эсеровская организация (!?). В качестве доносчика называлась фамилия П. П. Энгельфельда, учителя физкультуры. Все это тревожило, тем более, что подробности никому не были известны.

Наш дом был вскоре продан, вещи погружены на пароход, няня Параша отправлена в Исады, и мы оказались в Рязани, в которой до того мы — дети — были только один раз (со спортивными упражнениями). Отец снял большую квартиру в полуподвальном этаже у Ямской заставы в доме Гусякова.

- 33 -

РЯЗАНЬ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ

Естественно, мне очень хотелось поступить в Рязанский художественно-педагогический техникум. Насколько я помню, того же хотела и мама. Но отец был другого мнения. Видимо, он не считал профессию художника практичной. Он склонял меня к поступлению в землеустроительный техникум. Я не смел прекословить отцу, подал документы в этот техникум, но опоздал. В художественный же техникум в это время был объявлен дополнительный прием. Тут отец сдался.

Как окончивший девятилетку, я освобождался от приемных испытаний по общеобразовательным предметам, но по специальным предметам — живописи и рисунку — должен был выполнить

- 34 -

заданные работы. Выполнил я их средне, без особого успеха. Я надеялся, что главную роль сыграют мои домашние работы, в том числе и портреты Ленина. Все это я привез к техникуму на извозчике. Каково же было мое разочарование, когда почти все привезенное мной было подвергнуто суровой критике за исключением красочной картинки исадской ярмарки, сделанной лапидарными пятнами. Принят-то я, конечно, был, но почувствовал, что все спасские дифирамбы гроша ломаного не стоят, что все надо начинать, как сейчас выражаются, «с нуля». И я начал.

Заведующим техникумом в 1928 году был художник Иван Иванович Куриленко, по стилю работ примыкавший к поздним «мирикувикам». В его квартире при техникуме висело много картин, поражающих яркой образностью. Это была особая образность, совсем не натуралистическая, все было обобщено и колористически подчеркнуто. Иван Иванович был очень тонким художником. В рисунке он требовал соблюдения общей массы, отучал нас от «дриповой штриховки». К этой дилетантской манере я очень привык и отучался от нее с трудом. В живописи Иван Иванович учил соблюдать гармоническое соотношение чистых тонов, отучал от натурализма. К этому натурализму я в Спасске тоже очень привык. Иван Иванович как-то сказал одному из учеников старшего курса (там учился его племянник), что не надеялся отучить меня от провинциального дилетантизма, но неожиданно для него и для самого себя я словно прозрел, и началось мое увлечение импрессионизмом. Я вышел в первые ученики и делал успехи. Иван Иванович, как он потом рассказывал, ставил особо сложные по цвету натюрморты, желая увидеть, справлюсь ли я. Я справлялся. К

концу первого учебного года я написал дома большой натюрморт в нежно-сиреневой гамме, который и выставил вместе с зачетными работами. Иван Иванович написал на нем красным карандашом: «Прекрасно. Перевести на III курс». По неопытности и несерьезности я ликовал. На самом деле это была художественная катастрофа...

Занимаясь на I курсе, я влюбился в двоюродную сестру Наташи Кутуковой (моей спасской «невесты») — Надю Мельникову, которая в то время училась на III курсе. Это была стройная как лань девушка с поразительно красивыми глазами и веселой натурой. За ней ухаживал мой светлокудрый талантливый товарищ Митя Цвейберг и пользовался взаимностью. Но я не отступил. В 1928 году, во время поездки всем техникумом на этюды в имение «Кирицы» (близ Спасска) разыгрался мой роман. Майское цветение садов, каштанов и сирени, пение соловьев способ-

- 35 -

ствовали этому. Надя была почти все время с Митей. Мое любовное письмо (на устное объяснение я не решился) вызвало дружеское внимание, грустное сожаление, доброе участие, словом, все, кроме ответного движения. Мое тоскливое ухаживание продолжалось и по возвращении в Рязань, пока Надя не уехала по окончании техникума в Спасск, учителем рисования.

Здесь я должен коснуться самого неприятного воспоминания. Зимой 1929—1930 года бригаду из учеников техникума, в которую включили и меня, послали в Сапожковский район Рязанской области, где очень «туго шло дело» с коллективизацией. Мои товарищи-комсомольцы занимались агитацией, я — рисовал плакаты, писал лозунги. Дело вперед не продвигалось. Когда однажды меня включили в комиссию по описанию имущества местного священника, я не выдержал и под предлогом явки в военкомат дезертировал. Уж очень неприглядным выглядело это позорное «раскулачивание». Ехать приходилось сначала до станции Ряжск на лошади. Была лунная ночь. Возница недружелюбно перебрасывался со мной фразами, намекая, что может меня «порешить». Но не «порешил». Зачем я ему был нужен?

Возвращаясь из Ряжска в Рязань, я заехал в Спасск к Наде. Мы встретились тепло, но я понял, что пути наши разошлись. Задержавшись на вечере в школе, я даже не простился с ней, так как она не дождалась окончания моего разговора с учителями...

Здесь надо вернуться немного назад. Окончив I курс, я был приглашен Рязанским музеем в этнографическую экспедицию в качестве художника. Это была очень интересная экспедиция по мещерской части Рязанского края, возглавляемая Марией Дмитриевной Малининой. Коллективизация еще не успела разорить деревню, и мы всюду встречали радушный прием. Нам охотно показывали и даже продавали старинную одежду. В экспедиции вторым художником была Милица Ивановна Знаменская, незадолго до того окончившая Рязанский художественный техникум. Она была старше меня, но благоговела передо мной, никогда, впрочем, не намекая на свое чувство. Я сам считал его какой-то святой дружбой, так как, несмотря на различные срывы своего поведения, всегда встречал всепрощение.

Из экспедиции я привез много рисунков, преимущественно цветными карандашами. Их увидел гостивший в Рязани у своих друзей Алексей Андреевич Быков, работавший в Эрмитаже. Это был на редкость образованный во всех отношениях человек, нумизмат по специальности, но прекрасно знающий историю мирового искусства и к тому же и пианист (он был учеником М. В. Юди-

- 36 -

ной) Встреча наша произошла в рязанском доме Кутуковых, у которых в гостиной стоял рояль фирмы «Бехштейн». На нем Алексей Андреевич занимался и один-два раза за лето давал домашние концерты. Они протекали очень торжественно.

Алексею Андреевичу очень понравились мои рисунки, понравился и я, хотя между нами была разница более чем в 10 лет. Кажется, в 12! Он очень приблизил меня к себе, предложил перейти «на ты», но я так и не решился на это, даже позднее, став уже пожилым человеком. Удерживала меня разница не в возрасте, а в образовании. Алексей Андреевич знал семнадцать языков и как нумизмат-ориенталист был известен за рубежом. Моим преимуществом была только способность к изобразительному искусству, но я ценил это невысоко. Мы подолгу гуляли, он просвещал меня об Эрмитаже, а когда он увидел мой натюрморт в сиреневых тонах, то стал много говорить о технике импрессионизма, всячески предостерегая меня от превращения ее в нечто механическое. Такая опасность мне действительно грозила.

Играл на рояле Алексей Андреевич чрезвычайно проникновенно. У него не было богатой техники, он это сознавал, зато эмоциональную тонкость и выразительность вкладывал в исполнение беспредельно. Особенно удавался ему Брамс. В его исполнении я познал прелесть «Итальянского альбома» Листа, особенно его «Spiza

лісію». Программа у Алексея Андреевича вообще была очень изысканная. Жил он у соседей Кутуковых — в семье Чистосердовых, старых друзей еще по Ленинграду.

Я узнал, что Алексей Андреевич холост, живет с матерью и младшим братом. Ходили сплетни, что Алексей Андреевич любит «зеленых» юношей. Предостерегали и меня. Но я был далек от этих сплетен, видел только хорошее и на приглашение приехать к нему в гости на целый месяц ответил согласием.

Эта первая моя поездка в Ленинград состоялась в 1929 году. Алексей Андреевич жил тогда на Рузовской улице. Его мать оказалась высокой женщиной со следами бывлой красоты, насколько я помню, она была в свое время фрейлиной. Это было похоже по строгости ее манер.

За месяц пребывания в Ленинграде Алексей Андреевич сделал для меня очень много. Он даже склонил меня переехать по окончании техникума в Ленинград. И, вероятно, это произошло бы, если бы судьба не препятствовала мне.

Зимой 1929 года я впервые попал в Москву благодаря настоятельному приглашению кухни Наташи Кожинной. В этот год начали разбирать храм Христа Спасителя, поправ народную па-

- 37 -

мять о победе над Наполеоном; в Третьяковской галерее мне больше всего понравился... «Бубновый валет». По возвращении в Рязань я написал свой натюрморт с черным роялем. Он произвел фурор и закрепил мнение, что меня надо перевести на III курс.

Как я уже сказал, перевод меня на III курс художественного техникума оказался катастрофическим. Был грубо нарушен естественный ход обучения, я пропустил штудирование масляными красками головы, что проводилось на II курсе. На III курсе нужно было писать маслом уже фигуру. И тут обнаружилась моя слабость. III курс я закончил далеко не блестяще. С гораздо большим успехом я написал литературную дипломную работу «Задачи художественного воспитания». Отсюда я заключаю, что настоящего художественного таланта у меня не было. Думаю, что такое испытали многие.

К моему охлаждению к живописи прибавилось и то, что я стал больше склоняться к изучению истории искусства. Видимо, проснулись мои спасские склонности к «писательству». В Рязани был книжный магазин братьев Рубцовых. Один из братьев — красивый, живой и энергичный Александр Федорович был давним поклонником моей тетушки — Марии Николаевны Кожинной (жены дяди Вани). Александр Федорович был очень расположен ко мне, и я покупал у него в магазине по дешевой цене очень важные мне книги, например, многотомную «Историю русского искусства» (под редакцией Игоря Грабаря). Моя библиотека быстро росла. В ней были книги Вельфлина, Бакушинского, Оствальда (по цветоведению) и др.

Изучение истории искусства сулило исследования, доклады, в будущем — статьи, книги. Я чувствовал, что к этому у меня больше способностей. Поэтому я с особым интересом относился к лекциям по истории искусства, которые у нас читал Андрей Ильич Фесенко, заведующий Картинной галереей Рязанского музея.

Это был очень интересный человек. Высокий, с офицерской выправкой, бритоголовый, в пенсне, за которым сверкали холодно-иронические глаза, он читал курс истории искусства без скидок на нашу малую осведомленность в ораторском стиле. Мне, как окончившему девятилетку (остальные были с семилетним образованием), конечно, было легче, я успевал лучше других. Андрей Ильич это заметил и устроил меня практикантом к себе в Картинную галерею. Здесь я занимался изучением и инвентаризацией гравюр и литографий, а вскоре Андрей Ильич поручил мне водить экскурсии по Картинной галерее. Я водил экскурсии даже для своего техникума. Не могу сказать, что я

- 38 -

интересно проводил экскурсии. Нет! Я слишком обобщал, мало уходил вглубь. Помню, что вместе с учащимися техникума меня внимательно слушал, а после окончания экскурсии вступил со мной в тихий спор, один очень вежливый молодой человек. Это был Андрей Николаевич Молчанов, позднее ставший очень видной фигурой в Рязанском художественном училище, преобразованном из техникума. Молчанов был против социологического подхода. Каждый оставался при своем мнении. Как бы то ни было, но в итоге я окончательно изменил живописи и изъявил желание поступить в Ленинградский институт истории, литературы и искусства. К этому времени мой младший брат Орест, преуспевший в игре на скрипке (он изготовил ее сам и на ней начал учиться), уже переехал жить к Алексею Андреевичу. Оставалось переехать и мне. Но тут развернулись события, которые поломали все планы.

Начать с того, что в Рязанском музее появились направленные из Москвы на музейную практику два студента, только что окончившие Университет — Людмила Константиновна Розова и ее муж, Яков Иванович

Худоложкин. Людмила Константиновна отличалась живостью натуры и цветущей красотой. Это была голубоглазая или, вернее, сероглазая блондинка, с фигурой, которая издавна (со спасских времен) производила на меня впечатление. Яков Иванович был некрасив, но очень начитан в марксизме. Оба очень сблизились с Фесенко, который, обладая острым критическим умом, любил дискуссии. Я не участвовал в них. Девятилетка и техникум дали мне, моему уму не так много. Самообразование, как бы оно ни было активно, не могло состязаться с Университетом. Вместе с тем громадный авторитет и образованность Андрея Ильича отбрасывали на меня свой свет, я выполнял ответственные поручения (например, разработка системы музейного этикета) и пользовался вниманием даже маститого историка С. Д. Яхонтова, бывшего тогда директором музея. Тем не менее дискуссии у меня были, но... с товарищами по Спасску, братьями Орловыми (сыновьями спасского священника). Один из братьев — Алексей — был ревностным поклонником передвижников. Я защищал приоритет формального мастерства. Оба мы были далеки от понимания единства формы и содержания. Споры затягивались до рассвета, при этом выпивалось изрядное количество водки. Не приближаясь к истине, мы все же оттачивали свое искусство спорить. С годами оно у меня абсолютно выветрилось (то есть не столько способность, сколько желание, а, впрочем, и способность тоже).

- 39 -

Мне казалось, что Людмила Константиновна относится ко мне с каким-то пиететом, видимо, усматривая во мне что-то такое, чего во мне вовсе не было. Наше знакомство состоялось, хотя никто из нас не подозревал, во что это может вылиться.

В Ленинград на экзамен я все-таки поехал. Но Ленинград отнесся ко мне более чем прохладно. В ЛИФЛИ мне сказали, что поскольку я окончил Художественно-педагогический техникум, то мне надо отбыть трехгодичную работу педагогом. И возвратили мне все документы. Что делать? Не оставалось ничего другого, как возвращаться несолоно хлебавши. Я вернулся, пошел в музей к Андрею Ильичу, рассказал о происшедшем, вручил ему купленные по его просьбе в Ленинграде книги и ушел домой. А наутро ко мне прибежал Вася Мухин (другой племянник Ивана Ивановича Куриленко) и сообщил, что вчера вечером, вскоре после моего ухода Андрей Ильич был застрелен на своей квартире неким Чуминым... Это был гром среди ясного неба.

Как позже выяснилось, во время моего пребывания в Ленинграде в Рязанском музее происходила так называемая чистка аппарата. Председателем комиссии по «чистке» был Чумин. Во время «чистки» будто бы выяснилось, что Андрей Ильич Фесенко служил в Белой армии и Чумин на одном из фронтов имел с ним встречу с глазу на глаз. Тогда же, то есть в процессе «чистки», А. И. Фесенко было предложено оставить музей, и ему предстояло выселение из музейной квартиры, в которой он жил со старушкой матерью. Предстоял и поиск какой-то работы, что тогда, конечно, было сопряжено с трудностями. Но ничего этого не пришлось делать. Вечером (после моей встречи с Андреем Ильичем) пришел к нему Чумин, вызвал Андрея Ильича в соседнюю комнату и во время разговора всадил ему шесть пуль из револьвера в живот. Придя в Рязанское управление НКВД, он будто бы сказал: «Я убил белую собаку»...

Похороны Андрея Ильича вылились в студенческую демонстрацию. Его похоронили на кладбище бывшего Спасского монастыря, что рядом с музеем. Никаких речей, увы, не было. Много позднее Спасское кладбище было ликвидировано, памятники куда-то убраны, а могильные холмы сравнены с землей. Так исчезла и могила замечательного Андрея Ильича Фесенко.

Два чувства дивно близки нам;
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

- 40 -

Увы, даже А. Пушкин не был достаточно прозорливым!

А Чумин несколько не пострадал. Говорят, что он умер совсем недавно. Настоящая черная собака оказалась живучей.

После гибели Андрея Ильича некому было заведовать Картинной галереей, некому стало вести курс истории искусств в художественном техникуме. И тут обратились ко мне. И мне выбирать не пришлось. Тем более, что отца в это время «сократили» со службы и он устроился на работу в далекой Кадиевке. Вскоре к нему перебрался и брат Володя. Я остался с мамой, был ее опорой, и мне было необходимо еще и поэтому устроиться на приличную работу. Я согласился. Так началась моя служебная деятельность.

НА ПЕРЕПУТЬЕ

В 1930 году в наш художественный техникум поступил преподавателем приехавший из Москвы молодой художник Соломон Борисович Никритин. Наблюдая за тем, как он ставит классную натуру, как требует передачи фигуры человека посредством геометрических объемов, как учит чувствовать «вес цвета», я понял, что все это очень далеко от импрессионизма. Тогда мы впервые услышали о Казимире Малевиче и увидели репродукции его работ, показанные нам Никритиным. Слова — словами, но нам хотелось большего, хотелось, чтобы Никритин показал нам свою живопись. И вот однажды он привез из Москвы свою картину «Похороны», на которой участники похоронной процессии были изображены... без лиц. Вместо лиц были ровно окрашенные овалы.

Далекие от тогдашнего «авангарда», мы недоумевали, а из объяснений Никритина я запомнил только одно: на картине изображены похороны не определенного человека, а это «похороны вообще», некое символическое действие, для которого лица изображать не нужно.

Дальнейшие события все больше отдаляли меня от юношеского увлечения «голубым Грабарем». Однажды к нам пожаловал ректор (или заместитель ректора?) Академии художеств Маслов, который в течение нескольких дней уговаривал учеников старших курсов бросить станковую живопись, переходить к плакату и к «производственному» искусству. Им же был отменен предмет «цветоведение», поскольку понимание цвета должно быть

- 41 -

классовым (это я хорошо помню), а я, ведший этот предмет, преподаю его бесклассово. Иван Иванович Куриленко и даже Соломон Борисович Никритин молчали. Мои возражения звучали провинциальным лепетом. Мне ничего не оставалось, как оставить техникум, тем более, что живописцем я так и не стал. Все более влекло меня к истории искусства, к музейной работе, к которой меня усиленно тянул Андрей Ильич Фесенко, ведший в техникуме этот предмет. В городском музее была неплохая картинная галерея, в ней были и бубнововалетцы, была акварель В. Кандинского и коллаж Давида Бурлюка. Ни В. Кандинский, ни Д. Бурлюк не вызывали у меня ответных эмоций, но когда А. И. Фесенко привлек меня к оформлению музейной антирелигиозной выставки, то я удивился, с каким задорным ажиотажем этот серьезный человек, на уроках которого буквально все ученики дрожали, всячески поощрял меня к тому, чтобы применить в оформлении выставки различные алогизмы, например, разбрасывать по фону точки с запятыми, какие-то еще геометрические фигуры, монтировать фотографии чуть ли не вверх ногами и т.п. Вряд ли в этом проявился атеизм Андрея Ильича, желание снизить материал выставки. Скорее всего это был своего рода эпатаж, смысл которого оставался неясным. Что этот эпатаж шел от знакомства Андрея Ильича с полотнами «авангарда», я понял позднее, когда я стал умнее. Но тогда я был еще очень мало осведомлен в этом. Границей моего понимания оставался «Бубновый валет».

В 1932 году мне посчастливилось быть в Ленинграде, где я провел целый месяц в гостях у моего друга Алексея Андреевича Быкова. Ему я обязан ликвидацией пробелов в знании истории западноевропейской живописи, которую он, будучи нумизматом, очень хорошо знал. И любил. Он же подарил мне набор старинной западноевропейской пастели, которой я и исполнил три натюрморта. У меня сохранился один из них. По нему хорошо видно, что мои увлечения Кончаловским не были чем-то мимолетным. Более того. Я рискнул «попробовать себя» и в духе Давида Бурлюка, применив в одной «композиции» монтаж из разных видов изобразительного искусства, музыки (в виде нот) и газетных вырезок. Конечно, это была несусветная эклектика, но, очевидно, и через эту ступень надо было пройти, чтобы иметь практическое, а не только книжное суждение об этом виде творчества.

1932 год для меня знаменателен тем, что мне удалось попасть не только на юбилейную выставку «Художники РСФСР

- 42 -

за XV лет», но и на ее обсуждение. Это было чрезвычайно бурное, драматическое обсуждение, на котором решались судьбы как художников, так и целых направлений отечественного изобразительного искусства. На выставке я вновь встретился с Соломоном Борисовичем Никритиным, но в этот раз мы вели осмотр и беседы «на равных», так как за моей спиной было уже немало теоретической работы в Рязанском музее. Да и историей русского искусства, главным образом X—XVII веков, я занимался прилежно.

Предметом нашего внимания были работы П. Филонова и К. Малевича. Обсуждение 1932 года для Филонова было прямо-таки трагическим. Нападки на его творчество происходили в очень грубой форме. Филонов защищался вяло и малоубедительно. Чувствовалось, что его мысли витают где-то выше собравшихся критиков, его слова летели в пустое пространство. Я воспринимал его положение небеспристрастно, так как за время пребывания в Ленинграде успел познакомиться с ученицей художника — Еленой Борцовой — очень милой и скромной девицей. Ее работы нравились мне своей «сделанностью», которая, как я потом узнал, была своего рода девизом П. Филонова. Но Е. Борцова не деформировала лица портретируемого. В работах самого художника я увидел совершенно противоположное. И даже сейчас, по прошествии шестидесяти лет (!), я вряд ли смогу сказать о них что-либо определенное, хотя события тех лет помню до деталей: «Все, что прошло — восстало, оживилось» (Гете. Фауст).

Работ П. Филонова на выставке 1932 года было много, более пятидесяти. Находясь в своем художественном «Я», как уже сказано, на границе «Бубнового валета», я никак не мог проникнуть за завесу, отделяющую меня от «Я» Филонова. Серьезных работ о художнике я в то время не знал. Выступление П. Филонова на обсуждении выставки было настолько тягостным, вид самого художника вызывал такую жалость, слезы Лены Борцовой, бывшей рядом, так туманили разум, что к анализу я был совершенно не способен. Любопытно, между прочим, что бывший тоже рядом Соломон Никритин ничего путного сказать не мог. От работ Филонова у меня осталось очень большое, но нельзя сказать, что цельное (тем более, ясное) впечатление. П. Филонов, несомненно, велик в своем безжалостно-аналитическом, молекулярном разложении всего предметного мира, в том числе и образа человека, но в этом чувствуется нечто более биологическое, нежели философско-художественное. Может быть, я не прав. Но, как мне пришлось узнать недавно, В. Хлебников, понимавший

- 43 -

Филонова лучше других, считал художника «певцом городского страдания». Возникает вопрос: почему такое страдание? Вряд ли в нем не было ничего личного. А если было личное, то насколько это оправданно? Я не хочу следовать за К.-Г. Юнгом, считавшим, что «личное для искусства ограниченность, даже порок». В творчестве Врубеля было очень много личного, но он поднимался к вершинам Духа. При воспоминании работ Филонова на выставке 1932 года невольно вспоминаются и слова Н. А. Бердяева, которыми он характеризовал конец Ренессанса: «Эта новая страшная сила (машинная цивилизация. — Г. Б.) разлагает природные формы человека. Она подвергает человека процессу расчленения, разделения, в силу которого человек как бы перестает быть природным существом, каким он был ранее. Эта сила более всего сделала для окончания Ренессанса». Конечно, эти слова относятся к Ренессансу как мировому явлению, но и к «Русскому Ренессансу» рубежа XIX—XX веков они не менее приложимы...

Другой такой «страшной силой» был атеизм. Существует мнение, что искусство «авангарда» было в своем роде религиозным, или не чуждо религии. Полагается даже, что сознательно идя на «уродование своего эстетического лика», авангард через самоуничтожение «причащается участи Божества», что можно рассматривать как «акт религиозный» (М. Эпштейн, статья в «Новом мире», 1989, № 12). Так ли это? Я не берусь судить о проблеме религиозности в западноевропейском авангарде. Знаю только, что один из его столпов — Морис Дюшан — не хотел и слышать о Боге. Что касается наших отечественных авангардистов, то некоторые из них называли себя богами (В. Хлебников, например, и некоторые другие) и ни на какое религиозное самоуничтожение (или самоуничижение) идти не могли. Более того. Многие из них были атеистами. Не представляет исключения и П. Филонов, бывший до революции верующим, а после ставший «воинствующим атеистом». Атеизма придерживались и многие ученики Филонова, о чем я знаю не только от Елены Борцовой, но и из «Обращения к художникам всех направлений о создании антирелигиозного фронта изобразительного искусства», выпущенного в 1930 году «Коллективом мастеров аналитического искусства». Нельзя не считаться с этим.

Но, естественно, нельзя это ставить и во главу угла при историко-художественной оценке творчества Филонова. Против принципа «сделанности» картины, который П. Филонов исповедовал со всей искренностью, сказать ничего нельзя. Но ведь этот самый принцип «сделанности» лежал и в основе древнерусской

- 44 -

живописи. Причем здесь он выступал прямо и недвусмысленно, без всякой деформации. Такой же «сделанностью» отличаются работы К. Петрова-Водкина. В. Кандинскому принадлежит призыв к художеству: «Вперед и вверх!». Не будем спорить. П. Филонов шел вперед, к чему-то еще неизвестному. Но шел ли он вверх? Осмелюсь выразить сомнение. Кажется, и Соломон Борисович Никритин был такого же мнения. Во всяком случае, у полотен К. Малевича дышалось свободнее. Их было меньше, чем работ Филонова, по форме они отличались большей цельностью, так что и запомнились лучше. Тогда для меня это было полным открытием.

Что я принимал совершенно беспрекословно, так это «архитектоны» Малевича. Стиль модерн внес, конечно, много нового, свежего и перспективного в погрязшую в эклектизме русскую архитектуру второй половины XIX века. Особенно в области техники, которая у архитекторов (вернее, строителей) модерна была на высочайшем уровне. Недаром дома в стиле модерн стоят до сих пор почти без ремонтов и недаром именно в них размещаются иностранные посольства. Но это к слову. Однако модерн ориентировался на денежную аристократию; для широкого строительства, в котором нуждалась страна, он был слишком дорог. Да и с эстетической стороны модерн обладал слишком узкой амплитудой. С обеих точек зрения перспективнее был конструктивизм. К. Малевич, как известно, недолюбливал конструктивизма, считая его (и справедливо) «вещным», в то время как идеалом художника было беспредметное. Но Малевич не мог не понимать, что в его супрематизме содержалось много очень ценного для тогдашней новой архитектуры. Пусть даже «архитектоны» Малевича не предназначались для практической реализации. В их композициях открывались неисчерпаемые возможности, причем не только для промышленного, но и для гражданского строительства. Без конструктивизма архитектурная программа государства не могла быть решена. К. Малевич, несомненно, внес в идейную сторону этого дела очень большую лепту. Не меньшее влияние его «архитектоны» оказали на экспозиционно-оформительское формотворчество, особенно в таких музеях, которые были бедны предметными экспонатами. Какие только «архитектоны» я не придумывал, работая в Рязанском музее. Тогда все краеведческие музеи страны помешались на «конструктивистских» экспозициях, нисколько не отдавая себе отчета в том, что к сути творчества Малевича это не имело никакого отношения. Здесь самое место обратиться к этой сути.

- 45 -

Соломон Борисович Никритин в меру своих сил помог мне проникнуть за завесу, скрывавшую содержание творчества Малевича, перед которым, я чувствовал, он преклонялся. Это было не так легко, поскольку на выставке 1932 года Малевич был представлен не столько своими «супремусами», сколько так называемыми (не очень грамотно) «фигуративными» композициями. Последние, как сказал мне С. Б. Никритин, являли собой некий отход Малевича от чистого супрематизма 10-х—20-х годов, поэтому мне хотелось сначала понять именно суть этих «супремусов».

Легко сказать: понять суть. Малевич не оставил никаких заметок относительно того, как понимать эти «супремусы». Непонятность их послужила материалом для обвинения художника в формализме и даже в более худших вещах. В 1930 году Малевич был арестован, и хотя в заключении пробыл недолго, но, по-видимому, это сильно подорвало его, и в 1935 году он скончался. Но мы с Никритиным продолжали размышлять над его направлением. У Соломона Борисовича была брошюра Малевича с названием «Супрематизм. 34 рисунка», изданная в 1920 году. Из нее вытекало, что супрематические композиции Малевича вовсе не были чисто формальными упражнениями. Художник интересовался проблемами энергийного движения «чистых форм» в бесконечном пространстве, в процессе чего, якобы, происходит напряжение этих форм и изменение их цвета. Чувствовалось, что Малевич был одержим идеей создания «беспредметных» моделей новых «спутников» планет, даже системы этих «спутников», спиралевидное расположение которой вокруг Земли позволит (в будущем) переходить с одного витка на другой и, таким образом, выйти на космическую прямую в бесконечное пространство. Хорошо помню, как С. Б. Никритин воскликнул: «Так это же не что иное, как теоретическое объяснение знаменитой "Башни III Интернационала" В. Татлина!» Действительно, совпадение теоретических рассуждений Малевича и конструкции В. Татлина было почти полное. Башня Татлина впервые появилась на выставке в 1920 году, то есть Малевич и Татлин работали над своими материалами одновременно. Кто от кого зависел? К сожалению, на этот вопрос мы не могли ответить. О содружестве художников вряд ли можно говорить, так как известно, что в 1916 году Татлин не принял работ Малевича на организуемую им выставку. Причины этого тоже неизвестны. Скорее всего все-таки было соперничество, а не содружество.

Оставляю в стороне В. Татлина, которым я никогда не увлекался, и вернусь к Малевичу. После преждевременного ухода из

- 46 -

жизни Соломона Борисовича Никритина, моего всегдашнего собеседника, я вынужден был разбираться в творчестве Малевича в одиночку. Мною двигало вовсе не любопытство. Супрематизм привлекал своей организованностью и загадочностью. Кроме того, мне нужно было определиться в своей музейной работе. Признавая положительные качества супрематических композиций, мне следовало как-то отвечать на критику в формализме. Аргументировать одними архитектурными категориями было недостаточно. Мои мысли стали приобретать более теоретическое направление после того, как я стал знакомиться с литературой по философской физике, в частности, с теорией относительности Альберта Эйнштейна. Не помню, что подтолкнуло меня к этому. Может быть, общая с Малевичем драматическая судьба Эйнштейна, который в начале 30-х годов подвергся шельмованию со стороны фашистов и вынужден был уехать в Америку. Обвинения

в адрес Эйнштейна были такие же, как в адрес Малевича: непонятность для «широких масс» и проистекающая отсюда «антинародность».

Теорию относительности великого физика я, конечно, хорошенько понять не мог. Но когда я читал, каким образом Эйнштейн доказал одинаковость скорости света для различно движущихся в пространстве объектов, то тут мне показалось что-то похожее на «супремусы» Малевича. Ведь в большинстве «супремусов» преобладает диагональное построение композиции. Различного размера прямоугольники как бы нанизываются на главную диагональную ось, дающую направление движению. Движение происходит в бесконечном пространстве, это совершенно ясно. Среди прямоугольников, как бы сопровождаая их, выделяются узкие полосы, напоминающие стержни. Создается впечатление, что вся эта «система» прямоугольников и подпрямоугольников вместе со стержнями летят по диагонали в неведомое, что почти в точности ассоциируется с опытом Эйнштейна по определению скорости света. Прямоугольные стержни в мысленном опыте выступали носителями часов, отсчитывающих время. Эйнштейн установил, что время скорости света применительно ко всем летящим предметам остается одинаковым.

В теоретических рассуждениях К. Малевича есть еще одно место, позволяющее предполагать, что теорией Эйнштейна художник серьезно интересовался. Вот цитата из одного малевичевского «манифеста»: «Если творение Мира — пути Бога, а "пути его неисповедимы", то он и путь равны нулю». И далее: «Если религия признала Бога, признала нуль». (Супрематическое зеркало» 1928 г.). При поверхностном подходе к этим афоризмам

- 47 -

легко заподозрить Малевича в атеизме. И это было бы грубейшей ошибкой. Казимир Малевич был глубоко религиозной натурой, о чем с достаточной убедительностью говорит его поэзия. Вот стихотворение 1913 года:

Я начало всего ибо в сознании моем
Создаются миры.
Я ищу Бога я ищу в себе себя.
Бог всевидящий всезнающий всеильный
будущее совершенство интуиции
как вселенского мирового разума
Я ищу Бога ищу своего лика,
я уже начертил его силуэт
И стремлюсь воплотить себя.
И разум мой служит мне тропинкою
к тому, что
очерчено интуицией
(*Впервые опубликовано А. Шатских*)

Так что же обозначает вышеприведенный «нуль»? Я думаю, что здесь тоже проявилось влияние на Малевича рассуждений Эйнштейна по поводу скорости света. Именно при неучете точки отсчета в определении скорости того или иного движения получается, что скорость может обозначаться через «нуль». Нуль в афоризмах Малевича чисто логический («если, то...» — это же формула силлогизма).

Конечно, ход моих мыслей вовсе не претендует на исчерпывающую доказательность. Тут важно другое. Структура мышления была не мистериальной, как у Н. А. Бердяева, а весьма научно-физической. Поэтому и в философии Малевича следует искать не мистический символизм, а динамическую гармонию космоса. Напомню, что такой гармонии космоса Н. А. Бердяев не признавал. О Филонове же и говорить нечего. Он вообще не признавал супрематизма, а работы О. В. Розановой считал макулатурой. Филоновский «Космос» можно назвать как угодно, но только не через категорию гармонии.

Мне думается, что супрематизм Малевича ближе всех других направлений подходил к тому, что В. Кандинский формулировал как «вперед и вверх». Вверх — это значит за пределы чисто личного. Вся философия Малевича, если таковая действительно имела место, состояла в выходе в сферу «надличного», что самым тесным образом совпадало и с философией А. Эйнштейна. Мир представлялся обоим как «огромная вечная загадка», как

«Дух» находились в его миро-

- 50 -

воззрении на втором месте после Бога. Но здесь останавливает внимание одна, грозящая опасностью черта супрематизма: он начал сводиться к самоповторению и даже к тиражированию. Особенно это заметно у менее талантливых последователей Малевича. Если в «архитектонах» это находило оправдание, то в живописи (точнее — в цветописии) предвещало тупик. Для предотвращения его требовался новый шаг в сторону теоретической «онтологизации» супрематизма, серьезного подкрепления его философской разработкой.

Приходится считать, что теория Малевича и представляет такую философскую разработку. Но я сказал бы, что все рассуждения Малевича о единстве субъективного и объективного, о «пятом измерении искусства» и т.п. не идут дальше обоснования «права» художника на «выход в космическое». Более того, Малевич вышел в это «космическое», открыл в него дверь. А что за дверь? Космическая пустота? Ведь ни один творческий ум не удовлетворится этим.

Малевич обладал мощной творческой энергией и, мне думается, не опустился перед ним «железный занавес», он сделал бы дальнейший шаг «вперед и вверх». Произошедшее с Малевичем (да и с его последователями) равносильно трагедии.

Уже после выставки 1932 года Малевич создал несколько картин, на которых персонажи наделены лицом. И не просто схемой лица, как это было раньше, но одухотворенным и даже красивым лицом. Я имею в виду картины «Девушка с гребнем в волосах» и «Женщина с красным древком». Обе работы датированы 1932 — 1933 годами. На выставке 1932 года их не было. Можно ли видеть в них шаг назад по сравнению с образами безликих крестьян?

Конечно, очень легко сказать, что художник вынужден был пойти на уступки жестокому времени (вернее — безвременью), но не следует ли задуматься и предположить в этих, в сущности, «полусупрематических» образах своего рода «космизацию» человека? Тогда безликие персонажи предшествующих лет представляются как предшествующий, может быть, подготовительный этап. Я думаю, что в высказанном предположении нет ничего фантастического. Вспомним, что художники средневековья создавали свои иконы на основе неких интуитивных прообразов, рисовавшихся им в качестве идеалов совершенства. Правда, это касалось образов божества и небожителей. Но почему такие первообразы невозможны для реального земного человека? Ведь было же нечто подобное в египетском искусстве, в котором воспроиз-

- 51 -

водились прообразы не только фараонов, но и даже таких людей, как писцы (Н. А. Померанцева). Новые образы человека Малевича 1932 — 1933 годов, их строго фронтальные положения, отсутствие светотеневой моделировки, призрачная графичность лиц, выхваченность из конкретного времени и пространства, строго фиксированный взгляд и вместе с тем несомненная персональная определенность — все это воспринимается как «космический аспект» человека.

Известно, что некоторые интуиции древности, даже религиозные и мифологические, способны говорить нам гораздо больше о работе сознания, нежели наблюдения над функционированием мозга. Я уверен, что, если бы Малевича не подстерегала смерть, то он оставил бы нам интереснейшее объяснение своим новым трактовкам (интуициям) человека. Возможен ли у него продолжатель? Чтобы ответить на этот важный вопрос, нужно хорошо знать современный «поставангард», чем я не обладаю.

Тем временем преподавание в Художественном техникуме становилось для меня все более и более тягостным. Не обладая университетскими знаниями, я находился под впечатлением прочитанной литературы, особенно модных тогда работ И. Л. Маца, и вел свой курс слишком книжно, схоластично и однажды получил записку: «Вы читаете лекции красиво, но непонятно». Это был удар по самолюбию.

В техникуме я проработал года полтора. Педагогическая работа мне не нравилась. К тому же мама уехала к Кожиным в Москву, а я окончательно собрался в Ленинград. Все было быстро распродано, часть вещей и свою библиотеку я отправил багажом в Ленинград и в 1932 году покинул Рязань. Но не тут-то было. Ленинград никак не принимал меня. На этот раз он оказался не только негостеприимным, но просто враждебным, и эти события вспоминаются с болью в сердце...

В Ленинграде брат Орест (в семейном обращении — Орик) встретил меня с радостью. Привезенные с вокзала вещи мы расставили в его довольно большой, но пустынной комнате, неуютность которой увеличивалась тем, что она была проходной. Встал вопрос о моей прописке и устройстве на работу. Не мог же я жить на иждивении Орика, который в то время играл в оркестре кинотеатра. Он играл первую скрипку, но вряд ли получал достаточно жалования, чтобы содержать меня. К тому же в этих вопросах я всегда был очень

щепетильным.

Возникла дилемма: для прописки нужно было наличие работы, а для устройства на работу нужна была прописка. Это дикое

- 52 -

«правило» действует в больших городах до сих пор, порождая необходимость в его обходе, то есть в разного рода ухищрениях и преступлениях.

Получить работу и прописаться в Ленинграде в то время было очень трудно. После так называемого дела промпартии и накануне прихода Гитлера к власти происходила своего рода «чистка» Ленинграда. Выселяли из города, главным образом, несчастную интеллигенцию, что в таком массовом мероприятии сопровождалось, конечно, произволом. Естественно, что в прописке мне отказали. Алексей Андреевич пытался пристроить меня в Эрмитаж изготовлять... этикетки для картин. Но и этого не удалось сделать. Ничего не мог сделать и мой дядя Даниил Николаевич Кашкаров — профессор Ленинградского университета. Мы с Ориком были у него в гостях. Он читал нам русские сказки с непристойными словами, мы хохотали, и по этой реакции Даниил Николаевич заключил, что оба мы недостаточно развиты. Вот тебе раз! А я-то думал, что я уже «ученый». Увы! Мы были большими провинциалами.

С большим трудом я устроился на какой-то тарный склад починять разломанные ящики. Дело, конечно, было нехитрое, инструментами я владел, но морально это очень подействовало на меня. Если бы я приехал в Ленинград, как говорится, «от сохи», то на ремонт ящиков смотрел бы спокойно. Но я приехал не «от сохи», а от преподавания истории искусства! Конечно, я должен был смириться. Но к унижению положения прибавились унижения от уже работавших на складе рабочих. Не знаю, что им не нравилось, то ли моя медлительность, то ли опасность конкуренции, то ли сказывалось сидящее в глубине души русского рабочего презрение к интеллигенту. Я терпел. В обеденный перерыв или после работы я встречался с братом, он где-то получал талоны на обед и мы шли в какую-то грязноватую общественную столовую, где кормили силосом и ливерной колбасой, получившей название «собачья радость». Эту ливерную колбасу иногда продавали и в магазинах. Однажды мы закупили ее и устроили пир. Ночью я проснулся и ужаснулся увиденной при зажженном свете картиной: в сплошной копоти от двух керосинок, которыми мы обогрелись (дров не было), посредине комнаты сидел на корточках полуодетый Орик, и его рвало ливерной колбасой...

О, Боже? Что тут началось! Пришлось вышибать заклеенную на зиму раму окна. Но самое страшное было с комнатами Алексея Андреевича. Копоть, конечно, обильно проникла и туда, а

- 53 -

его комнаты представляли собой своего рода музей старого быта с тысячью мелочей из фарфора, стекла, керамики, тканей. Все это покрылось слоем копоти. А Алексей Андреевич был невероятно аккуратным человеком! Как джентльмен, он молчал, но в глазах его было осуждение. Долго мы ликвидировали следы бедствия, после чего во взаимоотношениях что-то надорвалось. К этому добавилось последнее: мне категорически отказали в прописке (вторично) и предписали в 24 часа покинуть Ленинград. Может быть, кто-либо другой попытался бы зацепиться за какой-нибудь пригород Ленинграда, но я принял решение вернуться в Рязань. Брат горевал. Мне было его очень жаль. Все вещи я оставил Орику. Словно на смех, Алексей Андреевич достал нам билеты на концерт в Филармонию, где в тот вечер исполнялась Шестая симфония П. И. Чайковского оркестром под управлением дирижера В. Талиха. Как во сне я слушал эту трагическую музыку, раздававшуюся, словно реквием по моей ленинградской истории. Из филармонии я помчался прямо на вокзал. Таков был мой бесславный ленинградский конец...

- 53 -

РЯЗАНСКИЙ МУЗЕЙ

Приехав в Рязань, я почувствовал, что мне некуда деваться, как только идти с поклоном в музей. Никакого другого пристанища у меня больше не было. Это было странное, отчасти даже позорное чувство. Пять лет проработать в Рязани, потерять все имущество и остаться даже без угла! Позади были три потерянных рязанских квартиры (одна меньше другой), потеряна вся мебель, библиотека. От Спасска также почти не осталось никакой вещественной памяти. И все это — за пять лет! Я напоминал собой блудного сына, с той только разницей, что возвращался не в отчий дом, а в музей. У меня была великая вера в музей, с коллективом которого я сроднился.

И музей принял меня как блудного сына. Многим, очень многим я обязан доброму отношению ко мне ученого секретаря музея — Алексея Алексеевича Мансурова, который пользовался большим авторитетом. Он сразу принял меня на должность заведующего художественной частью музея и разрешил жить в одной из лабораторных комнат, напротив своей квартиры. Я разместился на длинном желтом диване с многочисленными клопами, которых старался вывести керосином. Кругом были шкафы с археологи-

- 54 -

ческими коллекциями, середину комнаты занимали столы с теми же предметами. В моем распоряжении была керосинка и... все. Кроме нее у меня ничего не было.

Не помню, как я питался. По утрам жена Алексея Алексеевича, добрейшая Лидия Михайловна, приносила мне кофейник с кофе. Обедать у них я категорически отказался. Мне полагался какой-то паек по карточкам. Обедать я пристроился в какую-то столовую, где люди садились за длинные столы и хлебали щи (силос) из общей миски... Неожиданно я был призван на месячное вневойсковое обучение с переходом на жительство в казармы. Меня готовили на радиосвязиста. На аппарате я скорее всех принимал группы цифр. Преуспевал я и в маршировке, даже получил перед строем благодарность. Но при дежурстве по роте даже не умел отдать рапорт. Нас хорошо кормили, но я разбил вконец последние ботинки. Спасла меня все та же Лидия Михайловна. Страшно вспомнить нищету того времени.

Вскоре ко мне приехала мама, которой в Москве так же не повезло, как мне в Ленинграде. Вообще это был ужасный период. Я пережил его без особой душевной травмы только благодаря молодости. Поддерживала также надежда, что работа в музее сулит перспективу. Меня здесь хорошо знали, хорошо ко мне относились и уважали. Поддерживала также мама. В этот период, после того как мы оба перенесли жизненные неудачи, мы душевно особенно сблизились. Живя в одной тесной комнате, испытывая бытовые неудобства (мама готовила все на той же керосинке), мы скорее были похожи на очень любящих друг друга старшую сестру и влюбленного в нее брата. Возможно ли такое? Я уже не ощущал себя каким-то перезрелым ребенком, становился самостоятельным. При возвращении из театра (мама сопровождала там) мне уже доставляло удовольствие брать маму под руку, чего ранее я очень стеснялся. Как-никак я был уже «кормильцем» (какое прозаическое слово!). Да и звучание моей должности вселяло чувство уверенности.

Что значило быть заведующим художественной частью? Я больше хотел быть при Картинной галерее, которая к тому времени была выведена из основного музейного корпуса и размещена в отдельном здании бывшей Консistorской типографии. Быть при Картинной галерее — это значило для меня заниматься исследовательской работой, к чему меня и тянуло. Но на меня возлагали большие надежды как на художника, чего мне страшно не хотелось. Отстаивать свои интересы я особенно не мог, так как очень ценил то отношение, которое было проявлено ко мне в

- 55 -

критические дни возвращения из Ленинграда. Некоторое время я работал простым оформителем, не бросая, однако, занятий по истории искусства. Эти занятия были морально поддержаны приезжавшей к нам из Третьяковской галереи Елизаветой Сергеевной Медведевой, занимавшейся в то время древнерусской иконографией. В беседах с ней я почувствовал свою провинциальную отсталость и был очень благодарен своей новой знакомой, когда она прислала мне из Москвы длинный список литературы, знание которой было необходимо для занятий по древнерусскому искусству.

В 1934 году по каким-то делам я был в Ленинграде и на обратном пути остановился в Москве, где сделал попытку устроиться на работу в Московском областном музее. Там уже работали А. А. Мансуров и Л. К. Розова. На работу меня брали, но... директор Рязанского музея (В. М. Комаров) меня не отпустил. Вернувшись в Рязань, я погрузился в изучение древнерусского искусства.

Почему я выбрал именно древнерусское искусство предметом своего главного интереса? Ведь в Картинной галерее этот отдел был самым слабым! Я думаю, что здесь сыграло роль архитектурное окружение, в котором я жил. Так называемый Рязанский кремль представлял собой довольно интересный архитектурный комплекс, состоящий из Архангельского собора начала XVI в., Архиерейского дома с надворными постройками XVII—XVIII вв., Успенского собора XVII в., Спасо-Преображенского собора начала XVIII в., Рождественского собора начала XIX в. и колокольни XVIII—XIX вв. Все это почти не было изучено, и я мог тут «развернуться». Я имел обыкновение работать и ночевать в канцелярии музея, благодаря чему, кстати сказать, избежал быть связанным грабителями ценностей музея, нагрянувшими туда в одну из ночей 1934 года. (Они связали всех сотрудников, живущих в музее, кроме меня и моей мамы, которую обошли случайно.) Машину с ценностями на следующее утро нашли брошенной около разведенного моста через Оку.

Начал я свою исследовательскую работу с небольшого Архангельского собора, считавшегося памятником конца XV в. Начитавшись соответствующих книг и статей по древнерусской архитектуре, я понял, что речь может идти только о начале XVI в. Наибольшее впечатление на меня произвели статьи Н. Н. Воронина, Г. Ф. Корзухиной-Ворониной, Н. И. Брунова, А. И. Некрасова. Мне нравился их четкий археолого-архитектурный анализ памятников, научный аппарат, стиль изложения. В таком

- 56 -

духе стал работать и я, нисколько не подозревая, естественно, что много-много позднее я стану правой рукой Н. Н. Воронина, а потом и продолжателем его работы по исследованию древнерусской архитектуры. После Архангельского собора я занялся Семинарской церковью, колокольней, совершил путешествие в села Жолчино и Нагино (Рыбновского района), где были памятники нарышкинского типа. Между прочим, это было весьма своевременно, так как в годы войны эти редчайшие нарышкинские памятники были разрушены. Не немцами, конечно, а самими рязанцами!

Одновременно я начал составлять паспорта на архитектурные памятники Рязанской области (в связи с этим был избран членом-корреспондентом Государственного исторического музея) и выступать с докладами. В членкоры ГИМа меня рекомендовал профессор В. А. Городцов. Он приезжал к нам в музей по делам охраны городища Старая Рязань, и мы вместе ездили в Спасск (я — в качестве «чиновника особых поручений»). Я чувствовал, что начинаю выходить из провинциальной ограниченности.

Вероятно, мой «научный рост» замечался и директором музея, старым партийцем - - Валерианом Михайловичем Комаровым. Однажды, присев со мной на скамейку в музейном дворе, он завел разговор о том, почему бы мне не вступить в партию? Я не был подготовлен к этому и вместо того, чтобы прямо сказать о несогласии с программой ВКП(б), начал что-то лепетать о своем индивидуализме, необщественном и небойцовском характере и т.п. Комаров оказался достаточно чутким и к этому разговору не возвращался. После я недоумевал, как он мог сделать такое предложение, когда я не был комсомольцем. Возможно, он не знал и другого, а именно, что я был внуком помещика. А если знал? Тогда он проявил ко мне похвальное доверие, которого я не оценил.

Почувствовав, что с моей души спал тяжелый груз, я с особым духовным подъемом занялся рязанской архитектурой. Первые доклады были сделаны мной на Ученом совете музея, а со статьей о колокольне я поехал в 1934 году в Москву, где выступил в Обществе краеведов. Этот мой доклад организовал Борис Николаевич Алексеев, хорошо знавший Андрея Ильича и когда-то работавший в Рязанском музее. Между прочим оказалось, что Борис Иванович Алексеев хорошо знаком с Александрой Александровной Терновской (матерью Али), даже когда-то дружил с ней, и когда он узнал, что это мои близкие люди, то предложил вместе пойти к ним в гости. Конечно, это для меня было очень

- 57 -

кстати. Я давно (с 1926 года) не видел Алю, и мне захотелось напомнить ей о себе. Как-никак, а прошло уже десять лет! В кого превратилась десятилетняя девочка? Терновские жили в Малом Могильцевском переулке вместе с бабушкой Али — Александрой Павловной Левашовой-Казанской. Их большая единственная комната была обставлена по-старинному. Аля сначала спряталась, но ее вытащили, и я был поражен произошедшей переменой. Передо мной была очаровательная 18-летняя девушка с умными, немного грустными серыми глазами, хорошо знавшая Достоевского, что меня насторожило, так как я Достоевского не понимал, я все еще вращался в кругу тургеневских образов. Не помню, о чем мы говорили в тот вечер. Откровенно сказать, внимание мое очень раздвоилось. В гостях у Александры Александровны в тот вечер был ее хороший знакомый Густав Густавович Шпет, который много говорил о новой экспозиции Третьяковской галереи, называя ее дилетантской и даже вздорной (а я только что осуществил такую экспозицию у себя в Рязани! Конфуз!). Не смея спорить, я больше внимания обращал на Алю. Александра Александровна, видимо, очень хотела, нашего нового сближения. Она достала нам билеты в Большой театр на оперу «Кармен», и этот вечер действительно всколыхнул во мне все старое, спасское. Потом мы ходили в Третьяковскую галерею, я показывал Але свои любимые вещи, старался объяснить, почему я их люблю, забыв, что надо было говорить проще, без искусствоведческих фокусов. Много-много позднее я узнал, что оба этих «похода» — в Большой театр и в Третьяковскую галерею — глубоко запали в душу Али, что в то время, как я в Спасске кем-то увлекался, она бережно хранила те нежные, еще детские, но уже и не только детские, чувства ко мне, видя во мне своего романтического героя, своего Акселя (имя героя романа Б. Келлермана «Ингеборг»), а себя называя, по-гриновски, Ассолью («Алые паруса»). Вот выписка из дневника Али: «Но главное всегда, всегда знай, что Ты половина моего существования в прошлом, Солнышко незаходящее моего детства, необходимое, как воздух и вода, всегда раньше и теперь...» Это было написано уже в 1955 году, когда мы поженились, но я обращаю

внимание на далекое прошлое: «всегда раньше»... Или Аленушкой.

Если бы я был тонко чувствующим и глубоко думающим человеком, то я должен был бы или стараться всеми силами переехать в Москву, быть ближе к Але, или устроить свое положение в Рязани таким образом, чтобы, дождавшись окончания Алей института (она тогда мечтала о поступлении в Архитектурный

- 58 -

институт), свить с ней гнездо здесь. Наши роды могли бы продолжиться. И для того, и для другого требовался сильный и решительный характер. Я им не обладал. Встреча не могла не взволновать меня. Вероятно, я сказал что-то неумное и получил вскоре от Али письмо: «Ах, Аксель, Аксель! Прошло столько времени, а я до сих пор не знаю, что думать об этой ужасной фразе». Вероятно, я обронил фразу о нашей взаимности, но обронил неделикатно. Аля печаловалась о том, что ее детская романтическая любовь так нечутко сведена на землю. Отныне я стал только «Георгием Карловичем». Но кончалось письмо прекрасно: «Я верю в Судьбу и знаю, что нас соединяют "невидимые нити"... Я верю в свое счастье... А мое, я знаю, приплывет вместе с Вами под сияющими Алыми Парусами...». Я был ошеломлен своей нечуткостью. Ничего исправить было нельзя. Но жизнь все же исправила. Всколыхнувшиеся эмоции дали некоторую пищу переписке, которая постепенно затухла, а вскоре я оказался в водовороте иных событий.

- 58 -

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В 1935 году в Рязань снова приехала Людмила Константиновна Розова. На этот раз она приехала не по своему желанию, а в порядке административной высылки на три года из Москвы за то, что она со своими подругами образовала своего рода аббревиатуру из начальных букв своих имен (нечто вроде ЮЛЕАН), которой между собой и пользовались. В этом была усмотрена (не без доноса, конечно) политическая организация. И вот, только что окончившая университет Людмила Константиновна в Рязани (к счастью, город можно было выбрать).

Что делать? Квартиры нет. Работы нет. Если квартиру еще можно было как-то найти, то поступить на работу оказалось труднее. В городе уже начала складываться атмосфера слежки. Плохие вести доходили из Москвы. В 1935 году был арестован и отправлен в Енисейск Г. Г. Шпет, встречи с которым я удостоился в квартире А. А. Терновской. Однажды и меня вызывали в НКВД и допытывались, какие разговоры ведутся у певца Тобольского, которого я часто навещал. Инкриминировали мне и то, что я хвалился своим происхождением от «фашистского композитора Вагнера» (я, действительно, рассказывал о происхождении нашего отцовского рода от двоюродного брата Рихарда Вагнера).

- 59 -

Это утверждал отец, показывая старые фотографии. Как жаль, что они исчезли!). Однако тогда все обошлось. Но угроза нависла. Приезжавший в Рязань Алексей Андреевич вместе с Надеждой Петровной Чистосердовой составили на меня гороскоп. Обменявшись тревожными взглядами, они ничего мне не сказали. А мне было не до того. Я запомнил только слово «Скорпион». Совсем недавно выяснилось, что все это было не случайным. Я скажу об этом в своем месте. По-видимому, благодаря тому, что в свое время Людмила Константиновна работала в Рязанском музее как университетский практикант, ее в конце концов взяли в музей. Большая часть сотрудников музея отнеслась к Людмиле Константиновне участливо, зная ее активность, инициативность и вообще ее добрый, благородный нрав. Не преувеличивая, можно сказать, что она была общей любимицей, за исключением, может быть, директора, партийной ячейки и женщин, которые почувствовали в ней соперницу. И не без основания! За исключением Марии Дмитриевны Малининой — женщины довольно яркой, но уже «в годах», — музей был на редкость беден красивыми женщинами. А тут появилась не только красивая, но чрезвычайно обаятельная и, главное, умная женщина. Конечно, музейные сотрудницы ревновали не своих мужей, а тех молодых сотрудников музея, которые образовали плотное окружение Людмилы Константиновны. Л. К. Розова держалась всегда очень скромно, но чистота и неиспорченность ее натуры накладывали отпечаток на свободу и непринужденность обращения, на особую доверительность, дружелюбие, что подкупало. В то время в музее работало несколько сравнительно молодых сотрудников: Владимир Николаевич Остапченко (ученый секретарь), я, художник Беле-вич, ботаник Воронин, приходили в музей художники Цвейберг, Жданов. Образовалась своего рода молодежная компания, в которой старшим (из мужчин)

был я.

Я к тому времени занял довольно твердое положение в музее, будучи уже не художником, а заведующим художественной частью. Я консультировал оформление экспозиции, принимал готовые экспозиции и все более и более входил в роль заведующего Художественным отделом музея (Картинной галереей). Мною была впервые осуществлена реэкспозиция Картинной галереи по социологическому принципу. С планом реэкспозиции я ездил в Третьяковскую галерею, которая тогда шефствовала над Рязанским музеем. План был одобрен и утвержден.

Меня посылали в районные музеи, для проверки их экспозиций. Так я очутился однажды в Сапожковском музее, где обна-

- 60 -

ружил два портрета кисти В. А. Тропинина. Позднее я изучил их, даже написал статью.

Из моих статей по рязанской древней архитектуре уже образовалась книга, которую я намеревался издать. Конечно, одного доклада в Москве о рязанской колокольне было недостаточно для того, чтобы стать хоть мало-мальски известным в искусствоведческих кругах (это облегчает печатание).

В 1934 году я поступил на Заочные высшие музейные курсы Наркомпроса, дающие высшее образование. Необходимы были профессиональные знания, тем более, что в архитектурной науке происходили большие изменения в сторону ее сближения с социологией и археологией. Мое самообразование грозило провинциализмом. На Высших музейных курсах больше всего знаний я получил от Н. И. Брунова.

По своим политическим взглядам я не был каким-то консерватором, многое в окружающей меня жизни я принимал. Я увлекался марксистской методологией (не философией). Как я уже сказал выше, директор музея В. М. Комаров предлагал мне вступить в партию. Но это было против моих сокровенных убеждений. Я не мог отказываться от Бога, не мог безотказно выполнять поручения по линии агитации и пропаганды. Потом судьба А. И. Фесенко не выходила из памяти. Ведь его зверски убил... коммунист! Я предпочитал интеллектуальную свободу. Этого требовала и любовь к искусству. Тогда в музее среди молодых практикантов завелась какая-то «бацилла споров». Больше всего спорили об искусстве. Будучи более других начитан в этой области и имея за плечами двухгодичное преподавание истории искусства в Художественно-педагогическом техникуме, я, конечно, одерживал верх в спорах, что придавало мне добавочную убежденность. Я «переспорил» и приезжавшего к нам инструктора из Третьяковской галереи. Помнится, что предметом спора был вопрос об эстетическом. Объективно ли эстетическое (в природе) или это лишь субъективное чувство человека? Тогда я еще не мог осознать единства этих явлений, говорил о психологической природе эстетического (Луначарский) и, помнится, «одержал верх» в споре. Мне казалось, что я отстаю правоту своих взглядов и в долгих «путевых» разговорах с добрейшим и старейшим сотрудником музея — историком Дмитрием Дмитриевичем Солодовниковым, которого я часто провожал до дому. Он был очень мягок, а я по наивности принимал это как согласие со мной. Много-много позднее, я осознал его правоту. Тогда же я считал себя более «методологически подкованным». Опаснейшее заблуждение! Естественно,

- 61 -

возникало ложное чувство неусредненности. Людмиле Константиновне это, вероятно, импонировало. Нашему сближению способствовало и то, что я помогал ей подыскивать квартиру, помогал всем, чем мог. Особенно же я проявил себя в оформлении выставки к 100-летней годовщине со дня гибели Пушкина, разработку темы которой поручили Л. К. Розовой. Выставка получилась очень удачной. Внимание ко мне Людмилы Константиновны росло. Это придавало мне веры в себя, я переживал душевный и творческий подъем. В это время мной была нарисована небольшая картина «Старый крестьянин за сохой», которая до сих пор экспонируется в Рязанском музее. Помню, что картина произвела очень сильное впечатление на Розову. (Любопытно, что в Рязанском музее, в котором я проработал немало времени, так и не знают, кто нарисовал эту картину. Замечательный пример культурной памяти!)

Вернусь к воспоминаниям о Людмиле Константиновне. Вечера мы проводили вдвоем в моей маленькой комнате. Любимым угощением был чай с тульскими пряниками. Большого моя зарплата не допускала.

Через определенные промежутки времени Розовой разрешали короткие поездки в Москву. Провожая и неизменно встречая ее на вокзале, я начинал замечать за собой, что отношусь к этим поездкам не равнодушно.

Во время вечерних встреч у меня я замыкался в разговоре, не считая возможным поделиться своим настроением. Я знал, что Людмила Константиновна не любила (как женщина) мужа, но я знал также, что он очень помогал ей материально, так что я считал недостойным делать что-либо во вред ему. Иначе говоря, я всячески сдерживал свои эмоции. Но это не могло оставаться незамеченным. Странно, что Людмила

Константиновна не отдавала себе отчета в том, что происходит со мной. Она была необыкновенно цельной и чистой натурой. Обладая привлекательной внешностью, очень женственными формами, она совсем не находилась во власти физических влечений, являя собой высокоинтеллектуальный тип. Но жизнь есть жизнь, и у Людмилы Константиновны был муж. Во время поездок Людмилы Константиновны в Москву или приезда Якова Ивановича в Рязань я был в отчаянии. Была ли это ревность? Нет, это было что-то другое, отчаяние от невозможности своего счастья. А его так хотелось... Ведь мне было уже 28 лет! Но я не только не знал женщин, я даже «по-настоящему» не целовался. Поэтому, когда однажды вечером мы сидели у меня на памятном желтом диване, и Люд-

- 62 -

мила Константиновна с необыкновенной нежностью прижалась ко мне щекой, спрашивая, что со мной, почему я мрачно молчу, я, потеряв голову, прижался губами к ее мягким губам...

Нет, это не был угар страсти, как в рассказе Куприна «Корь». Странно, но чувственной вспышки не было. Было нечто более захватывающее, более эмоционально-возвышенное, что современным языком описать трудно, тут нужен язык Тургенева...

Мы не объяснялись, хорошо это или плохо, слов вообще как-то не требовалось, потому что эмоции били через край. Мы целовались при первой возможности, нередко украдкой, нас тянуло к этому без всяких просьб с той или другой стороны. Встречи в моей комнате удлинялись, заходили за полночь, так что однажды Людмиле Константиновне не удалось пройти через запиравшиеся на ночь ворота музея и она вернулась ко мне ночевать.

Утреннее пробуждение было изумительно лучезарно. Стоял май, цвела сирень. Нарвав большой букет, я осыпал им полуприкрытое прекрасное тело любимой женщины, казавшееся мне божественным. Это было впервые в моей жизни — моя Рязанская Весна. Но это была особая любовь. Достаточно сказать, что мы еще долгое время были «на Вы».

Здесь нет нужды ставить многоточие. Наши чувства еще не дошли до границы, когда сознание теряется. По крайней мере, я не переставал видеть в Людмиле Константиновне пострадавшего человека, не забывал, что у нее есть заботливый муж, помощью которого она живет. Забыть все это и переступить «закон чести» я не смел. Не смел, боялся, не находил в себе решимости — можно назвать как угодно. Можно даже сказать и больше: я боялся быть смешным, неловким как мужчина. Здесь сказалось «фрейдистское» заторможение моего физического развития, произошедшее в Спаске. Родители излишне оберегали меня. Сознание, что я не такой, как мои товарищи, не возвышало, а странным образом ослабляло меня. Как сложен этот путь! Сколько об этом написано! И будет написано впредь! Кому верить? Кто ближе к истине? На эти вопросы никто не мог дать мне ответа, поэтому я и жил осторожно, словно ощупью. Но та ночь! Скорее всего, большинство мужчин не поймут, что и без обладания можно пережить восторг оттого, что античность возвела в свой идеал и не скрывала этого, что великий француз Ренуар считал самым красивым из созданий Бога... Я говорю обиняком, но разве трудно догадаться?

Было много счастливых дней. Была долгая прогулка за реку Оку, в Луковский лес. Была цветущая душистая трава, на кото-

- 63 -

рой мы лежали, вдыхая дурманящий аромат цветов, не следя за одеждой, которая мялась, платье Людмилы Константиновны порвалось (мы скрепляли его булавками). Так прошел этот безумно-ликующий день. Но, возвращаясь домой, мы увидели, что на нас надвигалась черная туча. Едва мы добежали до дома, как разразилась гроза.

Тогда, переполненные счастьем, мы не думали, что туча эта станет предзнаменованием скорого конца нашим встречам. Об этом вспомнилось много-много позднее (как часто я это говорю!).

Были и другие прогулки, в другие луга. Было, казалось нам, все настолько не греховно, что мы не стеснялись людей, конечно, самых близких, доверенных. Особенно хорошо к нам относились Д. Д. Солодовников (о нем ниже) и техническая служащая Анна Матвеевна Лазарева. Бывало, что иногда нечаянно она заставляла нас обнимающимися, но делала вид, что ничего не видит. Полагаю, конечно, что она была убеждена в том, что мы принадлежим друг другу. Вот как можно ошибаться даже доброжелательному человеку! Показателем истинного благородства тех, кто знал о нашей любви, является то, что никаких «слухов» об этом не ходило. Более того: никто не сказал нам ни единого осуждающего слова. А муж? Я лично не скрывал, что люблю Людмилу Константиновну. Но авторитет мой как человека неловеласного был очень велик. Любовь понималась как высокая дружба. Я, естественно, не уточнял.

Конечно, видеть тогда Людмилу Константиновну рядом с мужем было особенно болезненно. Я помню, как

мы втроем гуляли у реки Оки, было жарко, и Людмила Константиновна вошла в воду, стала уходить все дальше и дальше, поднимая платье... Я был ослеплен. И тут же мысль: для меня это — табу.

В другой приезд Якова Ивановича мы собрались втроем ехать в Солотчу. Поезд уходил рано утром. Не подумав, я предложил им ночевать в моей комнате, сам же я решил уйти в канцелярию музея. Яков Иванович ухватился за эту мысль, но Людмила Константиновна запротестовала. Я понял, она не хотела оставаться с мужем в моей комнате. И она настояла. Лежа на своих кроватях, мы с Яковым Ивановичем вступили в откровенный мужской разговор, из которого я понял, что он и Людмила Константиновна очень разные люди.

Невыносимо тяжелое душевное положение, в которое я попал, производило разрушительную работу в моей нервной системе и психике. Я просил Людмилу Константиновну о разводе, после чего я снял бы с себя разные «запреты». Она не считала

- 64 -

возможным на это пойти, так как это было ножом в спину Якову Ивановичу. И я понимал ее. Но другого выхода я не мог ни предложить, ни найти. Видя подавленность моего душевного состояния, Дмитрий Дмитриевич говорил мне отечески: «Духа не угашайте». И подарил свою книгу с этими словами апостола Павла.

Потеряв объективность суждения даже в научной работе, я однажды на Ученом совете выступил против своей старой покровительницы — Марии Дмитриевны Малининой, так как мне показалось, что она придирается к Л. К. Розовой. Это было уже нарушением чувства старой дружбы. Мария Дмитриевна, даже ее дочь — красавица Марина, которая очень нравилась Орику — отвернулись от меня. Друг М. Д. Малининой Милица Ивановна Знаменская, всегда питавшая ко мне нежные чувства, старалась не попадаться на глаза, а при встречах скорбно молчала... Отношения улучшились после организации мной в 1936 году посмертной выставки художницы Милеевой, с которой Знаменские дружили. Это была чудесная выставка. Изданный каталог ее стал первой моей научной работой. Каталог был тощий, серый, но мать Али, работавшая библиографом Книжной палаты, затребовала его в Москву, и это преисполнило меня гордостью...

Людмила Константиновна очень помогала мне в экспозиции выставки. Вдохновленный ею, я, сам того не ожидая, произнес на открытии вдохновенную речь. По крайней мере, так мне говорили.

Однажды меня, Людмилу Константиновну и сотрудницу музея Ксению Ивановну Васильеву вызвали в наше Московское управление музея — для собеседования, вероятно, с целью проверки нашего образа мыслей. Мы с Людмилой Константиновной урвали время и пошли в Музей изящных искусств. Там, стоя перед картиной Рембрандта «Даная», мы снова оказались во власти неразрешимого нашего противоречия. Мы оба хорошо понимали Даная, но Людмила Константиновна с точки зрения нормальной здоровой женщины, а я — как больной, как неврастеник, измученный чувством неосуществимости желания. Самоконтроль мой ослаблялся.

Постепенно мое состояние стало сказываться и на умонастроении вообще. Появились какие-то пессимистические высказывания, болезненное недовольство многочисленными явлениями тогдашней жизни. Я негодовал по поводу сноса в Москве Красных ворот и Сухаревой башни, ругал тех, кто давал указания к этому, однажды в нашей молодежной компании злорадно реагировал на статью в газете «Правда» — «Смех и слезы Андрэ Жида». Андрэ Жид незадолго перед тем был в Москве, а вернувшись в

- 65 -

Париж, написал статью о своих впечатлениях, о том, как в СССР выгоняют людей на демонстрации и т. п. явлениях. Не помню, кто тогда читал вслух статью в «Правде», но я подавал реплики в пользу проницательности Андрэ Жида. Позднее его отзывы оправдались.

Атмосфера сгущалась. В Рязани начинались аресты, как тогда говорили — бывших эсеров и меньшевиков. Как бывший эсер однажды был арестован ученый секретарь музея В. Н. Остапченко, а вскоре и его жена. Ксения Ивановна предупредила меня, что за моей квартирой следят. Следят за тем, кто приходит ко мне, когда в моей комнате тушится свет. Я отнесся к этому, как к проявлению ревности. Ксения Ивановна, милая женщина, хромая, член партии, была влюблена в меня. Однажды, когда я вечером, как обычно, сидел за круглым канцелярским столом и работал (я подолгу засиживался в канцелярии музея), вошла вернувшаяся уже из дома Ксения Ивановна и, сев за противоположный край стола, прямо призналась в своей любви. «Разрешите Вас поцеловать», — сказала она, очень волнуясь.

Я опешил. Что ответить? Согласиться — это значит выпустить любовь, пусть одностороннюю, на свободу, и тогда кто его знает, куда это заведет. Ксения Ивановна была женщиной экзальтированной. Кажется даже, что у нее была шизофрения в легкой форме. Я уклонился, стал говорить какие-то вразумляющие слова, что, конечно, должно было вызвать в ее душе бурю. Она, правда, сдержалась и вот тогда-то сказала, что за мной наблюдают. Конечно, она имела в виду Людмилу Константиновну. Ни ей, ни кому-либо другому я ничего не говорил о

произошедшем. Конечно, нужно было бы посоветоваться, но с кем? Умнейший Алексей Алексеевич Мансуров незадолго перед тем предусмотрительно переехал с семьей в Москву. Наш историк Дмитрий Дмитриевич Солодовников, относившийся ко мне по-отечески, был бесконечно добр, но совершенно не практичен. В. Н. Остапченко сидел в тюрьме. Самой же Людмиле Константиновне я остерегался сообщить о сказанном Ксенией Ивановной, так как боялся, что она перестанет ко мне заходить... Захваченные своим взаимным чувством, мы вообще не обращали внимания на то, что кругом происходит. А происходило страшное.

В 1936 году в Рязанском педагогическом институте была арестована группа молодежи, среди которой находились два человека, тесно связанные с музеем: Иван Дмитриевич Стерлигов и В. Селиванов. Стерлигов когда-то работал в музее, затем переехал в Москву, где занимался библиографией, и уже как извест-

- 66 -

ный библиограф часто приезжал в Рязань. В эту пору он, кажется, даже поступил на работу в Рязанский педагогический институт. Это был очень нервный субъект, несомненно шизофреничный. Рассказывали потом, что он и его товарищи по Пединституту устраивали в Рязанской Рюминой роще игры в войну с фашистами, а после игры устраивали какую-то вечеринку с выпивкой и кто-то (не то Стерлигов, не то Селиванов) произнес тост за Гитлера. Правда это или нет — не знаю. Только Стерлигова и Селиванова арестовали, и нам в музее об этом стало известно. Кажется, к этому времени была арестована и жена В. Н. Остапченко. Тучи сгустились, но мы с Людмилой Константиновной продолжали встречаться. События, конечно, заставляли задумываться, но любовь была сильнее. Все рисовалось нам в каком-то тумане. Я лично легкомысленно положился на судьбу.

С Людмилой Константиновной познакомился Орик, приехавший ко мне из Ленинграда. Они очень понравились друг другу. Мне даже казалось, что у Людмилы Константиновны было к Орику более нежное чувство, чем ко мне. Орик действительно отличался артистической внешностью, был более свободен в обращении, жизнерадостен. Все это было близко духу и натуре Людмилы Константиновны. Вскоре Орик уехал в Спасск, куда на лето собиралась вся наша семья. Папа, мама и Володя с женой Катей приезжали из Донбасса. Моя мама уже знала о моем увлечении и, как всегда, никогда не вмешивалась в мои личные дела, доверяя моей интуиции. Точно также она считала меня «своей совестью», так как я тоже никогда ни единым словом не вмешивался в жизнь ее души. А мама нравилась мужчинам, у нее были поклонники, и кое-кому мама отвечала взаимностью.

Летом 1936 года я тоже поехал в Спасск, где меня уже все ждали. Идя пешком со станции «Ясаково», через луга в Спасск, я собирал цветы для жены Володи — Кати. На лесистой окраине Спасска мы все неожиданно встретились, это была какая-то ликующая встреча, казалось, все переживали особую радость. Увы, эта встреча была последней. Приближался 1937 год.

- 66 -

ПЕРВЫЙ АРЕСТ

21 января 1937 года Людмила Константиновна была вечером у меня. Обсуждали прошедшую Пушкинскую выставку. Людмила Константиновна очень просила меня вспомнить формулиров-

- 67 -

ку стиля Пушкина, которую я дал устно, совершенно без всякой подготовки и, конечно, тут же забыл. Несмотря на все напряжение памяти, я не мог вспомнить этой формулировки, а она, по словам Людмилы Константиновны, была замечательной.

Текли часы. Время близилось к полуночи. И тут в мою дверь раздался стук...

Стук был властный, так не могли стучать мои соседи. Сразу, как электрический ток, пронзила мысль: «Это за мной». А может быть, «за нами»? Если бы только за мной, я не был бы так испуган. Нельзя сказать, что я готовился к аресту, никому, я думаю, не хочется подвергаться этому. Но безысходность моего увлечения Людмилой Константиновной настолько притупила мое гражданское самосознание, что мне было все равно. Однако здесь дело шло уже не столько обо мне, сколько о нас. И дело опять же не в том, что Людмилу Константиновну застали в двенадцать часов ночи в гостях у меня. В то время еще можно было ходить в гости. Но Людмила Константиновна была административной ссыльной, и это многое меняло. Создавшееся положение могло быть истолковано во вред ей. Пока мы лихорадочно думали, что делать, стук повторился. На этот раз раздался голос нашей технической служащей Анны Матвеевны, которая никогда не позволила бы себе ломиться ко мне ночью. Совершенно ясно, что дело пахло арестом. Задним числом хочу сказать, что мы несколько не

подверглись такой позорной панике, которая показана (в очень схожей ситуации) в кинофильме «Неожиданные визиты». Однако вместо того, чтобы спокойно открыть засов двери, мы почему-то потушили свет. Зачем? Сделать вид, что никого нет дома? Но это было глупо, так как свет могли видеть в окне перед тем. Кроме того, дверь была не заперта снаружи.

Когда, наконец, к голосу Анны Матвеевны присоединился голос директора музея (тогда им был уже не Комаров, а Теплицкий), ничего не оставалось делать, как открыть дверь. Я не видел ни Анны Матвеевны, ни Теплицкого, так как все заслонила фигура высокого человека в шинели и синей фуражке. Он предъявил мне ордер на обыск и арест... «Лейтенант Костин», — представился он.

Сейчас трудно в точности вспомнить, какие чувства мной завладели. «Свершилось!» Это было, вероятно, главное. Свершилось, конечно, не желанное, а что-то такое, что помимо моей воли клало конец моим нравственным мучениям, моему безвыходному положению. Может быть, это и было то, что предсказывал Скорпион? Но тогда у меня не было ни страха, ни боязни за

- 68 -

свою судьбу. О себе я тогда, кажется, вообще не думал. Я все время думал только о том, чтобы все это не отразилось на Людмиле Константиновне, не повредило ей. Ничего предосудительного у меня в комнате не было. Нецензурной литературой я не интересовался, «самиздата» тогда еще не было, корреспонденция моя носила исключительно интимный характер. Но все же! Мало ли что можно придумать. Впрочем, было одно неприятное обстоятельство. У меня на стене висел автопортрет, сделанный в минуты безысходной тоски, я был в образе какого-то живого мертвеца, закутанного в черную мантию (до скул). Мне самому было страшновато смотреть на свои потухшие глаза. При желании можно было истолковать такой образ как выражение полного отказа от жизни, от прекрасной советской жизни. Поди, докажи, что это не так. Впоследствии именно так и оказалось. Конечно, я не вникал в то, что было сказано в ордере. Человек в шинели и синей фуражке (им оказался, как я впоследствии узнал, следователь НКВД Костин) приступил к обыску (Людмила Константиновна много лет спустя рассказала мне, что ей удалось незаметно взять мою адресную записную книжку и изорвать ее! Каким образом она сделала это в присутствии следователя — непостижимо!). Обыск, естественно, ничего не мог дать и не дал. Костин предложил мне одеться, и все мы стали выходить через узкий коридор во двор музея. И вот здесь, в этом коридоре, Людмила Константиновна схватила мою руку и поцеловала ее. Молча. Это был великий жест расставания (возможно, прощания). Такого примера в истории я не знаю. По содержанию это было похоже на то, как Робби (Роберт Россо, друг Оскара Уайльда) молча снял перед ним шляпу, когда того вели по тюремному коридору. Это был жест благодарности за все, что было между нами. Никогда, ни одна женщина не целовала мне руки, я даже не мог представить себе такое. А тут — любимая женщина, перед которой я преклонялся! А как же я простился с ней? Увы, я не мог позволить себе подобного, я должен был всячески отгородить ее от себя, поскольку я уже был «преступник». Ведь понятие презумпции невиновности в те времена толковалось произвольно. Вернее, его вовсе не существовало в советском суде, работавшем по «команде сверху». Да и что я тогда, в полном душевном потрясении, мог сказать? По словам Оскара Уайльда, оказавшегося почти в таком же положении, «люди попадали в рай и за меньшие заслуги. Движимые таким чувством, такой любовью, святые становились на колени... За это нельзя приносить формальную благодарность в общепринятых выражениях». Как и он, «...я храню ее в

- 69 -

сокровищнице своего сердца». Мы простились взглядами. Никаких забот об оставленной неизвестно на кого комнате, о своих вещах и прочем у меня не было. Мне было все равно, кроме одного, как бы все это не отразилось на положении Людмилы Константиновны.

Был большой мороз. Наш музейный ночной сторож Вердеревский открыл калитку ворот, я шагнул за них, еще раз взглянул на Людмилу Константиновну, убедившись в том, что ее не арестовывают, влез в черный лимузин и, сопровождаемый Костиным, на десять лет расстался с музеем. Конечно, тогда я не знал, на сколько лет я с ним расстанусь. Вероятно, я думал — навсегда. Мыслей, что я расстанусь с жизнью, у меня не было. Поэтому, хотя я и осознавал эмоциональную безудержность своего состояния в тот год, но сказать, подобно Оскару Уайльду, что «я сам погубил себя», я не мог. Я не видел за собой никакого греха. Конечно, находясь в смятенном состоянии, я никак не мог вспомнить евангельских слов: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное». Чувства и сознание мои были приземлены, да и знанием Евангелия я в то время не мог похвалиться. Во мне уже загоралась искра борьбы за жизнь ради возвращения к оборванному счастью-несчастью. Странное состояние! Только недавно, не находя выхода из нравственного тупика, я желал «конца», любого конца. А теперь во мне зажигалось пламя борьбы за жизнь.

Естественно, мы ехали молча. Машина остановилась у здания НКВД (бывшая гостиница Штеерт, напротив банка). Костин ввел меня в боковое крыльцо, затем куда-то вниз, в подвальный этаж и водворил в пустой

комнате с табуретом. Дверь за мной заперлась. Я был предоставлен самому себе.

Не помню, был ли в комнате свет. Помню, было очень холодно. Единственное, чего я опасался — не появятся ли крысы. Желания лечь не было, да и возможности такой тоже не было. Я сидел на табурете и начал приводить в порядок мысли. Первым делом стал вспоминать, какие разговоры и с кем у меня в последнее время были, какие вопросы могут быть мне заданы и как мне на них отвечать.

Так как я знал, что незадолго передо мной были арестованы секретарь музея В. Н. Остапченко, а также И. Стерлигов и Селиванов (из Педагогического института), то, конечно, прежде всего я вспоминал разговоры с ними. В. Н. Остапченко был прекраснейшей души человек, если в чем и не разделявший советских взглядов, то никогда не делавший из этого предмета разговоров,

- 70 -

тем более того, что в те годы получило нелепое название агитации. С этой стороны никакой опасности Мне не грозило. Стерлигов и Селиванов не были близки мне, и с этой стороны я ничего не ожидал. А между тем все и началось со Стерлигова. Он был отпрыском рязанской дворянской фамилии, до 1917 года владевшей усадьбой «Старая Рязань». Человек неглупый, но с чертами какого-то инфантилизма. (В отношении меня он сыграл постыдную роль Альфреда Вуда — шантажиста, дававшего показания на Оскара Уайльда.) От Стерлигова можно было ожидать всего, чего угодно.

Не могу вспомнить, удалось ли мне в ту ночь вздремнуть. Кажется, удалось. Я заметил позже за собой, что нервное напряжение, так или иначе связанное со страхом за свою судьбу, вызывало у меня не бессонницу, не мучительное бдение, а наоборот, провал в небытие, в безразличие, в сон. Так или иначе, наутро меня впервые вызвали на допрос. Сопровождал меня солдат НКВД с винтовкой. Я должен был идти впереди, не оглядываясь и заложив руки за спину. Пошли куда-то вверх, на второй или третий этаж. Перед одной из дверей остановились. Затем меня ввели в довольно большой кабинет, посередине которого стоял очень громоздкий стол со стульями, а в голове его Т-образно — письменный стол. За письменным столом сидел молодой чернявый следователь, как я потом узнал — Иван Назаров.

Последовали обычные формально-протокольные вопросы: фамилия, имя, отчество, национальность, семейное положение, занятие и пр. Началось составление протокола. Затем последовал вопрос:

— Ну, расскажите о вашей контрреволюционной деятельности.

Я: Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался.

Назаров: Лучше сознавайтесь чистосердечно, это вам зачтется при вынесении приговора.

Я: Никакой контрреволюционной деятельностью я не занимался.

Назаров: Вы знакомы с Иваном Дмитриевичем Стерлиговым?

Я (поняв откуда дует ветер): Да, знаком, но не близко.

Далее последовало описание моего знакомства со Стерлиговым, в котором я обрисовал его довольно случайным человеком в музее.

- 71 -

Назаров: Стерлигов рассказал нам обо всем чистосердечно, признался в своих преступлениях. Он рассказал нам о ваших контрреволюционных взглядах.

Я: В чем же они выразились?

Назаров: Вы читали и контрреволюционно комментировали статью «Смех и слезы Андрэ Жида», опубликованную в газете «Правда».

Я: Да, я комментировал эту статью, но вовсе не контрреволюционно, а с удивлением, что высказывания Андрэ Жида так откровенно опубликованы в газете. (Тогда, естественно, я не мог знать, что примерно за то же самое, то есть за апологию Андрэ Жида, был репрессирован Абрам Эфрос, которому было поручено сопровождать французского писателя по Москве. Правда, Эфрос отделался легко: его сослали в Ростов Великий, в связи с чем Мандельштам будто бы сказал: «Это не Ростов Великий, это Абрам — великий».)

Назаров: Вы настроены антисоветски и высказывались оскорбительно в адрес руководителей партии и правительства.

Я: Я не ругался в адрес представителей партии и правительства, это не в моих правилах. Я мог

высказываться резко в адрес тех, кто не соблюдал закона об охране памятников архитектуры. Ведь нарушение Закона недопустимо!

Назаров: Вы ругали Кагановича.

Я: Я не ругал Кагановича. Я протестовал против сноса Сухаревой башни и Красных ворот в Москве (я тогда не знал, что все это было сделано по распоряжению Кагановича).

Назаров: Вы ругали Ворошилова.

Я: Я не ругал Ворошилова, он не имеет никакого отношения к тому, чем я занимаюсь.

Кажется, на этом первый допрос окончился. Назаров дал мне на подпись протокол. Некоторые ответы, неправильно зафиксированные, я отказался подписать и подписал лишь по исправлению записи. Меня повели вниз. Идя по коридору, я должен был поворачиваться (по команде) лицом к стене. Это значило, что навстречу вели арестованного, которого я не должен был видеть. Меня свели снова в подвальный этаж, уже не в одиночную камеру, а в камеру, в которой находились три человека. Один из них — венгр (эмигрант) из города Дебрецена, молодой красивый парень, обвинялся в каких-то недовольствах на производстве. Второй — бывший военный, а ныне райкомовский работник из западнорусских областей — Мозговой. Третий — какой-то толстолиц с крайне путанными мыслями. Типичный русский путаник. Нет

- 72 -

никакого интереса что-либо говорить о них. Очень жалко было венгра — у него осталась семья без средств.

В камере ночью бегали крысы. Я кое-как заделал дыру в углу пола. Это было самое противное из жизни в камере. Сторожили нас не солдаты, а милиционеры, которые относились к нам без злобы. Еда давалась конечно, дрянная, но не настолько, чтобы ее нельзя было есть. В перерывах между вызовами на допрос мы делились своими воспоминаниями.

Второй мой допрос был более «императивный».

Назаров: Не отпирайтесь, нам все известно о вашей контрреволюционной деятельности. Билевича вы знаете?

Я: Конечно знаю. Он — художник музея.

Назаров: Так вот, Билевич во всем сознался и все рассказал о вас.

Я понял, что Билевич тоже арестован. Понял, что его тоже продержали ночь в холодной одиночке и он так перепугался, что начал говорить о всяких мелочах, не имевших никакого политического значения. Я понял это из вопросов Назарова.

Назаров: Нам известно, что вы настроены антисемитски. Билевич рассказал вам еврейский анекдот о знаменитых еврейских писателях Пушкинzone и Лермонтовиче, и вы смеялись.

Я: Я смеялся, но вовсе не злобно-антисемитски, так как это просто безобидно смешно.

Назаров: Идя с Билевичем по лестнице музея, вы остановились перед зеркалом и сказали: «У меня отрасли пейсы, как у жидочка».

Я: Я не вижу в этом ничего антисемитского. У меня есть друзья евреи.

Назаров: Вы всегда имели свое особое мнение и не были лояльны с официальным мнением.

Я: Я не вижу преступления в том, что имел свое мнение.

Назаров: Со слов Стерлигова нам известно, что вы недовольны Советской властью и являетесь вдохновителем молодежной эсеровской организации в Рязани.

Я: Я требую очной ставки со Стерлиговым.

После некоторого перерыва в комнату вводят Стерлигова. Вид у него какой-то ненормальный, как будто его били. Глаза бегают, как у безумного. Назаров задает ему вопросы, обвиняющие меня. Стерлигов подтверждает.

Я: Иван Дмитриевич! Что вы делаете, как вам не стыдно, вы с ума сошли. Ничего этого не было! Я готов плюнуть вам в морду!

- 73 -

Стерлигов сжимается, прячет глаза, что-то бормочет. Совершенно ясно, что его взяли в работу, подавили

его психику угрозами (может быть, угрозой расстрела?), и он превратился в мягкий воск. Конечно, он был шизофреник.

Назаров: Ну, что же вы отпираетесь? Ведь Стерлигов подтверждает свои показания!

Я: Я считаю, что Стерлигову верить нельзя. Он страдает шизофренией. Привлекать к допросу шизофреника противозаконно. Нужна экспертиза.

Назаров: А Билевич?

Я: Билевич трус, малодушный человек, вы его запугали. Он несет околесицу не только на меня, но и на себя. Разве этому можно верить?

Увы, я был достаточно наивен, чтобы верить в справедливость тогдашнего следствия. Все разыгрывалось как по нотам.

Таким образом, и этот второй допрос ничем не кончился. Я утвердился в мысли: если я признаюсь хотя бы в одном из обвинительных показаний Стерлигова или Билевича, то, естественно, на меня механически распространятся и все остальные. Я решил от всего отказываться.

После нескольких дней перерыва меня вызвали ночью к Назарову, к которому пришли Костин и еще один молодой следователь. Усевшись вокруг меня, они начали подвергать меня перекрестному допросу, стараясь сбить с толку. Когда после войны я увидел известную картину художника Иогансона «Допрос коммуниста», то она очень напомнила мне мой допрос. Не фигура коммуниста, конечно, напомнила мне меня, а допрашивающие фашисты напомнили мне ту тройку «молодцов», которые хотели смять мою волю, заставить подписать протокол.

Допрос перешел в крики. Один из следователей хватался за табуретку, но я уже успел выработать в себе «иммунитет». Этот ночной наскок не продвинул мое «дело» вперед. Я в своей позиции утвердился.

Зная, что Назаров дружил с моим товарищем по Художественному техникуму Митей Цвейбергом, я однажды намекнул ему, чтобы он запросил мою характеристику у Цвейберга. Как потом мне стало известно, Назаров действительно вызывал Цвейберга, но последний держался честно и благородно. Назаров ничего не смог из него «выжать». Бить меня он, видимо, не решался, это получило бы через Цвейберга огласку.

Однажды ночью меня вызвал к себе в кабинет на допрос заместитель начальника Рязанского отделения НКВД Рязанцев.

- 74 -

Это был массивный мужчина, вроде Геринга. Он держался резко, даже грубо. Но ничего не добился.

Потом меня вызывал к себе (тоже ночью) заведующий отделом Госбезопасности Багно. Он был мягче Рязанцева, обходительнее. Это была более опасная тактика. Но эта встреча тоже окончилась ничем. И вот настал черед самого начальника Рязанского НКВД. Тогда им был Кривицкий. Облик у этого брюнета средних лет был довольно приличный, он не кричал, не стучал кулаком по столу, а подходил хитро: «Ну чего вы отпираетесь! Ведь нам все известно о вас от человека, с которым вы приятно проводили вечера».

Это был подлый шантаж. Людмилу Константиновну, я не сомневался тогда, конечно, вызывали в НКВД для дачи показаний против меня. Для нее, как административной ссыльной, это было чревато очень плохими последствиями. Но я готов был отдать голову на отсечение, нежели поверить в то, что она могла сказать про меня что-то предосудительное. Я отверг шантаж Кривицкого.

Больше меня не вызывали на допросы, считая это безнадежным. Я удивлялся, что ко мне тогда не применяли мер физического воздействия. Думаю, что причина не в том, что следователь Назаров дружил с моим товарищем Цвейбергом. Я ведь не был каким-либо видным деятелем, «разоблачение» которого (с «признанием») могло дать материал для громкого политического процесса. «Упечь» меня в концлагерь можно было без всяких попыток и т.п.

Между тем время шло. Однажды мне вручили передачу с разными хорошими продуктами и мандаринами. Я понял, что в Рязань приехал кто-то из родных. Сначала я думал, что приехали из Москвы либо тетя Маруся, либо кузина Наташа. Позднее я узнал, что приехала из Донбасса (из Кадиевки) моя мама. Конечно, она была на приеме у следователя и, уходя от него, встретилась на лестнице с Людмилой Константиновной, которую вызывали, вероятно, по моему «делу». Для Людмилы Константиновны (как она потом мне рассказывала) это был громадный удар: что могла подумать о ней моя мама? Ведь вполне естественно, что у мамы могла зародиться мысль: «Вот она — виновница ареста моего сына». А может быть, не просто виновница, а пособница, даже доносчица? Но моя мама, по словам Людмилы Константиновны, проявила высочайшее благородство. Она не только ни в чем не заподозрила Людмилу Константиновну, но душевно сблизилась с ней и во время своего

пребывания в Рязани (вплоть до моего отправления «на этап») находила в ней поддержку.

Однажды нас, жителей камеры, повезли в тюремную баню. Во двор НКВД въехал «черный ворон», в кузове которого были устроены такие кабины, в которых можно было только стоять. Нас стали грубо заталкивать в них, и вскоре мы выгрузились во дворе Рязанской тюрьмы. Это четырехугольное здание с круглыми башнями по углам стоит около моста через железную дорогу, недалеко от Московского вокзала. Оно было построено в 20-х годах XIX в. в стиле «ампир», и я хорошо знал его внешне, занимаясь изучением архитектуры Рязани. Теперь мне предстояло изучить его изнутри.

И, действительно, вскоре меня перевели из подвала гостиницы Штеерт в городскую тюрьму. Вели меня одного, посередине проезжей части улицы, сзади шел один милиционер. Была весна. По пути мне встретился один из одноклассников по школе в Спасске — Сергей Петровский. Он шел навстречу по тротуару и с удивлением оглядывал меня. Сцена была молчаливая, но выразительная. Конечно, Петровский рассказал о ней кому мог. Было ли мне стыдно? Такой вопрос вовсе не риторичен. Брести под конвоем по проезжей части улицы на глазах горожан, среди которых было немало знакомых, — это вовсе не прогулка. Мне ничуть не было стыдно. Но вовсе не потому, что, подобно одному великому писателю и поэту, я нуждался в каком-то самоутверждении, а просто я не чувствовал тогда себя виновным. Чувство вины придет ко мне позднее, и опять же не за свои поступки, а за горе матери, отца и братьев. Так это или не так, но получилось, что с моим арестом начался развал нашей семьи. К этому я еще вернусь.

В тюрьме меня поместили в угловую башню, которая выходила к железнодорожной насыпи. Камера (на третьем этаже) состояла из трех коек. Одну из них занимал пожилой мужчина, слесарь или железнодорожник из соседнего села Канищева. Его посадили как бывшего эсера, каковым он действительно был. Второй был какой-то колхозник, сорвавший со стены и порвавший портрет Ленина. Потом его сменил молодой красноармеец, посаженный за то, что нехорошо отозвался на смерть Дзержинского. В камере между коек можно было делать пять-шесть шагов взад-вперед. Я это проделывал, чтобы не ослабли ноги. Ведь впереди предстоял «этап».

Из камеры через маленькое окошечко можно было видеть часть железнодорожной насыпи. Мама с Людмилой Константи-

новой по ней ходили, разыскивая «мое окно». Я их видел хорошо, но никак не мог дать знать о себе. Это было очень обидно, тем более, я уверен, они надеялись на это. Мое смотрение в маленькое оконце с решеткой (на окно еще не прикрепили «намордник») очень напоминало картину художника Ярошенко «Заключенный». Все было очень похоже: и высокое расположение оконца, его маленькие размеры, поза смотрящего — все это Ярошенко как бы предвосхитил на сто с лишним лет вперед. Кроме того, из окна была видна часть двора, и можно было наблюдать, кого ведут на прогулку. Я видел, как водили на прогулку сотрудника музея биолога Воронина. Он был молод и даже в этой ситуации выглядел бодрым. Однажды из-за ошибки конвоиров (в их задачу входило не допускать встреч заключенных по одному делу) я встретился на тюремной лестнице с библиотекарем музея Лебедевым. Этот пожилой интеллигент был, вроде Стерлигова, не совсем психически здоров. Вид у него был полубезумный. Он вытаращил на меня глаза и ничего не мог сказать. Так я постепенно узнал, что вместе со мной была арестована целая группа сотрудников Краеведческого музея (вместе с Остапченко пять человек!). И на всех (кроме Остапченко) дал показания Стерлигов. Но это было еще не все. При одном из допросов Назаров спросил меня, знаком ли я с Юрием Владимировичем Скорняковым и Василием Дмитриевичем Виноградским? Я выразил недоумение. Оказывается, эти двое молодых москвичей были товарищами Стерлигова. Скорняков был филологом, Виноградский — лингвистом. Оба любили литературу, поэзию, собирались со Стерлиговым у кого-то на квартире, читали, спорили. И все, что Стерлигову показалось не советским, все это он выложил на следствии. Потом я узнал, что точно таким же путем в рязанскую тюрьму был привезен из Ташкента еще один приятель Стерлигова (фамилию его я забыл), причем привезли его с женой и только что родившимся ребенком. И еще один москвич, товарищ Стерлигова, оказался в рязанской тюрьме — библиотекарь Зубов (кажется, Андрей Павлович). Всего по моим тогдашним подсчетам Стерлигов «собрал» в рязанскую тюрьму около 25 человек! Следователи должны были быть очень им довольны. Не помню, от кого и когда я узнал о том, что Стерлигова и Селиванова, как сознавшихся в содеянном преступлении, судила Военная коллегия. Они «получили» по 10 лет и исчезли из жизни. Тогда, да и много позднее, когда я был уже в лагере, у меня не появлялось никакого чувства сострадания ни к себе, ни ко мне подобным. В воспоминаниях некоторых больших писателей мне иногда при-

ходится читать об этом, но у меня этого не было. И я думаю, вовсе не потому, что я такой уж не чуткий. Просто я поддался общему психозу: «Лес рубят — щепки летят».

В тюрьме меня не оставляла мучительная мысль: что сделали с Людмилой Константиновной? Да, ослепленный любовью, я думал больше об этом, нежели о переживаниях мамы и отца. Тогда, ночью 21 января, ее не арестовали, но это могли сделать позднее. И об этом я никак и ничего узнать не мог. Тогда я решил крикнуть из окошка башни Воронину во время вывода его на прогулку. Так как полного имени и отчества (тем более фамилии) я произнести остерегался, то придумал назвать только инициалы «Л» и «К» — «Элька». Я выкрикнул в окно : «"Элька" на свободе?» И Воронин понял меня, кивнув головой. Это немного успокоило меня. (Позднее «Элька» преобразовалось в поэтическое «Элю». Так я зову ее до сих пор.) Для подтверждения я придумал еще один способ. Людмила Константиновна любила конфеты «Мишка». Во время наших встреч я всегда угощал ее ими. Каким образом я дал понять маме, чтобы в передачах мне были три конфеты «Мишка», означающие, что они именно от Людмилы Константиновны, я уже не помню. Эти условные три конфеты я получал. Бумажки от конфет я бережно хранил, так как никакого клочка бумаги нам не давали. (Удивительное дело! Морозов в свое время написал в Петропавловской крепости многотомный труд!)

В рязанской тюрьме, и именно в башне я просидел до июня 1937 года. Много споров у меня было с бывшим эсером из Канищева. Это был заядлый эсер, а я еще не освободился в то время от некоторого идеализма, граничащего с наивной недалевидностью. Многие его взгляды я оспаривал, он доходил до ярости, вскакивал на кровать, брызгал, крича, слюной. Потом, когда мы были уже соединены с другими заключенными перед отправкой на этап, он сделал мне интересное признание. Но об этом ниже.

Вызовы на допрос прекратились. Тюремная жизнь текла своим чередом. Однажды меня вызвали во двор тюрьмы, где у одной из стен примостился со своим штативом фотограф. Он сфотографировал меня в фас и в профиль. У меня сохранилась эта фотография: я с остриженной головой и страшно мрачным взглядом. Незнакомый человек мог вполне заключить: «Да, это действительно преступник». Позднее у меня возьмут и отпечатки пальцев.

Каждый вечер и каждое утро производилась «проверка». Одна за другой, гремя засовами, открывались и закрывались желез-

- 78 -

ные двери. Мы должны были вставать по команде «смирно» и откликаться на свою фамилию. Проверку производил комендант. Иногда приходила комиссия по проверке содержания, а нет ли у кого каких-либо жалоб. На что я мог тогда пожаловаться? На слишком широкое толкование следователем понятия «контрреволюционное»? Это было бы смешно. Тогда жалоба на недостачу хлеба уже считалась контрреволюционной. Но кто-то все же просил бумаги, писал жалобы...

Настал день вынесения приговора. Никакого суда, конечно, не было. Все следственные материалы были отосланы в Москву, и там Особое совещание Московской области (так называемая тройка) как бы заочно «раздавало» всем сроки. Вызвали и меня в канцелярию тюрьмы, где какой-то чин протянул мне небольшую бумажку, на которой было напечатано примерно следующее: «...за контрреволюционную деятельность (КРД) приговорен к исправительно-трудовым лагерям на пять лет». Замечу, что приговаривался я не по статье УК 58-10(11) — антисоветская агитация (10) с участием в группировке (11) (эта статья давалась «народным» судом), а по формулировке КРД, считавшейся «литерной». Как оказалось в дальнейшем, к «литерным» было худшее отношение, они считались опаснее. Тогда эти «5 лет» показались мне не очень страшными. Я был уверен в том, что «получил» этот срок благодаря тому, что отказался от возводимых на меня обвинений и не подписал главных пунктов протокола допроса. Еще в бумажке значилось, что я возглавлял в Рязани молодежную эсеровско-меньшевистскую организацию! Тут же мне стало известно, что местом назначения для отбывания срока указаны колымские лагеря (бухта Нагаева). Я отнесся к этому спокойно. Мне было 28 лет и я верил в то, что все вынесу.

Иногда меня интервьюеры спрашивают: как это я смог спокойно относиться к сталинскому произволу, не противостоять, не бороться? Наивные вопросы. Особенно, если их задают задним числом и те, кто не имеет никакого представления о сталинской мясорубке. Мысль была об одном: выжить! С другой стороны, разве мой протест против разрушения архитектурных памятников старины не был проявлением борьбы? Попробовали бы все сделать такое! Большинство молчало.

(КОНЕЦ МОЛОДОСТИ)

В один из июньских дней меня в числе небольшой (человек 20) группы заключенных вывели за ворота рязанской тюрьмы и построили в «каре» по 4 — 5 человек в ряд. С боков был конвой с винтовками. И тут впервые за все мое тюремное сидение я увидел маму. Она стояла недалеко от ворот в группе других родственников заключенных. Очевидно, день отправки нас «на этап» был им известен. Что могу я сейчас написать о тех чувствах, которые нахлынули на меня тогда, более 50 лет назад, при виде мамы? Я не заплакал. Не потому, что не было слез, а потому, что не смел окончательно убить маму. Я должен был показать ей своим видом: «Мама, не отчаивайся, я все перенесу и вернусь». Я не видел (из-за расстояния) слез мамы. Ее лицо, ее фигура, конечно, несли следы тяжелейших переживаний. Я был ее первенцем, я, как говорится, «подавал надежды». И вот все рушится. Сердце какой матери может выдержать такое? Хочется думать, что мама верила в мою невиновность. Переговариваться нам запретили. Молча, мы двинулись по дороге к многоэтажному Исправительно-трудовому дому по другую сторону железной дороги, где должен был формироваться большой этап. Мама в числе других родственников шла в некотором отдалении сбоку. Я видел в ее руках зеленый рюкзак. Это было, конечно, заготовлено мне на дорогу, но при выводе из тюрьмы передать мне рюкзак, вероятно, не разрешили.

Нас ввели на один из этажей Исправительно-трудового дома в какую-то большую комнату, скорее зал, и тут я увидел неожиданную картину. Весь зал был битком набит разного рода людьми, судя по плохой одежде и вещевым мешкам — заключенными. Кто стоял, кто сидел на полу. Все живо разговаривали, отчего стоял сплошной гул. Люди, очевидно, впервые получили возможность общения и пользовались этой возможностью, чтобы излить все накопившееся за многие месяцы молчания. Как я узнал, это собирался большой «этап», в котором соединились люди из разных камер и разных сроков сидения в тюрьме. Среди присутствующих я узнал двух-трех рязанских педагогов, один из которых занимал большой пост в Областном отделе народного образования. От него я узнал, что почти одновременно с Остапченко, мной и моими музейными коллегами в Рязани было арестовано очень много людей, часть которых была бывшими эсерами или, по крайней мере, считалась таковыми. В общей сложно-

- 80 -

сти, как мне сказали, в Рязани было арестовано до 200 бывших эсеров. Таким образом, я попал в эту общую «охоту за ведьмами». Тут ко мне подошел и «мой канищевский эсер», который огорошил меня словами: «И ты тоже на этап? А я ведь думал, что ты посажен мне в башню в качестве кукушки». (Кукушкой называется человек, которого подсаживают к заключенному с целью выведать его истинное лицо). Мне ничего не оставалось, как выразить удивление. Но и я был хорош!

Стоящий в зале оживленный гул, возможность общения как-то облегчали драматизм положения. Ведь через короткое время нам предстояло шествие на вокзал и погрузка в состав из «телячьих вагонов». А там — прощай Рязань! Возможно, прощай и молодость?

Почему-то я не видел в зале ни Билевича, ни Воронина, ни Лебедева, не говоря уже об Остапченко, Стерлигове и Селиванове. Зато я столкнулся здесь с Юрием Скорняковым, Василием Виноградским и Зубовым — московскими друзьями Стерлигова, которых он засадил в рязанскую тюрьму. Все они сказали мне, что Стерлигов показал не только на них, но и на ряд других.

Юрий Скорняков оказался очень живым и эрудированным блондином, по оживленному виду которого нельзя было сказать, что он перенес драму. Высокий, статный и красивый brunet Василий Виноградский держался более замкнуто. Зубов, низенького роста, выглядел еще незрелым юношей. Но все они, судя по первому моему впечатлению, были очень образованные молодые москвичи.

Вскоре нас стали поочередно вызывать на свидание с родными. Они происходили в особой комнате, разделенной двойной решеткой из железных прутьев (как в зоопарке). За одной решеткой было место заключенных, за другой — родственников. Между решетками ходил часовой, не разрешавший ничего передавать друг другу. Так как с той и другой стороны допускалось по несколько человек и все хотели (вернее были вынуждены) говорить громко, то в комнате было шумно и пятиминутное свидание мало что могло дать. Я видел маму за двумя решетками, видел ее дорогое мне лицо, старался держаться мужественно, спрашивал про папу и братьев, про Людмилу Константиновну. Сказал, что меня отправляют на Колыму, уверял, что вернусь, обязательно, непременно вернусь. Это свидание было моим последним разговором с дорогой моей мамой. Мне передали от нее рюкзак с дорожным провиантом и осеннее пальто. Свидание быстро закончилось...

Какое-то время мы еще толпились в этом последнем нашем рязанском убежище, а потом нас стали выводить на улицу и строить в колонну человек по восемь в шеренге. Выстроилась длинная колонна. Долго она не могла приобрести требуемый порядок. Нас то сажали на землю, то поднимали. Кругом собиралась толпа провожающих родных. Вдоль колонны по обе ее стороны расставились вооруженные конвоиры с овчарками. Собаки лаяли, в толпе провожающих раздавался плач. Можно было подумать, что «по этапу» гонят каких-то воров, убийц, бандитов... Раздалась команда: «Внимание, шаг в сторону считается за побег, оружие применяется без предупреждения». И мы тронулись. Вокзал (товарный) был недалеко. Провожаящим не разрешено было идти рядом. Я видел, как мама в толпе других перебежала из одного двора в другой, стараясь не отстать от колонны. Нас пригнали на площадь товарного вокзала (в Рязанских Бутырках), где уже стоял длинный состав из красных товарных вагонов. Снова всю колонну посадили на корточки и стали выкликать фамилии, заполняя нами один вагон за другим. В каждый вагон сажали, кажется, по 24 человека, по восемь человек на каждые из двухъярусных нар. Толпа провожающих стояла в отдалении. Я последний раз видел маму. Она без конца низко кланялась мне. Такой я ее и запомнил на весь остаток моей жизни. Было ли мне стыдно за то, что я привнес такую драму в ее жизнь, в ее добрую душу? Насколько я помню, тогда такие высокие чувства мною не овладевали. Я весь был во власти освобождения от дамоклова меча, который висел над моей головой. Да, преобладало чувство освобождения. Правда, достигнутого не каким-либо благородным мужественным подвигом, а вполне пассивно, пожалуй даже слабохарактерно, с помощью чужой злой воли, которой я не противостоял, не оберегался от нее. Я знал, что маме предстоит горькое, даже страшное возвращение в Кадиевку, к моему отцу. Что она ему скажет? А мне предстояло лишь подчиняться разным командам. И думать только о том, чтобы понапрасну не погибнуть. Выход из тупика не сопровождался отказом от жизни, от желания жить. Нет! Во мне уже зародилась воля к другой жизни, в которой на первом месте были не лирические эмоции, а сопротивление злу. Я не считал себя контрреволюционером, формулировка КРД представлялась мне результатом или плодом тогдашнего деспотизма, с которым индивидуально нельзя было бороться (нельзя было бороться даже партийно!), можно было только терпеть и надеяться на Время. «Кто выигрывает время — выигрывает жизнь». Этот девиз Ве-

сов, под знаком которых я родился, сбывся потом весьма точно. Но я, конечно, тогда был далек от астрологии. Только гороскоп со Скорпионом я хорошо помнил.

Наш печальный «товарный» поезд двинулся на Москву. В Москве наш состав почему-то попал на окружную Красную Пресню, где, очевидно, должно было происходить его окончательное формирование. Родные моих новых товарищей по несчастью — Скорнякова и Виноградского, каким-то образом разузнали об этом и приехали к составу. Я плохо знал Москву и через вагонное окно не мог ориентироваться, где мы? Через родных Скорнякова я дал знать о местонахождении нашего эшелона, и вскоре сюда прибыли тетя Маруся и Александр Федорович Рубцов. Конечно, они не сразу разыскали мой вагон. Они снабдили меня дополнительными яствами. К счастью, и с тетей Марусей, и с Александром Федоровичем мне еще суждено было встретиться после всех злоключений.

Путь нашего поезда во Владивосток пролегал через Шую, Глазов и далее. Я ехал этим путем впервые. Дорога предстояла долгая. Поезд подолгу останавливался то для раздачи пищи по вагонам, то для отправки в баню (в крупном городе), то для проверки вагонов (не готовится ли кто к побегу). Вместе с нами, «политическими», в поезде было много «бытовиков» (от воров до убийц). Нас даже совместили по вагонам: одна половина вагона была «политическая», другая — «бытовая». По-видимому, охрана поезда видела в этом какую-то надежду — гарантию на порядок. И, надо сказать, что такая комбинация имела свои положительные черты. Дело в том, что «бытовики», среди которых немало всякого рванья, обычно держались нагло при явном численном превосходстве. Когда же им противостояла половина вагона «политических», то они держались более «лояльно». Многое зависело от старосты вагона. У нас им был какой-то тип, судившийся по одной из гражданских статей, то есть он был и не «политический», и не «бытовик», не «блатной». «Бытовики» с ним считались, а мы и подавно.

Я не могу себе представить, как организовывалось кормление «этапа». Очевидно, был специальный вагон-кухня, целый штат obsługi и т. п. Время от времени поезд где-то останавливался, разносились пайки хлеба и разливался в миски суп из бидонов. И так — вагон за вагоном. Дисциплина поддерживалась вполне удовлетворительная. По ночам поезд останавливался и охрана бегала вдоль состава (по земле и по крышам вагонов), стуча деревянными молотками по стенам с целью опреде-

лить, нет ли где попытки выпилить в досках дыру. Это были совершенно незнакомые и страшные в ночи звуки,

особенно в грозные ночи, когда лил проливной дождь. В такие ночи как раз и совершались дерзкие побег.

Однажды такой именно ночью где-то в горах Урала из нашего эшелона был совершен побег. Поезд долго стоял, слышна была беготня охранников, выстрелы, лай овчарок. Прошел слух, что беглецов все же поймали. Рвение охранников объяснялось тем, что за каждого беглеца охрану постигала кара.

Несмотря на то, что я впервые пересекал на поезде сибирские просторы, внешних впечатлений у меня было мало. Двух маленьких вагонных окошечек было недостаточно для 24 человек. Помню море огней Омска, отражаемых в черноте ночной реки, бескрайнюю водную гладь Байкала, длиннющий Амурский мост. Конечно, все это были очень поверхностные впечатления. В вагоне мы откуда-то разжились бумагой и писали письма. Мы сворачивали их треугольником (обычно так пишут солдаты), заклеивали клеем из хлеба и бросали около городов в окно. Письма, конечно, были без марок, но определенная часть их доходила. Вероятно, нужно было благодарить сердобольных сибирячек.

В вагоне были свои тягостные впечатления. Один из «политических» объявил голодовку и лежал как труп. Зубов страдал страшной дизентерией. Татарин Юсупов из «политических» (он был каким-то научным работником) ловко приспособился к лагерю «бытовиков», лежал на их нарах и все время пел тенором очень заунывные песни, в том числе и русские. Особенно выразительно у него получалось «Средь высоких хлебов затерялся...». Видимо, он сам это чувствовал и пел эту песню часто. Она действовала очень сильно, даже на блатных. Надо сказать, что под их грубостью и цинизмом подчас скрываются очень сентиментальные чувства. Отсюда их особая любовь к слушанию «романов».

Я и мои новые товарищи-москвичи подбадривали себя тем, что нет худа без добра, по крайней мере узнаем, что такое Сибирь, Дальний Восток и особенно — Колыма. Если о Сибири и Дальнем Востоке я что-то знал, то о Колыме не имел никакого представления. Колеса вагонов мерно стучали на стыках рельсов, по ночам по стенам вагонов страшно стучали деревянные кувалды охранников. Так мы доехали, наконец, до Владивостока. Был уже август.

Конечно, ни в какой Владивосток мы не попали. Въезд в город такого страшного состава исключался. Как в транзитных

- 84 -

сибирских городах, так и во Владивостоке наш состав загнали в какой-то отдаленный от города угол и оттуда, после выгрузки, после построения и проверки погнали куда-то на отроги сопки, где был разбит транзитный лагерный пункт. Если не ошибаюсь, он носил название «Вторая речка». Пункт этот состоял из множества строений барачного типа, разделенных с виду совершенно непонятной системой заграждений из колючей проволоки. Какие-то помещения были углублены в склоны сопки. Всюду перед бараками толпился народ, тысячи людей, вероятно, прибывших сюда раньше нас. Началась оживленная торговля, вернее, обмен различной одежды на хлеб и прочие продукты. Одежда была у вновь прибывших, а продукты у тех, кто здесь уже «акклиматизировался». Стояла чудесная погода, солнце палило с чистого голубого неба. Где-то внизу сапфировым цветом сиял залив моря, кажется, Золотой Рог. Город скрывался где-то за сопками. Я совсем забыл о том, что Владивосток расположен на параллели Севастополя, и сообразил об этом, когда вдруг, почувствовал себя плохо. Помутилось в глазах, и я чуть было не упал. Это был маленький солнечный удар.

Как это ни странно, но я не помню, сколько времени мы пробыли в этом пересыльном лагере. Не могу даже сказать, была ли это та самая печально знаменитая пересылка № 3/10, в которой в 1938 году оказался О. Э. Мандельштам. Теплая светлая ночь мало отличалась от дня. В барак мы не заходили, лежали и сидели около него. Граница между днем и ночью как-то не ощущалась, поэтому течение времени и не запомнилось. Не помню даже, как нас кормили. Помню только, что вскоре нас по очереди стали водить в медицинский пункт, где мы должны были раздеться донага и переходить от одного врача к другому. Вероятно, проверяли нашу пригодность к условиям работы на Колыме. При этом один из персонала брал у нас отпечатки пальцев черной краской. Совсем как в уголовной полиции! И сейчас, вероятно, отпечатки больших пальцев моих правой и левой рук хранятся в архиве КГБ. Эта процедура называлась «играть на рояле». Один из врачей, старый интеллигент, нашел у меня что-то такое в легких, что как будто исключало отправку на Колыму. Но другой, молодой врач, заключил: «Годен». «Сволочь шкурная», — подумал я. Так я был признан годным для Колымы.

По прошествии еще некоторого времени нас опять начали строить, затем разделять на группы, грузить на грузовики и частями увозить в бухту, посередине которой уже стояло морское судно под названием «Кулу». Это был не очень большой голланд-

- 85 -

ский транспорт, трюмы которого перегородили нарами. Нас по очереди стали перевозить на это мрачное, серого

цвета судно и заполнять нами трюмы. Всего «Кулу» принял 3000 человек, это я очень хорошо помню. Конечно, самые лучшие места на нарах захватили «бытовики». Я попал в трюм уже тогда, когда он был забит почти полностью. Ни на нижних, ни на верхних нарах я места себе не нашел и лег прямо в проходе, на полу, по которому ручейками сбегала грязная вода. Погрузка продолжалась долго, и в путь мы тронулись уже затемно. О том, что мы тронулись, было заметно по гулу гребного винта, и вскоре началось и мерное покачивание. Ночью разыгрался ветер, качка усилилась. По нужде надлежало взбираться по лестнице на открытую палубу, где был устроен из досок галюн. Сильно похолодало, ветер чуть ли не сбивал с ног, по палубе катались и громыхали не привязанные бочки. Вдали проплывали какие-то огоньки, не то Японии, не то Сахалина, а, может быть, японских сторожевых судов. Мы входили в залив Лаперуза. Когда-то в начале XIX в. в этих местах плавал, а затем попал в плен к японцам мой двоюродный прадед, вице-адмирал В. М. Головнин. А теперь его жалкий правнук оказался пленником своей же России...

При выходе в Охотское море шторм усилился, я побоялся оставаться на палубе и спустился в трюм. Как я провел эти пять суток на своем вонючем и холодном «ложе», не помню. На пятые сутки «Кулу» вошел в суровую бухту Нагаева. Она открывалась не сразу. Сначала на водном горизонте стала вырисовываться какая-то возвышенность, которая все росла и росла (я вспомнил повесть Короленко «Без языка», в которой подобным образом описано появление небоскребов Нью-Йорка), и вскоре справа по борту у нас остался утес, выходящий прямо из воды. Над ним летала туча чаек. Кажется, этот «остров» так и называется Птичьим. Затем и спереди, и справа, и слева начали вырастать горбы сопки довольно унылого сизого вида, и вскоре «Кулу» пришвартовался к бетонному причалу. Нас стали выгружать, строить в громадную колонну, и под охраной мы двинулись по пригородному шоссе вглубь гористого берега. Двигались довольно долго, пока бухта Нагаева не оказалась где-то внизу. На сопках, на их склонах начали попадаться барачные строения, оцепленные колючей проволокой, вскоре показались и толпы людей за ними. Они приветствовали нас, махали шапками, многие бросали в нашу сторону куски хлеба. Наконец, нас подвели к воротам большого палаточного лагеря, ввели в него и стали расформировывать по большим брезентовым баракам. Этих бара-

- 86 -

ков, крытых брезентом, было очень много, они стояли по клеточной системе, и было очень трудно запомнить, какой барак «свой».

Первое впечатление от этой местности было очень противоречивым. Свинцовое небо, унылые голые сопки сизого цвета, и тут же близ лагеря я увидел пасущихся прекрасных лошадей-тяжеловесов разных мастей. «Зачем в этом суровом краю такие красивые европейские кони?» — невольно подумалось мне. День-другой ушли на баню, на регистрацию. Невдалеке от лагеря был разбит поселок из деревянных строений, почерневших, вероятно, от сурового климата. Это и был Магадан 1937 года. Магадан, «прославившийся» как «столица» арестанткой Колымы. Черный, бревенчатый, какой-то случайно разбросанный по холмистой местности. Теперь о таком Магадане мало кто знает.

В ожидании «разнарядки» (кого куда направлять) мы расположились на полу какого-то большого помещения, напоминавшего вокзальный зал. Никакой мебели для сидения не было, кучи людей сидели и лежали у стен. Я держался вместе с Василием Виноградским. Временно отлучившись куда-то, я не нашел своего рюкзака с остатками еды, посудой и прочим. Виноградский был хороший малый, но немного «не от мира сего». Бранить его не было никакого смысла. Больше всего мне было жалко маму, которая с такой заботой наделила меня всем необходимым в дороге. Потеря личных вещей порывала связи с прошлым, с близкими людьми. Рождалось ощущение полной неприкаянности, ненужности никому, выброшенности за борт жизни. Вместе с этим рождалось ощущение безразличия к тому, что еще плохого может произойти со мной. Это были признаки душевного окаменения. Позднее оно стало проходить.

И вот нас снова стали сажать в большие грузовые машины, сажать плотно, человек по 25. Одна за другой машины стали отправляться вглубь Колымы по знаменитой колымской автотрассе, проложенной через сопки и долины нашими предшественниками. Сколько их здесь погибло?

Мы уже знали, что Колыма богата золотом, что это край золотодобычи, что многочисленные прииски наполнены заключенными («зеками», как здесь говорят). И нас, конечно, везли на один из приисков. Ходили слухи, что рабочие приисков (в том числе и «зеки») получают большие деньги, что некоторые накапливают их чуть ли не мешками. Потом мы узнали, что это касается только вольнонаемных, а не «зеков», и что так или почти так было с начала «открытия Колымы», когда начальником Даль-

- 87 -

строю НКВД (так называлась вся колымская система приисков) был некто Берзин. Рассказывали, что при нем колымчане-дальстроевцы жили как сыр в масле. Но Берзин был «разоблачен» как «враг народа», и все приняло

иные, суровые формы. Ужесточились порядки, уменьшились заработки. Особенно это коснулось, конечно, «зеков».

Колымская автотрасса — своего рода чудо. Более тысячи километров она тянется извивающейся змеей от Магадана на север, то прижимаясь к обрывам сопок, то перебрасываясь через ущелья, то выходя в долины. Местные водители были не чужды лихачества, и в ряде рискованных мест нам пришлось пережить довольно острые ощущения. Кругом, куда ни глянь, все были цепи сопок и гор, расцвеченных в разные краски. Август на Колыме — один из лучших месяцев. Обзорение этих невиданных красот невольно облегчало душу, вносило успокоение и даже надежду на то, что «все образуется».

В одном из дорожных транзитных поселков нас кормили в большой палатке пшеничным супом, «довольно бедно для лагерной Золотой Колымы», — подумалось мне. Это был первый признак ложности ходячих легенд. Внушали недоверие голые сопки. Где же тайга? Чем же здесь отапливаются? По мере продвижения на север, правда, стала попадаться чахлая растительность, состоящая из лиственниц. Наконец, мы прибыли в поселок Сусуман, отстоящий от Магадана километров на шестьсот. Поселок был небольшой, расположенный в долине реки Берелех. (Много лет спустя здесь будет найден в вечной мерзлоте почти целиком сохранившийся труп мамонтенка.) Мы выгрузились прямо на зеленый ковер поляны, и из поселка высыпали люди, которые, как и в бухте Нагаева, стали издали бросать нам куски хлеба, банки разных консервов и проч. Мне с Виноградским «досталась» банка баклажанной икры, которую мы тут же съели без хлеба, за что и поплатились расстройством желудка. С тех пор к баклажанной икре я отношусь с опасением.

Дав нам небольшую передышку от утомительной дороги, нас уже пешком повели вдоль широкой долины реки Берелех прямо по бездорожью, то есть по болотистым кочкам, так что наши «материковые» ботинки вскоре раскисли и в сущности были уже не нужны. Конвоиров осталось, кажется, двое-трое. Один шел впереди, другие замыкали растянувшуюся среди болотных кочек цепочку людей. Сзади всех с трудом ковылял хромой священник. Сопки справа и слева уже были лесистые. Небольшие лесные заросли встречались и в долине. Конечно, будь на нашем

- 88 -

месте «бытовики», конвоиров было бы в 3—4 раза больше. Были бы и овчарки. Но наша «партия» вся состояла из «политических», бессловесных, пассивных людей, нисколько не думавших о побеге. К ночи мы заночевали в небольшом лесу. Ночь была холодная, пришлось нарвать хвойных ветвей для лежбища, разжечь костры. Спать все же не удалось. Помимо холода мешали злые комары, тучи комаров, которые в будущем доставят нам немало мучений. Утром шествие продолжилось. Нам стало известно, что ведут нас на вновь организованный прииск Мальдяк Северного горнопромышленного управления Дальстроя (СГПУ). Утро было туманное. В тумане вырисовывались деревья, попадавшиеся на пути. Сквозь туман стало пробиваться августовское солнце. И вдруг где-то впереди, в тумане, раздался мелодичный звук колокола. Это было потрясающе! Вспомнилась «Ночь на Лысой горе» Мусоргского. Но только здесь это ассоциировалось с чем-то неведомым, словно мы приближались к какому-то зловещему пункту.

Пункт оказался станом Мальдяк. Не прииском Мальдяк, а базовым станом, от которого до прииска было еще километров десять. Стан расположился очень живописно по обоим берегам речки Мальдяк и состоял из добротных бревенчатых построек (очевидно, разного рода складов) и брезентовых палаток с нарами из лиственных жердей. Тут же была кухня и столовая. Первым делом нас повели в столовую. Из котлов чем-то вкусно пахло. Встретившие нас люди, улыбаясь, намекали, что есть нам дадут досыта, что Колыма, мол, богата, ешь, сколько хочешь. Но и здесь нас ожидало разочарование. Дали нам все тот же пшеничный суп (не очень густой), обильно приправленный консервированным томатом. С такой острой приправой не очень-то много съешь. Есть все же хотелось и, естественно, перегрузка этим томатом тоже запомнилась на всю жизнь.

Могучие лиственницы, среди которых расположился стан, молодой лиственничный же подлесок, журчание речки, августовское солнце, тишина — все это настраивало на мирный лад. Вскоре выяснилось, что образуется бригада по заготовке сена. В эту бригаду попали я и Виноградский. Скорняков попал на конную базу (Зубов вообще, кажется, с нами не приехал). Большая часть бригады состояла из «бытовиков». Во главе бригады встал некто Клеменчук, здоровенный парень довольно добродушного вида и характера, оказавшийся в прошлом убийцей. Нам выдали рабочее обмундирование, прочные ботинки, палатки, продукты, косы. Придали белую лошадку местной породы и гнедую кобылу

- 89 -

европейских кровей, и мы гуськом тронулись по той «дороге», по которой недавно прибыли на стан Мальдяк. Вел нас Клеменчук.

Выбрав хорошее для сенокоса место в долине реки Берелех, мы разбили палатку, устроили «полевую

кухню» и стали осваивать местность. Долина была достаточно широкой и вся покрыта хорошей для сенокоса травой, богатой разными цветами. Сопки, как я уже писал, в августе особенно живописны, так как местные кустарники, мхи и прочая растительность расцветают самыми разными красками, преимущественно теплых тонов. Слово «ковер» вполне здесь приложимо. В долине росли кущи лиственниц, так что проблемы с дровами для костров не было. Наш «сухой» паек состоял из муки, круп, растительного масла, хлеба, соленой рыбы (кеты и горбуши), сушеного лука. Овощей никаких не было (кроме сушеного лука и сушеной же картошки). Клеменчук распорядился так, что косарями были «бытовики», а мы, «политические», были приставлены к работе с граблями. Замечу, что слово «политические» с прибытием на Колыму уже мало употреблялось. Нас называли либо «фрайерами» («эй, фрайер, ты чего не работаешь!»), либо еще чуднее — «оленьями» (да еще рогатými!). «Эй, олень, вот я тебе рога посшибаю!» Это была очень употребительная фраза.

Не знаю, была ли нам задана какая-либо норма, но работа шла довольно оживленно. Может быть, сказывалась поэтическая природная обстановка (это скорее для меня и Виноградского), может быть, вспомнились родные сельскохозяйственные работы дома (меня это тоже очень и даже очень затрагивало), может быть, наконец, верилось в какое-то поощрение (к этому я был абсолютно равнодушен и, как потом оказалось, напрасно). Работа спорилась, особенно, у «бытовиков», и я даже удивлялся этому: ведь это были не рабочие люди, а воры, убийцы, не привыкшие трудиться. Но они трудились. Узнав, что я тоже умею косить, Клеменчук и мне дал косу, но тут выяснилось, что никто не хочет работать с лошадьми (возить копны), и я с охотой взял себе гнедую европейскую лошадь. К сожалению, забыл, как звали эту хорошую добрую кобылу. Как-то очень поэтично, вроде Лариса. Стога росли. Клеменчук, как истый «зек», умел «создавать туфту», то есть создавать ложное представление о величине стога сена путем подкладывания под его основание сухих ветвистых деревьев. Приезжавший для замера стогов десятник качал головой, спорил с Клеменчуком, но все же до чего-то они договаривались.

- 90 -

Мы хорошо обкосили всю ближайшую местность. В перерывы «бытовики» ходили в заросли ловить куропаток. На мое удивление, они почти не боялись людей.

Пришлось нам всем участвовать в тушении подземного лесного пожара. Горел торф. Затухнуть его оказалось очень трудным делом.

Неожиданно к нам заехал верхом на коне Юрий Скорняков. Оказывается, он попал на прииск «Кула» (похоже на пароход «Кулу»), где быстро устроился кем-то вроде экспедитора. Скорняков заночевал у нас, а утром обнаружил, что наши «бытовики» его обокрали. Начинать скандал было опасно, так как меня с Виноградским они не трогали. Видимо, считалось, что мы «свои».

Начинались уже заморозки. Все кругом было обкошено, и возник вопрос о нашей перебазировке. Была выбрана одна из долин между станом Мальдяк и прииском Мальдяк. Кратчайший путь туда пролегал через несколько сопков. Все наиболее тяжелое мы навьючили на наших лошадей и гуськом тронулись в путь. Я вел свою Ларису. Она была послушной на сравнительно ровных местах, но когда по прибытии на выбранное место пришлось спускаться с сопки в долину под 45°, то она заартачилась. Белая якутская лошадка (кажется, ее так и звали — Якут) кубарем съехала на хвосте вниз, мне же пришлось делать с Ларисой большой обход. Снова мы разбили палатку и начали косить. 29 сентября, в день Ангела Людмилы Константиновны, выпал первый снег. Так было и впредь. Он уже не таял, и мы косили поверх снега, пока дальнейшая работа была признана нецелесообразной. Тут меня снова постигла неприятность. Мой «напарник» Гусаков начисто меня обчистил, так что я остался без всяких продуктов. Оказывается, и среди блатарей были «дешевки», не считающиеся даже со «своими».

При возвращении на стан Мальдяк невольно думалось, что же будет дальше? А дальше нас всей бригадой во главе с тем же Клеменчуком отправили на прииск Мальдяк. При расчете выяснилось, что косари кое-что заработали, я же с Виноградским — почти ничего. Конечно, Клеменчук здесь здорово сыграл на руку своим товарищам. По правде сказать, мне было более обидно, чем Виноградскому. Я был привычен к сенокосным работам, был «допущен» к косе, кроме того, работал с лошадью, что всегда повышало процент выработки. Но о каких реальных процентах могла идти речь, когда все зависело от Клеменчука. Ни мне, ни Виноградскому и в голову не приходило выражать недовольство. Это было совершенно бесполезно, так как бригадир, конечно,

- 91 -

действовал заодно с десятником, несомненно, из бывших блатарей. Я был доволен тем, что провел месяц в обстановке, хоть немного напоминающей спасский сенокос. Даже сейчас, по прошествии чуть ли не 50-ти лет, я вспоминаю эти первые колымские месяцы (август—сентябрь) как нечто ниспосланное свыше для успокоения души... Вместе с тем, уже тогда я предчувствовал, что по этому сравнительно доброму началу никаким образом

нельзя предполагать, что и дальнейшая работа будет столь же знакомой, а в связи с этим и не страшной. Начинало тревожить и другое. Нас не ограничивали соленой рыбой. По крайней мере — на сенокосе. Мы ее не съедали и частично угощали нашего Якута, который ухитрялся даже воровать ее из-под лопастей брезентовой палатки. Но к рыбе, чтобы ослабить ее соленость и специфические запахи и вкус, нужна была картошка, так как овсяная крупа не обладала таким свойством. Картофель на Колыме тогда еще не освоили. Сушеного картофеля было очень мало, его выдавали чуть ли не граммами (так же, впрочем, как и сушеного лука). Приближалась угроза цинги. От цинги в качестве профилактического средства нам давали настойку хвойного стланика. То, что она была очень горькая, было ничего, даже как-то приятно, поскольку с этой горечью связывалась вера в действенность настойки. Но ее выдавали помалу, по миниатюрной железной «рюмке» перед едой. Разумеется, что никакой зелени вообще не было, и кругом, в диком виде ничего употребительного в пищу не произрастало. А надвигалась зима. С такими невеселыми предчувствиями я вступил на прииск Мальдяк. Тогда я еще не знал, что здесь мне уготавливалось новое испытание, чуть было не приведшее к гибели. Об этом испытании я хочу рассказать в следующей главе, которую именно так и хочу озаглавить: «Испытание». Это уже трудно включить в рассказ о Молодости. Молодость кончилась. Она кончилась не в рязанской тюрьме и не в пути на Колыму. В рязанской тюрьме я еще не освободился от того мировоззренческого «идеализма», благодаря которому верил, что социология искусства (я имею в виду материалистическую социологию) — это самая правильная историческая концепция искусствознания. Я усиленно прививал ее своим ученикам в Художественном техникуме. Тогда я еще очень поверхностно относился к эсеровской программе (вернее — я просто ее не знал), считал ее заведомо (без предварительного изучения) вредной и в своих спорах с канищевским эсером доводил его до бешенства. Трагикомично поэтому обвинение меня в том, что я был главарем молодежной эсеровско-меньшевистской организации в Ряза-

- 92 -

ни! Правда, у меня уже начался перелом к тому, что уже трудно назвать молодостью. Если бы я был молод и только молод, то моя близость с Людмилой Константиновной не уперлась бы в безвыходный тупик. Я полностью отдался бы чувству, и тогда... А тогда все привело бы к разводу и к нашей женитьбе. Но, как я уже написал, у меня очень сильно «работала голова». Голова не давала свободы чувству, а это, вероятно, уже не признак молодости.

По пути на Колыму я тоже был настроен довольно-таки по-мальчишески. Вместо того, чтобы переживать совершившуюся драму, драму не только мою личную, но и моих родителей, я успокаивал себя тем, что «по крайней мере, увижу Сибирь, Дальний Восток и загадочную Колыму». А может быть, это было не мальчишество, а недостаточная глубина души, недостаточная чуткость сердца? Так или иначе, я еще чувствовал себя молодым по инерции. Но когда закончилась сенокосная страда, когда впереди встал призрак золотого прииска, все стало рисоваться в ином свете. Я был уже достаточно наслышан о характере и условиях золотодобычи, особенно в суровых зимних условиях. Это не сенокос, даже не заготовка дров и т. п. Это испытание на Выживание, можно даже сказать, что это борьба не на живот, а на смерть. Охваченный этими думами и предчувствиями, я осознал, что беззаботная молодость моя кончилась. Я вставал перед испытанием своей жизнеспособности. Этому периоду посвящается вторая часть моих воспоминаний.

- 93 -

1. КОЕ-ЧТО ИЗ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ

К стыду своему, я очень плохо знаю свою родословную со стороны отца. Знаю, что отец мой родился в Харькове и там же окончил Университет. Деда, Августа Вагнера, я не знал совершенно. Отец говорил нам, что он был выходцем из Курляндии. Бабушку же, Шарлотту Васильевну, я хорошо помню не только по дореволюционным групповым фотографиям (она некоторое время гостила в Муратове), но и «в натуре». Она жила у нас в Спасске примерно в 1908—1920-х годах. Это была низенькая и совершенно седая старушка, говорившая по-русски с заметным акцентом.

Откуда она приехала к нам в Спасск и куда потом уехала — не ведаю. По своей несерьезности я во время об этом не спрашивал ни у папы, ни у мамы. Надо думать, что Шарлотта Васильевна появилась у нас в Спасске раньше 1910 года, так как была моей крестной матерью, а я родился в 1908 году. Но куда она потом уехала — ума не приложу. Это очень скверно с моей стороны.

У папы было два брата, Куно и Отто, и сестра Эльза. Судя по старым фотографиям, все они побывали в Исадах. Я вижу их на снимках, хотя, откровенно говоря, не могу сказать, кто Куно, а кто Отто. Один из них потом обосновался в Саратове, а другой — в Карлсруэ. Почему-то папа не поддерживал с ними тесной связи. Это особенно обидно в отношении саратовского дяди. Ведь в Саратове могут быть мои родственники. Но и судьба дяди Отто не дает покоя моей совести. Ведь вполне возможно, что дядя Отто — это тот архитектор Отто Вагнер, который считается предтечей конструктивизма. Еще в 1910-х годах он много работал для

архитектурного усовершенствования плана Вены. К сожалению, это все, что я могу сказать.

Тетя Эльза жила у нас не только в Спасске, но и в Рязани. Это было примерно в 1929 году. Она была высокого роста, крепкого сложения и довольно красивая. Куда она потом уехала — тоже не знаю. Скорее всего в Харьков. В 1930 году ее в Рязани уже не было. А вскоре нам стало известно, что она скончалась.

Я уже писал, что, по рассказам папы, его род происходил от двоюродного брата Рихарда Вагнера, придворного ювелира какого-то герцога. Папа показывал нам старые блеклые фотографии своего деда, имеющие на оборотной стороне немецкие надписи.

- 94 -

И ничем этим я в то время не интересовался, чему никак не могу найти объяснения. Неужели я был настолько глуп! Или время было такое, что всякие генеалогии летели вверх тормашками, и лучше было совсем их не знать? А мне хотелось бы косвенно быть связанным генеалогически с Рихардом Вагнером, хотя его мифологизированной музыкой я никогда не увлекался. Вероятно, при большой настойчивости в генеалогических разысканиях я мог бы чего-либо добиться, но такой настойчивости я до сих пор так и не проявил. Мне удалось только узнать, что Рихард Вагнер бывал в Риге, что в Риге в XIX веке жили какие-то Вагнеры. Но тем дело и закончилось. В дальнейшем я тоже этим почти не интересовался. Правда, издающаяся в Москве немецкая газета опубликовала статью с намеком о моем родстве с великим музыкантом, но это не имело ни малейшего резонанса.

Гораздо лучше известна моя родословная по линии матери. Но опять же благодаря не мне, а моему свойственнику (двоюродному племяннику, Юрию Даниловичу Кашкарову. Вот выдержки из его генеалогических разысканий.

Таким образом, моя бабушка Елизавета Николаевна Головкина (по мужу Кожина) была двоюродной племянницей вице-адмирала — мореплавателя Василия Михайловича Головнина, а я прихожусь ему двоюродным правнуком. Не плохо!

Итак, в Рязани Головкины появились во времена Ивана Грозного. Затем один из потомков оказался в Пронском уезде Рязанской губернии, где в имении Гулынки в 1776 году и родился мой двоюродный прадед Василий Михайлович Головин. Где родилась моя бабушка, Е. Н. Головнина, я не знаю, но, конечно, в Рязанской же губернии.

Из генеалогии Головкиных интересно вот еще что. Внучка Дмитрия Вуколовича Головнина (брата моего прадеда Н. В. Головнина), Наталья Сергеевна Головнина (1885—1957), вышла замуж за Вульфа. Следовательно, этот Вульф приходится мне как муж моей двоюродной тети! Интересно. Ныне в Москве живет Дмитрий Алексеевич Вульф, ведущий свою линию тоже от вице-адмирала М. В. Головнина⁷. По моим расчетам, Д. А. Вульф находится на одинаковой со мной генеалогической ступени от М. В. Головнина, то есть мы как бы троюродные братья, или кто-то в этом роде. Однако, есть у меня близкий родственник, прямой потомок

⁷ См. заметку в газете «Московский комсомолец» от 14 сентября 1980 г. под названием «Минувшее меня объемлет живо». Автор заметки С. Кашницкий.

- 95 -

В. М. Головнина. Это Петр Андреевич Головнин, живущий в Санкт-Петербурге и ведущий активную работу по сохранению памяти о своем предке. Он тесно связан с японскими деятелями в этой области и ныне готовится к 600-летию рода Головкиных.

Итак, я двоюродный правнук Рихарда Вагнера и двоюродный правнук Василия Михайловича Головкина. В иное время

- 96 -

это могло что-либо значить, но в наше время — ничего. К тому же ни я, ни кто-либо из сведущих в этом вопросе никогда не афишировали, проще говоря, — не спекулировали этим по примеру иных. Так я и остался Вагнером, и только.

Каковы мои «генеалогические корни» по линии дедушки, Владимира Николаевича Кожина? Согласно

изысканиям Юрия Кашкарова, здесь видим следующее.

Полумифическим родоначальником Кожиных выступает некто Юрий Бахты-Франц (Франценбах, Фаренсбах) из Швеции. Крестившись под именем Анания, он служил у Великого князя Московского Василия II Темного. Но фамилия Кожин пошла от его сына, Василия Ананьевича. Она происходит от слова «кожа». Кусок кожи от коня убитого врача Василия II привез князю Василий Ананьевич. От него и пошли Кожины (в Кашинском уезде). Сын Василия Ананьевича Кожина, Матвей, стал чудотворцем Макарием Калязинским. Отсюда идет длинная череда Кожиных, среди которых были видные духовные лица, а также воеводы, бояре, дворяне, моряки и военные. Петр Никитич Кожин (1728—1805) был директором Каменного приказа и, вероятно, общался с М. Ф. Казаковым, что для меня очень дорого. Я много занимался М. Ф. Казаковым.

Из других Кожиных отмечу Ивана Артамоновича Кожина (1781 —1833) — полковника и флигель-адъютанта. Это он купил у Ржевских в 1815 году село Исады, где и похоронен был при церкви. По всей вероятности, это его большой портрет маслом был в 20-е годы у нас в Спасске, но в годы начавшихся арестов мы его не сохранили. Очередное недомыслие с моей стороны. А ведь мне было уже 15 —16 лет, и в эти годы юноша уже проявляет свои задатки. Видимо, кроме тяги к рисованию особых задатков у меня не было. Маловато! Павел Сергеевич Кожин (1801 — 1851) был Рязанским губернатором с 1847 года, отличался честностью, но был не любим местным дворянством. Советские авторы не преминули видеть в нем злодея.

Иван Иванович Кожин (1810—1898) — штабс-капитан в отставке. Председатель Спасской управы. Передал Исады своему брату Николаю, моему прадедушке, от которого Исады и перешли к дедушке Владимиру Николаевичу. Но, как выясняется из родословной Кожиных, мой дедушка Владимир Николаевич Кожин родился (в 1844 г.) не в Исадах, а в Плуталове, которое потом перешло к его дочери Наталии Владимировне (Лихаревой). Из той же родословной выясняется, что моя бабушка Елизавета Николаевна Головкина родилась около 1847 года. Умерла

- 97 -

она в Рязани в 1925 году, похоронена в Исадах рядом с дедушкой. Эти похороны я хорошо помню.

К моему времени оставался в живых Иван Владимирович Кожин, мой дядя. Это был «последний Кожин» из рязанских (спасских, исадских) Кожиных. Родился он в 1883 году, умер в дороге по возвращении из концлагеря в 1943 году. Как сын помещика и «нэпман» (арендовал в 20-е годы свой же крахмальный завод в Исадах) был лишенцем, в Москве вынужден был жить на полуполюгальном положении. Хорошо знал русскую литературу, преклонялся перед Чеховым, любил Левитана, в чем просветил и меня. Добрый, умный, всеми любимый, он был олицетворением истинного русского интеллигента XIX века, почему и погиб...

У дочерей дяди Вани — Наталии и Татьяны нет сыновей, поэтому на дяде Ване род Кожиных кончился. Так же, как род Вагнеров на мне.

- 97 -

2. ИЗ РОДОСЛОВНОЙ МОЕЙ ЖЕНЫ АЛЕКСАНДРЫ НИКОЛАЕВНЫ ТЕРНОВСКОЙ

Моя жена гордилась своим шотландским прапрадедом, но кем был этот Вильям Оуэн — для меня так и осталось неизвест-

- 98 -

ным. Довольно заметной фигурой своего времени был дедушка жены — Александр Николаевич Левашов. Замешанный в студенческом движении 1860-х годов, он отсидел срок в Петропавловской крепости, был членом «Земли и воли», затем выслан в Рязанскую губернию и до конца жизни проработал в Земстве города Спасска, в котором я родился. А. Н. Левашов оставил после себя «Записки земца» и «Записки охотника», рисующие его как почитателя С. Т. Аксакова.

Скажу несколько слов еще об одной краткой генеалогической ветви, могущей представить интерес для историков русской культуры.

- 99 -

3. КТО ЖИЛ И ГОСТИЛ У ДЕДУШКИ В ИСАДАХ

Дедушка и бабушка мои (Кожины) отличались гостеприимством и хлебосольством. В Исадах у них летом жили почти все дети со своими семьями. Кроме того было немало других гостей из Спасска, Рязани и иных мест.

Я, конечно, не могу перечислить всех, так как из старшего поколения никого уже нет в живых и мне не с кем «проконсультироваться». Но, пользуясь семейными альбомами, я приблизительно могу назвать большинство лиц.

Кроме дедушки и бабушки в Исадах, по-моему, постоянно жил Иван Иванович Огороков, кажется, племянник их, бывший военный, очень высокий, уютный, молчаливый человек (после 1918 г. он жил у нас в Спасске, где и умер в 1920 г. Могила его, увы, забыта). Иван Иванович был добр, и, видимо, чем-то страдал, у него постоянно немного тряслась голова и дрожали пальцы, которыми он неловко скручивал папиросы. Помню, что дедушку это очень раздражало.

В Исадах летом жили: наша семья (папа, мама и мы, трое сыновей); семья Кашкаровых (родители и трое детей: Тарас, Инна, Юрий). Имение Кашкаровых было в соседнем Муратове, так что в Исадах они бывали наездами; семья Лихаревых (родители и четверо детей: Леля, Паша, Наташа, Володя). Их имение было в Плуталове, поэтому и они бывали в Исадах не постоянно и не все вместе; семья Кожиных (дядя Ваня с тетей Марусей и их дочь Наташа); семья Лызловых (тетя Нина и ее муж Борис Николаевич).

Кроме того в Исадах гостили: моя бабушка по отцу, Шарлотта Васильевна, братья отца, Отто и Куно, сестра Эльза. Пожалуй, с папиной стороны в Исадах бывало больше всего родных. В этом, несомненно, проявилась симпатия дедушки к людям покладистого характера, «немецкой природы». Ведь предками его были шведы. Да и сам он был примерный «аккуратист». Почему-то мой отец не поддерживал связи со своими братьями. О дяде Куно я совсем ничего не знаю, кроме того, что он жил в Саратове. Дядя Отто находился в Германии, и у меня есть некоторые основания предполагать, что известный архитектор Отто Вагнер, предшественник конструктивизма, это и есть мой дядя. Отец что-то говорил об этом, но что? Я не помню.

В Исадах гостили: барон Дельви́г (на фото он на лодке с веслом; кажется, он ухаживал за тетей Ниной), Александра Петровна Стерлигова из Старой Рязани (она была подругой моей

- 100 -

мамы, но особенно тети Нины). С А. П. Стерлиговой приезжали ее брат и его товарищ — Леня Марсов, молодой офицер. Оба они тоже ухаживали за тетей Ниной. Конечно, никаких подробностей в отношении гостей я не то, что не помню, я просто их не знал. Особенно жалею, что не расспросил в свое время тетю Нину о бароне Дельвиге. Кем он приходился знаменитому «пушкинскому» Дельвигу? Не знаю.

Из Спасска в Исады приезжал предводитель уездного дворянства Смольянинов. Приезжал спасений исправник. Конечно, я назвал не всех.

Помню, что в Исады приезжал молодой москвич, будущий поэт-имажинист Коля Дементьев с матерью. Но они жили не у дедушки, а в селе, в избушке Барановых, что у нижней околицы. Коля Дементьев верховодил среди нас, молокососов. Позднее в Спасске он много играл («импровизировал») на нашем «Rathke». Коля рассказывал нам о московских поэтах-имажинистах, из которых я запомнил Мариенгофа и Шершеневича. Стихи Коли мне не нравились, чайник у него хрюкал и т. п. Умер он молодым.

Если я не ошибаюсь, в Исады приезжал из Москвы Борис Николаевич Водо с сыном Димой. Дима был своего рода вундеркинд, и мы, дикари, не очень с ним сблизались. Он, заунывно читая взрослым стихи, говорил о Достоевском, в крокет и футбол не играл.

Конечно, такая исадская компания должна была искать развлечения. Но я не помню ни каких-либо журфиксов, ни танцевальных вечеров. Развлечение находилось в пешеходных и экипажных прогулках, в катании на лодках. Все это запечатлено на любительских фотографиях. Их у меня много, не все они хорошего качества, но кто фотографировал, я не знаю. Скорее всего Даниил Николаевич Кашкаров. Великая ему благодарность за это!

Я уже писал выше, что на тройках ездили в луга во время сенокоса, где устраивался, конечно, пикник. К дедушкиной белой тройке присоединялась вороная смольяниновская. Молодые офицеры гарцевали верхом. Особенно запомнился один выезд далеко в луга почти под Киструс. Это было что-то в духе Льва Толстого. Тут были и Анна Каренина (Стерлигова), и Вронский (Марсов), и Левин (дядя Ваня), и многие другие герои. Мне все это казалось настоящим счастьем. Очень любили переправляться через Оку на «Детянку», где было видимо-невидимо земляники. Мы, дети, любили играть в темном «Детинухе» или бегать прибрежной тропой в Муратове.

Совершенно своеобразны были Исады зимой, когда мы приезжали сюда из Спасска на каникулы. Уже не привлекали ни сад, ни замерзшая река. Зато романтичны были спуски к реке, то крутые, то пологие. К лыжам у нас пристрастия не было, да и лыж, кажется, не было. Любимой игрой было строить снежные крепости, брать или оборонять их, а также без конца скатывать из снега и лепить снеговиков. Родители не очень заботились о наших развлечениях. Я не помню ни коньков, ни катков. Были, конечно, снежные горки (искусственные), но мы предпочитали естественные. Увлечение коньками пришло в Спасске.

4. КТО ЖИЛ И ГОСТИЛ У НАС В СПАССКЕ

Когда бабушку в 1918 году выслали из Исад, то центром притяжения раскалывающейся большой семьи стал отцовский дом в Спасске. Некоторое время дедушка жил у нас (потом снял комнату у Браховича). У нас жил и Иван Иванович Огороков. Во всяком случае и дедушка, и Иван Иванович столовались у нас. Непрошеным гостем был Иван Васильевич Волченецкий — военачальник (что тогда означала эта должность — не могу сказать). Этот довольно приятный старичок очень благоволил маме и выражал ей особое (довольно «конкретное») внимание. Если пребывание Бориса Николаевича Водо с сыном Димой в Исадах представляется спорным, то в Спасске они гостили несомненно. Они снимали квартиру в доме Грачева «на горе», но столовались у нас. После курско-крымской катастрофы у нас появилась тетя Нина (потом она уехала в Москву). Часто наезжал дядя Ваня, который в то время (начало 20-х годов) арендовал бывший дедушкин крахмальный завод. Тетя Маруся, будучи дантистом, раз или два в неделю приезжала из Красильников в Спасск, где рядом с нашим домом устроила зубоучебный кабинет. Ночевала она, конечно, у нас. В Красильниках же (рядом с селом Троица-Пеленица на Оке) она оказалась потому, что дядя Ваня одно время был заведующим тамошним конным заводом.

Вместе с тетей Марусей у нас в Спасске бывали ее дочери, Наташа, моя ровесница, и маленькая Таня, родившаяся в 1918 году.

В Спасск летом приезжали (из Ташкента) Сережа Вонсовский с матерью. Сережа, тоже мой ровесник, проводил все время у нас. Любимой нашей игрой был крокет. Сейчас Сережа — ака-

демик, возглавлял до недавнего времени филиал Академии наук СССР в Свердловске. Мы изредка делимся воспоминаниями. Я сожалею, что его ухаживание за моей кузиной Наташей Кожинной кончилось ничем. Глядишь, мы были бы родственниками. Но тогда не было бы у Наташи дочери Ксении (Ксюты), которая сейчас разделяет со мной мое старческое одиночество. А это мне очень дорого...

Довольно частым гостем у нас был спасский протодьякон Иван Дмитриевич Некрасов, мощный мужчина с густым басом. Он очень нравился маме, и мы над этим подтрунивали. Его сын Сергей был довольно посредственным малым.

Гостили у нас (и жили в «амбарчике» во дворе) Александра Петровна Стерлигова с мужем Неоном Николаевичем Крюковым. Он был из военных, как потом оказалось — работал в НКВД и был виновником того, что бедного дядю Ваню еще до начала Отечественной войны арестовали (в Москве). Я говорю «бедного», так как дядя Ваня не перенес лагеря (где-то у Котласа) и на обратном пути умер. Наташа, ездившая за ним, похоронила его. Это было в 1942—1943 году.

В отличие от Исад, наш дом в Спасске жил музыкальной жизнью. Мама хорошо играла на рояле. Много импровизировал Коля Дементьев. Играла у нас Анастасия Владимировна Сергиевская (сестра известного московского музейного деятеля Юрия Владимировича Сергиевского), приезжавшая вместе с сыном Шушей и племянницей Надей из Москвы. Часто пели братья Новиковы из Кириц, а также спасские певцы: Гаврилов (тенор) и братья Перовы (басы). Я хорошо помню приезд в Спасск артистов Большого театра — Степановой и Миклашевской. Они репетировали у нас под аккомпанемент мамы. Много танцевали (в те годы в моду входили фокстрот и разные шимми). Иногда веселье продолжалось до утра. В основном все это происходило тогда, когда папа уезжал в командировку. Но, как я уже писал, он не препятствовал этим вечерам. Он тоже начал ухаживать за Александрой Петровной Стерлиговой, даже обрил бороду, и мы над ним подсмеивались.

Надя Сергиевская хорошо танцевала. Она очень нравилась мне, но ей, кажется, больше нравился веселый Орик. Впоследствии Надя стала кинематографистом, но я больше с ней так и не встретился, о чем очень жалею.

Приходили к маме в гости преподавательницы Екатерина Алексеевна Мочало (музыкант), Екатерина

Сергеевна Жилинская (литератор) и ее сестра Ольга Сергеевна Суворовская (исто-

- 103 -

рик). Нам было удивительно, что эта пожилая, худая женщина берет у мамы уроки на фортепьяно. Приходу Екатерины Сергеевны я всегда радовался, так как она была очень привлекательна и вела интересный разговор. Я уже говорил, что это она приобщила меня к литературному труду, поэтому я храню о ней светлую память.

Часто навещал наш дом скрипач Осипов, жена и дочь которого тоже брали уроки у мамы.

Если же назвать всех тех, кто участвовал в постановке оперетт «Ночь любви» и «В волнах страстей», то получится целый театр. Ведь все репетиции происходили в нашем доме.

Я чуть было не забыл упомянуть о чудесном человеке Михаиле Сергеевиче Климове, товарище дяди Вани. Он помогал дяде Ване по крахмальному заводу, а его дочь Лена дружила с Алей Терновской.

Аля Терновская почти не бывала у нас, она ведь на десять лет была моложе нашей ребячьей компании. Бывала ее мама, Александра Александровна Терновская, дружившая с моей мамой и с тетей Ниной. С Алей же я встречался в доме Михаила Павловича Казанского, где Александра Александровна устраивала детские спектакли. Это была очень яркая, интересная женщина. В 20-е годы она активно подвизалась на ниве народного образования, в частности и в Спасске. Поэтому дом Казанских тоже был заметным очагом культурной жизни Спасска начала 20-х годов.

Появлялись в нашем доме люди и иного круга, иного мировоззрения. Это были преимущественно губернские ревизоры, приезжавшие к отцу из Рязани. Тогда за столом возникали довольно острые споры, касавшиеся даже вопросов религии. Естественно, они ни к чему не могли привести, каждая спорящая сторона оставалась при своем.

Из разнообразия людей, бывавших у нас в Спасске, и из всего того, что происходило в нашем доме, я вынес влечение к искусству. Не к естественным или математическим наукам, а к рисованию, частично к музыке. Пожалуй, влечение к рисованию помогло мне в самые критические моменты жизни, о которых пойдет речь во второй главе этих воспоминаний. Это первое. А второе состоит в том, что, кем бы я не увлекался из девушек или молодых женщин в Спасске и позднее в Рязани, где-то в глубине души, как бы на самом «дне» жил образ маленькой Али Терновской. Это была не влюбленность (Але было в Спасске 7 лет), а вера в предначертание судьбы. Ведь до меня каким-то путем дошло,

- 104 -

что ее мама и моя негласно видели в нас будущих жениха и невесту. Загадочность этого производила свое действие. Правда, жизнь, как я уже писал, рано разбросала меня и Алю. Я переехал с семьей в Рязань, а Аля — в Москву. Но спасение впечатления и воспоминания оставались жить. Все это вспыхнуло с новой силой, когда произошли события, чуть было не выбросившие меня из жизни.

- 107 -

НА ПРИИСКЕ МАЛЬДЯК

В начале октября 1937 года мы в том же составе, что и на сенокосе, двинулись пешком по заснеженной долине к прииску Мальдяк. наших лошадей мы оставили на стане (для них-то мы и заготавливали сено). Кое-кто из ловких «бытовиков» сумел уже устроиться в обслуге стана, то есть на работе легкой и открывающей доступ к дополнительному питанию. Лапшин, например, устроился при пекарне, а это в лагерных условиях самое золотое место. Почему-то он был расположен ко мне и сказал: «будет на прииске туго — приходи». Однажды я воспользовался этим его предложением.

Возглавлял нашу бригаду все тот же Клеменчук. Двигаясь по долине, я заметил, что сопки слева и справа были еще покрыты тайгой. Вскоре я понял, что наше спасение не столько в харчах, сколько в дровах. Ведь это было единственное средство отопления.

Прииск Мальдяк был только недавно основан (что значит слово Мальдяк, я так и не узнал, да и не было никакого интереса узнавать), и тайга еще не успела пойти на дрова. На довольно большой площади были разбиты в шашечном порядке длинные брезентовые палатки с одним входом на продольной стороне. Изнутри стены палаток были «утеплены» большими листами фанеры, но между фанерой и брезентом никакого утепляющего слоя, например, торфа, не было. Тепло поддерживалось двумя железными печами из бочек от

горючего (справа и слева от входа), огонь в которых нужно было поддерживать непрерывно. Отсюда - острая проблема заготовки дров. Каждый человек, идя с работы, обязан был принести древесины, чем больше, тем лучше. Наблюдение за топкой печей возлагалось на дневальных. В дневальные, конечно, тут же устроились «бытовики». Они же должны были получать и раздавать пайки хлеба. Низовая лагерная адми-

- 108 -

нистрация — УРБ (Учетно-распределительное бюро), КВЧ (Культурно-воспитательная часть), нарядчики, нормировщики, ротные и т. п. — жили в таких же, но более утепленных палатках. Начальник прииска, начальник лагерного пункта, маркшейдерское и геологическое бюро, баня находились в бревенчатых зданиях. Так же и ВОХР (военноизбирательная охрана). Проволока вокруг лагерного пункта была, но не она «охраняла» нас, а охранники на деревянных вышках (их звали «грачами»).

Кухня находилась близ речки Мальдяк. Она не была защищена чем-либо особенным, пища варилась в больших котлах почти под открытым небом. Получив свои порции, мы торопились в свои палатки, где и съедали полученное. Для второго нам раздали железные миски, а для супа пришлось приспособить консервные банки («котелки»). Пища раздавалась по карточкам разных категорий с отрывом талонов, так что «закусить», то есть получить вторую порцию, возможности не было. От этих обедов осталось страшное воспоминание: стоишь дрожащий у окна кухни, бежишь в холодную палатку, наскоро съедаешь остывающую еду, а над тобой, как дамочков меч, сознание: сейчас будет гудок и надо снова идти на мороз, кайлить проклятую мерзлоту...

В виду наступившей зимы нам выдали ватные брюки, валенки, бушлаты и матерчатые шапки-ушанки. И, конечно, варежки (из простеганной ваты). Пожалуй, от этих варежек все и зависело, но они приходили в негодность через несколько дней.

Утром работа начиналась, когда черное небо еще было усеяно яркими звездами. Нас отрядами выводили к вахте, пересчитывали и отправляли на свои рабочие места. Нашей бригаде сначала было поручено прокопать вокруг лагерного пункта (лагпункта или просто ЛП) обводную канаву, которая могла бы преградить доступ в ЛП весенних вод. Вооруженные кайлами (кирками) и железными лопатами, мы были расставлены по трассе канавы, и я первый раз в жизни вонзил кайло в мерзлую колымскую землю.

Впрочем, надо оговориться: в октябре земля еще не успела достигнуть крепости бетона и к тому же трасса канавы большей своей частью проходила по тайге, где сверху изрядно торфа. Земля отваливалась большими кусками, я, приученный отцом к разным сельскохозяйственным работам, довольно успешно продвигался вперед и даже заслужил похвалу бригадира (он помогал отстающим и, как это было на сенокосе, пытался «навести туфту»), то есть ложными замерами увеличить выработку). Не знаю, что руководило мной в моем старании: поддержание «чести»

- 109 -

бригады? Желание хоть что-нибудь получить? Вряд ли. Просто я еще не научился «фильтровать» (хитрить в работе, создавать видимость).

Василий Виноградский работал хуже, он совсем не был приучен к инструменту, хотя физически (судя по его молодецкой выправке) был сильнее меня. Удивительно, что даже на этой работе я еще мог замечать окружающую таежную красоту. Как и на сенокосе, это в какой-то степени облегчало душу, отвлекало от сознания нашей заброшенности на край света, откуда, может быть, не было суждено вернуться... Но впереди было другое.

После прокладки обводной канавы мы получили задание расставить по всему ЛП столбы для электроосвещения. Для большого столба нужно было выкопать яму более метра глубиной. И вот тут-то я и столкнулся со свойством «бетона». Дальше определенной глубины (менее метра) бетонная земля не хотела поддаваться. Массивным ломом я отколупывал маленькие кусочки, углубляясь буквально на доли сантиметра. Подошедший Клеменчук пытался мне помочь, но и он мало преуспел в этом. Столбы кое-как все же были расставлены. Но самое страшное было впереди.

Сначала нашу бригаду намеревались оставить на подсобных лагерных работах, но пришло распоряжение отправить нас «на общие». Самое тяжелое на Колыме — это «общие работы», то есть вскрыша торфов (зимой) и добыча золотоносных песков летом. Вскрыша торфов (колымское понятие слова «торф», «торфа» не имеет ничего общего с обычным понятием перегнившей растительно-древесной массы, идущей на топливо. «Торфа» — это слой аллювиальных отложений, состоящих преимущественно из мелкой гальки) состояла в снятии верхних слоев отложений, мощность которых могла достигать до 8—10 метров! Чтобы снять хотя бы на небольшой площади эти торфа, приобретшие зимой крепость бетона, надо было прибегать к бурению бурок и закладке аммонала для взрывов. Но и взорванные торфа нужно было дробить кайлом, грузить в короба и при

помощи электротяги вывозить их (прицепив к тросу) в сторону («на отвал»). Норма была высокая — 4—6 м³ на брата. До этого наша бригада работала на прокладке руслоотводной канавы. Широкая (метров пять) и глубокая (метра полтора-два), она по трудоемкости ничем не отличалась от вскрыши торфов. Клеменчук поставил меня в передовую тройку, состоящую, кроме меня, из грека, которого почему-то звали Кацо, и из здорового парня Ершова. Встав рядом, мы стали отважно вгрызаться в бетон торфов, и вот тут-то я ощутил, что пороку у меня не хватает. Я стал отставать, товари-

- 110 -

щи были недовольны, начались насмешки, и, в конце концов, со мной что-то произошло, все тело обмякло, и я понял, что заболела. Заявив об этом, я оставил работу, пошел в лагерь, в лагерь медпункт, где мне дали на два-три дня освобождение. Это было первое мое испытание на Колыме, которого я, увы, не выдержал.

Не помню, как это произошло, но о том, что я художник, и, следовательно, владею чертежным умением, стало известно одному из моих коллег «по этапу», который уже работал в геологическом бюро. Он рекомендовал меня геологам. Начальник геологического бюро, интеллигентный добрый человек (вольнонаемный, конечно) участливо встретил меня и поручил копировать на кальку планы прииска. Я почему-то должен был работать ночью. Вместе с коллегой мы уютно устраивались в бревенчатом доме, топили печь, и работа спорилась. Конечно, после тяжелого физического напряжения с кайлом, руки мои не сразу приобрели твердость, но, видимо, качество моих калек удовлетворяло геологов. У нас завязались хорошие отношения. Они даже подкармливали меня. Для меня это были боги. И надо же случиться такому, что я, неблагодарный, не запомнил их фамилии! Это — тяжкий мой грех... Есть, правда, слабая надежда на то, что, прочитав мои воспоминания, кто-нибудь из геологов-богов Мальдяка подаст весть о себе. Это сняло бы тяжкий грех с моей души.

Днем я уходил в свою палатку спать. И тут надо мной разразилась гроза. Ротный, увидев, что я не на «общих работах», пришел в злобный раж, обозвал меня последними словами, и на следующее утро я очутился снова на «общих работах», причем в штрафной бригаде. Бригадир Морозов, какой-то блатарь, конечно, принял меня как лодыря или как отказника, но потом сменил гнев на милость и стал относиться снисходительней.

Нашей бригаде надлежало пробуривать (ломом) вертикальные бурки в бетонных торфах для закладки аммонала. Бурки хотя и были гораздо меньше, чем ямы для столбов, но достигнуть требуемой глубины было также трудно. Со мной в этой штрафной бригаде оказался один уже пожилой человек (дядя Миша), которому помогал молодой парень, очень поднаторевший в проходке этих бурок. Славой наша бригада, конечно, не отличалась. Помню, как на Мальдяк приезжал новый начальник Дальстроя Павлов, как, размахивая наганом, крича, грозя, ругаясь, он обходил забои, что-то кричал и нам, но кто-то (кажется, Морозов) спокойно послал его по-матерному. «Кормить надо!» - добавил Морозов. Конечно, движения мизинца Павлова было

- 111 -

достаточно, чтобы стереть смельчака с лица земли, но, видимо, и до таких заматерелых деспотов доходит правда-матка. Павлов ретировался.

Как штрафники, мы получали по 400 г хлеба вместо 700, 800 и 900.

Обеды и ужины были слабые. На первое — овсяный суп с соленой кетой, на второе — две-три ложки какой-либо каши. Чай был похож на коричневатую бурду. Хлеб хранился в холодном складе, и нам приходилось распиливать буханки двуручной пилой.

Наступили тяжелые морозы, до 40 градусов мы еще работали. Сейчас я не смогу даже объяснить, как я выдерживал 40 градусов при 14—16-часовом рабочем дне на открытом воздухе, т. е. не в штольне, а в забое. При 40 градусах выдыхаемый воздух образует струю пара, шуршащую, как при чистке котлов локомотива. Какое-то время эта струя не исчезает, а как бы стоит в воздухе. Страшно. Весь организм напряжен до предела в усилиях не поддаться ослабе. Стоит только воле ослабнуть, как страшный холод охватывает все тело, возникает желание бросить все и... Трудно сказать, что следует за этим «и». Спрятаться в тихом месте? Негде. Кроме того — кругом вооруженный конвой. Конвоиры в теплых тулупах, им мороз не страшен. Таким образом, спасение только в движении, в отчаянном сопротивлении морозу. От выдержки и силы воли зависит: кончится эта борьба победой или поражением. Поражение равносильно смерти. При 41 ° (или 42 °) день «активировался». В этом пункте некоторые мемуаристы, видимо, в литературно-эмоциональном раже, сильно преувеличивают, доводя первую («рабочую») цифру чуть ли не до 50 ° и даже 60 °. Это неверно.

Впервые мне пришлось видеть, как из ЛП под конвоем привели в забой одетого в одно исподнее какого-то отказника (отказавшегося выйти на «общие работы») и держали его на морозе. Потом я видел, как куда-то вели коня, у которого отмерз детородный член (он был подвязан мешковиной). Это было ужасное зрелище.

Страшных картин, конечно, было очень много, известны попытки их изобразить (см. «Огонек» № 4 за 1990 г.). Но в книжной иллюстрации передать драматизм очень трудно, гротеск может перейти в шарж.

Прииск Мальдяк, видимо, не справлялся с планом. Рабочий день был увеличен до 16 часов. Это касалось и ночной смены. Помню, как уже утром мы все еще содержались под конвоем в забое, хотя никто уже не работал, все сидели где кто мог. Тут я

- 112 -

впервые наблюдал северное сияние. Со всех краев горизонта снизу вверх устремлялись световые всполохи, а в зените небесного купола образовывалась какая-то круговерть. Я еще был способен залюбоваться этим невиданным зрелищем. Но чувства медленно тупели. Начиналась борьба за жизнь.

Давал знать о себе голод. По тяжелым земляным работам питания явно не хватало. Я тогда удивлялся: неужели Дальстрою было выгодно экономить на дешевой еде, когда мы добывали золото? Ведь это золото доставалось задаром! При достаточном питании его добычу можно было резко увеличить. Действовал, однако, примитивный «принцип»: «зэков» надо кормить плохо, чтобы они чувствовали наказание... Я уже начал терять чувство мужского достоинства и не гнушался подбирать кухонные отбросы на лагерной помойке, благо в замершем виде они не грозили никакой заразой. Но от этого только больше распухали ноги...

Началась смертность. На сопке стало вырастать кладбище с очень мелкими могилами, так что весной можно было увидеть часть трупа, торчащего из могилы.

Не выдерживали и лошади, мертвых лошадей (предварительно ободрав с них шкуры) тоже увозили на какую-то сопку. И вот однажды кое-кто из нашей бригады (и я в том числе) решили наворовать себе этой дохлой конины, что мы и сделали. При возвращении к вечеру в ЛП мы побросали мясо в ближайший шурф, чтобы при более удобных обстоятельствах пронести его через вахту в лагерь. Пронесли. Начали варить, с аппетитом поели, а вскоре нас вызвали на вахту, где начальство стало нас обвинять чуть ли не в преступлении, достойном добавочного срока. И меня, как интеллигента, всячески позорили и унижали. Но я уже как-то отупел и ни на что не реагировал. Думалось только об одном: неужели я не выдержу это испытание? Это поддерживало силы, которых, как я позднее читал, не хватило в 1938 году О. Э. Мандельштаму, что и привело его к трагическому концу... Правда, он был на десять лет старше меня и к тому же тяжело болен (как я узнал много позже, не вынес лагеря и Г. Г. Шпет. Место его смерти тоже осталось неизвестным).

Настроение несколько поднялось, когда бригаду Морозова перевели с земляных работ на обслуживание бойлеров. Бойлеры — это громадные «самовары», вырабатывавшие пар для буровых шлангов. Посредством длинных наконечников на шлангах и пробуривались глубокие бурки для взрывчатки.

Чтобы выработать пар, бойлеру нужно было много дров и воды, а с тем и другим на Мальдяке обстояло туго. Если тайга

- 113 -

еще и сохранилась кое-где на вершинах сопок, то спилить там сухое дерево, и доставить его к бойлерам было нелегко. А речка Мальдяк и вовсе зимой замерзала до дна, так что мы завозили к бойлерам лед. На заготовке льда мне сначала везло. Наш бойлер стоял около небольшого замершего водоема, дававшего много льда. Бойлером управляли два пожилых человека, которые, видя, что я и мой напарник Гугула (Легашвили?) очень стараемся и создаем необходимый запас льда, позволяли нам в перерывы отогреваться около бойлерного котла. У меня больше всего страдал от мороза нос. Я придумал меховой наносник, но он мало помогал. С той жестокой зимы 1938 года у меня хронически мерзнет нос. Грузин же Гугула невероятно страдал. Все лицо его и кисти рук были в кровоточащих язвах. Это был замечательный, честный человек, только по его скорбным глазам и горьким вздохам я чувствовал, как он тяжело переносит мороз. Он был сильнее меня, и нам работалось дружно. Мы выходили в ночную смену. Можно было видеть, как вдоль прииска полыхали дымы из труб бойлеров и все время с разных сторон доносились истошные крики: «Воды-ы-ы! Леду-у-у!» Это значило, что бойлерам не хватало воды. Скоро и мы с Гугулой были поставлены в отчаянное положение: в ближайшей округе весь речной лед мы вырубали. Заменять лед снегом было нерационально, снежный покров кругом был слаб и давно вытопан. Кое-как мы начерпывали маленькими емкостями воду из какого-то водоносного шурфа, но и его запасы иссякли. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы нас не перевели на заготовку дров для тех же бойлеров.

Дрова, то есть сухие лиственничные стволы, нужно было изыскивать на вершинах соседних сопок, так как внизу все давно было вырублено. Как ни положи сопки, но подниматься на них прямой тропой (то есть не зигзагом или серпантинном) при ослабленных голодом силах было трудно. Легко было скатываться вниз, таща за собой древесину, выполнявшую роль тормоза. В зимней тайге было очень красиво. Мы разжигали костер и

поочередно грелись. При взгляде на полыхающий огонь возникало какое-то безумное оцепенение, вероятно, так смотрят на огонь звери. Это сравнение со зверем возникло у меня тогда, в мальдыкской тайге, на заготовке дров. Удивительно, как я сохранил это ощущение в течение чуть ли не 50-ти лет! Да, мы были тогда если не звери, то полузвери...

Около полудня нам приносили из лагеря «подкрепление» в виде жареных в масле пончиков. За пончик (полагалось только по одному пончику!) нужно было платить 15 копеек. У меня не

- 114 -

было ни гроша, так что я только облизывался (вот когда сказалось мое равнодушие к заработку на сенокосе).

До меня дошли сведения, что бойлеристы, которых я с Гугу-лой обслуживал льдом, требовали нашего возвращения: «Был Вагнер — был лед!» Но, конечно, дело было не во мне, а в общей трудной ситуации. Для меня осталось непонятным, почему не использовали лошадей, на них можно было возить лед издалека большими объемами. Может быть, лошадей жалели больше, чем нас? Скорее всего, именно так.

Кстати, о лошадях. Бодрый Юра Скорняков устроился на конной базе. Он там и жил. Как-то он дал мне овса, и я попробовал его сварить, но у меня ничего не получилось. Такой неочищенный овес был для еды непригоден. Мучимый голодом, я вспомнил о Лапшине, который остался при пекарне на стане. И я пошел на стан. Это было похоже на то, что описал артист Г. Жженов в своем рассказе «Саночки» в «Огоньке».

Стоял 20-градусный мороз, но 20 км (туда и обратно) я прошел благополучно. Был выходной день, и никто меня не задерживал (по первоначальному еще не было пропускных строгостей на вахте). Лапшин действительно снабдил меня кусками хлеба, какими-то недоеденными кусками, но часть их была пропитана растительным маслом, и они казались лучше всяких лакомств. На обратном пути я шел против ветра, сильно промерз, но не заболел. Своей нищенской добычей я поделился с Василием Виноградским. Вскоре в его «адрес» пришла продуктовая посылка из Москвы и он, в свою очередь, щедро поделился со мной.

Однажды на прииске Мальдык появился Билевич. Я встретился с ним очень холодно и дал понять, что после проявленного им на рязанском «следствии» малодушия не желаю поддерживать с ним знакомства. Больше я никогда его не видел.

Наступил момент, и наш злосчастный Мальдык радиофицировали. На одном из «наших» столбов прикрепили круглый черный репродуктор. И первое, что я услышал, — был романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». Пел Козловский. Я не был поклонником его нежного голоса, но после рязанской тюрьмы и всего, что за ней последовало, пение потрясло меня, и я впервые не удержался от слез... Заплакал я не от своей участи, нет, а от поразившего меня контраста, между тайгой, лагерем и красотой музыки. Неужели Красота и Смерть могут быть совместимы? Однако, я не могу сказать про этот случай, что не выдержал испытания на мужественность. Слезы свидетельствовали о наличии эмоций. Эмоции сохранились, несмотря на все происшедшее

- 115 -

со мной. А это не так уж мало. В эмоциях был залог сохранения моральной устойчивости.

Первая колымская зима заканчивалась. Я перенес ее только благодаря тому, что был еще молод. Сейчас, вспоминая эту первую зиму, удивляюсь, как я не заболел воспалением легких. Ведь за ночь мои волосы примерзали к снегу на подушке. Разве слой фанеры и брезент могли сохранить тепло в палатке!

Начала мучить вшивость. Маленькая баня не могла поддерживать необходимую санитариию. Что делать? Во время заготовки дров мы кипятили свое белье в котелках на кострах, но это была паллиативная мера, хотя бы потому, что не было сменной пары белья. Это одно из отвратительных воспоминаний. За осень я оброс бородой, и меня стали называть «пахан». Отношение ко мне стало уважительней. А мне было только 29 лет!

На всех работах существовали нормы выработки. Я никогда не интересовался, вырабатываю ли норму или нет. Было убеждение, что нормы эти взяты с потолка, рассчитаны на совсем другие условия и мне их все равно никогда не выполнить.

В заключение этой главы хочу добавить, что мои попытки предложить администрации ЛИ свои услуги в качестве художника были отклонены. Художник на прииске очень нужен. Нужно писать лозунги, оформлять стенгазеты, рисовать карикатуры на отказников и пр. (не говоря уже о работе в клубе). Я познакомился с работниками КВЧ (культурно-воспитательной части), они были не против, но начальство ЛП не разрешило взять меня. Надо мной, как дамклов меч, висела литературная КРД.

ВТОРОЙ АРЕСТ

Приближалось 1 мая 1938 года. Накануне меня разбудил ночью нарядчик (или ротный) и велел одеться. Не соображая, что бы это могло значить, я оделся. Меня вывели к вахте и присоединили к группе людей, среди которых были два-три человека знакомых по палатке. Никто ничего не понимал. Затем нас вывели за проволочную ограду и повели куда-то в распадок между сопками. Впереди показался деревянный барак. Нас пустили в него и заперли снаружи. Так я оказался в РУРе (рота усиленного режима). Фактически это был арест, второй арест, теперь уже в лагере! Опять вспомнилось о моем злосчастном гороскопе. Скорпион словно продолжал висеть надо мной, караулить меня, на-

- 116 -

поминал о своей реальности. И мне было уже впору поверить в его значение...

Днем нас выводили под конвоем на общие работы. Грело майское солнце, но произошедшее настолько обескуражило многих, что мы работали кое-как. В конце концов, кто-то из наиболее энергичных людей крикнул конвою: «Почему с нами так поступили! Не будем работать!» И мы побросали лопаты. А конвою, в конце концов, было все равно, работаем мы или нет. Да и ответить нам они ничего не могли. Ведь все это были пассивные исполнители чужой воли. В РУРе нас продержали неделю, без всяких объяснений! Кормили баландой, на работе держали под конвоем, на ночь запирали на замок. Среди нас были и «бытовики», как оказалось, «отказники». Нары в РУРе были в два яруса. Я пристроился на верхних, рядом с каким-то «бытовиком». Однажды ночью он мне прошептал: «Будь со мной за женщину». Это был гомосексуалист. Я с отвращением отвернулся от него. Этого еще не хватало!

Половая проблема на прииске, где не было женщин, была, конечно, трудной, но тяжелая работа и голод поддерживали «равновесие». Но многие из «бытовиков» были на легких работах, питались (благодаря своей пронырливости) лучше, так что в этом отношении им было труднее, нежели нам. Не знаю, как повел бы себя в дальнейшем упомянутый гомосексуалист, но вскоре нас стали сажать в два грузовика и повезли. Куда? Опять никто ничего не знал. Мы ехали по долине до стана Мальдяк, затем выехали в долину реки Берелех, доехали до уже знакомого нам поселка Сусуман и помчались по автотрассе куда-то на юг, то есть по той дороге, по которой ехали в 1937 году из Магадана, но в обратном направлении. В одном месте, на расстоянии примерно 200 км от Мальдяка, оказалось ответвление трассы влево, и, перевалив две-три гряды голых сопки, мы попали в поселок Хатыннах. Тогда это был, кажется, центр СГПУ (северного горнопромышленного управления). Поселок расположился у основания сопки и состоял из двух рядов добротных деревянных домов. Несколько зданий были из саманного кирпича.

Нас подвезли к довольно длинному бревенчатому зданию, оказавшемуся местным Управлением НКВД. Выгрузили и повели по вырытой в толстом снегу траншее куда-то выше по склону сопки. Вскоре впереди показалось не очень большое деревянное строение, огороженное колючей проволокой и напоминающее мальдякский РУР. У ограды виднелась целая гора одежды, валенок, чемоданов. Эту зловещую свалку около барака и сам барак

- 117 -

ярко освещал прожектор с вышки. Похоже было, что эта куча есть ничто иное, как одежда убитых людей. Сердце невольно сжималось. (О газовых камерах мы тогда ничего еще не знали.) Нам тоже приказали побросать в эту гору все, кроме нижнего белья и после этого втокнули в одно из двух помещений. Это была тюрьма СГПУ.

В помещении размером, приблизительно, 10x10 м две стены были заняты нарами. На них довольно свободно возлежали в нижнем белье «бытовики». Вся остальная масса людей (а было нас не менее 100 человек) вынуждена была находиться стоя, причем было так тесно, что мы наступали друг другу на ноги. «Параша» находилась около дверей. Тут же, поближе к двери, сидели кое-кто из больных, которые из-за сердца едва-едва переносили эту тесноту. Тут я понял, почему нас раздели до исподнего белья. В одежде мы не вынесли бы ни этой тесноты, ни духоты. Только во время раздачи баланды (жидкого супа вкуса помоев) наша «стоячая группа» рассаживалась на пол рядом спина к спине. После еды мы вынуждены были снова стоять. Жажду мы утоляли комочками снега, которые скатывали во время выводов на «оправку». На Кольме май — это еще зима с большой толщиной снега. Мы же выходили на «оправку» в одном белье и босыми! Какая сила поддерживала сопротивляемость простуде? Вероятно, такая сила была, и лучше было бы назвать ее инстинктивной

сопротивляемостью злу, убежденностью, что Правда победит Зло.

Вскоре меня (одного из первых) вызвали, дали одеть (из кучи) валенки, бушлат и повели к Управлению НКВД. Подвели к одному из кабинетов, и я очутился лицом к лицу с молодым следователем, чем-то напоминающим рязанского Назарова. «Ну, рассказывайте о своих преступлениях», — таково было начало, тоже очень похожее на рязанский допрос».

Я: Не знаю, о каких преступлениях идет речь.

Он: Не притворяйся! Ты же — саботажник. Ты умышленно не выполнял норму на прииске.

Я: Может быть, я и не выполнял, но я не саботажник.

Не помню в деталях всего допроса, но он сводился примерно к тому же, то есть к обвинению меня в умышленном невыполнении плана, что приравнялось к контрреволюции. Хотелось сказать следователю: «А ты, сволочь, выполнял бы план с пустого супа и жидкой размазни. Посмотрел бы я на тебя, говно собачье!» Но разве можно было пикнуть... Револьвер следователя лежал на столе.

- 118 -

После первого допроса и составления протокола, подписать который я отказался, меня отвели в небольшую комнату в конце коридора, где стояло несколько человек, подобных мне. Их караулил (не разрешал сесть на пол) красноармеец с винтовкой со штыком. Подчеркну, что красноармеец стоял не снаружи у двери, а внутри этой камеры. Я прислонился к стене.

После этого меня еще два раза вызывал на допрос этот негодяй-следователь, требовал признания в том, что в числе своих единомышленников я ставил себе задачей свержение Советской власти на Колыме! Опять появилось на свет обвинение меня в том, что я эсер. Снова я отвечал, что эсеры были тогда, когда мне было не более 10 лет.

«Ты же, сволочь, стоишь по команде смирно уже час или два. У тебя офицерская выдержка», — кричал он.

Я действительно стоял в положении «смирно» по требованию следователя.

Не помню, тогда, или уже на другом допросе следователь достал со шкафа резиновую палку в виде не очень толстой колбасы и стал ею наносить мне удары по шее и по темени головы, так что от ударов образовались шишки (особенно на темени). Я опасался, что он нанесет повреждение черепу, но череп выдержал. «Я тебя заставлю говорить и признаться, мерзавец!» — говорил он. Но как он мог заставить, если признаваться было не в чем! Может быть, кое-кто другой не выдержал бы этой позорной сцены, плюнул бы следователю в морду или даже ответил ударом на удар. Возможно, это выглядело бы очень мужественно, но в тогдашних условиях это был бы конец. Считаю, что это испытание я вынес. Я не кричал. Из других кабинетов доносились крики, я даже узнал голос Юры Скорнякова и понял, что он тоже был привезен в Хатыннах (вероятно, ранее).

Снова меня отвели в камеру под штык красноармейца. Рассказывали, что тех, кто «признавался», хорошо кормили и позволяли лежать на топчане (он стоял около нашей камеры). Вместе с тем, ходили и такие слухи, что «признавшихся» увозили в сопки на «Серпантинку»¹ и там расстреливали под звук работающего трактора. Проверить это не было никакой возможности. Только многих я больше нигде не видел...

Меня вызывали на допрос в течение четырех суток. Четверо суток я провел в камере с красноармейцем, не дававшим при-

¹ «Серпантинка» — лагерь для смертников поблизости от Хатыннах.

- 119 -

сесть. Четверо суток провел на ногах и ночью дремал, прислонившись к стене. Прислоняться тоже не разрешалось, но я хитрил это делать. От четырехсуточного стояния ноги у меня распухли так, что штанины обтягивали их, словно рейтузы. Обувь же никакая не подходила. В таком виде меня и повели обратно в деревянную тюрьму. Снегу справа и слева от дороги было еще на метр или более, а я шел по лужам босиком. И — ничего! Вот что значит внутреннее сопротивление злу. В тесную душную деревянную тюрьму я вернулся, упав в объятия товарищей, как в дом родной.

Что я тогда переживал — почти невозможно вспомнить, писать же неправду — не хочу. Мог ли я сказать

словами Марины Цветаевой:

Мне все равно, каких среди
Лиц — ошестиниваться пленным
Львом, из какой людской среды
Быть вытесненной — непременно...
(1934 г.)

Нет, так сказать я не мог. Преобладающим было чувство, вернее, убеждение в необходимости все выдержать, все перенести. Я был обязан вернуться к тем, кто меня любил и кого я любил. Мне не было «все равно»! Думая так, я тогда же погиб бы.

В тюрьме велись разговоры, что все эти аресты и прочее — дело рук Гаранина — начальника всех колымских (дальстроявских) лагерей. Гаранин считался «ежовцем», проводником ежовских репрессий.

Естественно, что после допросов мы ожидали каких-то решений, дополнительных наказаний, может быть, даже расстрела. Ведь обвинение в подготовке свержения Советской власти на Колыме — это не шутка. К тому же злобешая «Серпантинка» была почти рядом. Мы видели ее во время оправок. Но, слава Богу, не слышали выстрелов.

Но вот однажды нас выпустили из деревянной тюрьмы, велели подыскать себе в горе обмундирования обувь и одежду и под конвоем повели по долине куда-то в сторону от Хатыннаха. Пронесся слух, что Гаранин разоблачен как вредитель, снят с работы, арестован и чуть ли не расстрелян. Трудно представить себе всю кровавую подноготную тогдашней дьявольской внутренней политики! Мы питались только слухами. Была уже весна. Речушка Хатыннаха разлилась, кое-где нужно было переходить ее по бревнам, и тут я обнаружил, что за время сидения в РУРе и

- 120 -

хатыннахской тюрьме у меня что-то произошло с вестибулярным аппаратом: я потерял чувство равновесия. По бревну я не мог перейти через речку. Пришлось буквально переползать. Можно было, конечно, плюнуть на все и переходить речку вброд прямо в валенках. Но что-то меня останавливало от этого. Да и стыдно было перед другими. Впрочем, переползать было не менее стыдно...

Километра через два у подножья сопки показался поселок, состоящий из нескольких добротных бревенчатых построек, оцепленный довольно солидной проволочной оградой с вышками охранников по ее углам. Это был участок Нижний Хатыннах, когда-то, видимо, игравший в системе хатыннахских приисков немалую роль, но с обеднением золотых запасов в местных недрах превращенный в штрафной ЛП (лагпункт или командировку). Итак, из тюрьмы — снова в штрафное подразделение. На Нижнем Хатыннахе был свой РУР (как на Мальдяке), расположенный несколько в стороне в небольшом бревенчатом строении, за особой дополнительной проволочной оградой. В этот РУР нас и заперли на замок (Боже, сколько замков осталось у меня позади!).

- 120 -

В ШТРАФНОМ ЛАГЕРЕ НИЖНИЙ ХАТЫННАХ

Топография Нижнего Хатыннаха очень напоминала Мальдяк. Но все здесь было капитально. Капитальная кухня со столовой, здание клуба, здание амбулатории. Вне проволочной ограды, на склоне пологой сопки разместились бревенчатые здания для вольнонаемных (начальник ЛП, геологическая и маркшейдерская службы) и для военизированной охраны. Вне зоны была баня.

Экипировав в более сносный вид, нас начали выводить на общие работы. Конечно, под конвоем. Но вскоре мы приобрели «права лагерного гражданства», и нас разместили по баракам. Общие работы состояли из уже знакомой нам по Мальдяку вскрыши торфов, которая теперь, с наступлением весны, была уже не такой адски трудной. Нормы, конечно, мы не выполняли, да нас и не считали, вероятно, способными (или пригодными) на это. Я уже понимал, что такой взгляд будет иметь и обратную сторону — отсутствие хотя бы небольшого начисления по зарплате. Такие начисления (очень скромные) производились бухгалтерией, но я

- 121 -

оставался к тому равнодушным. Тем более, что на руки деньги не выдавались. У меня утвердилось на редкость «рациональное» отношение к физической работе. Надо было работать так, чтобы не попасть снова в РУР, всяческий же «трудовой энтузиазм» у меня совершенно отсутствовал, почему мне и чужд по духу рассказ (или повесть) Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Я знал, что «трудовой энтузиазм» ведет к надрыву сил и к смерти. За наши жизни никто не беспокоился. Цена их равнялась нулю.

Как я уже говорил выше, в связи с криками избиваемого Юры Скорнякова, я вспомнил, что он тоже был привезен на Хатыннах. Так и сейчас, вспоминая первые трудные дни пребывания на Нижнем Хатыннахе, я вызволил из закоулков памяти образ Василия Виноградского. Не помню, сидел ли он в Мальдякском РУРе и вместе ли мы попали в Хатыннахскую тюрьму, но отлично помню, как мы разгребали лопатами горы снега около кухни-столовой, надеясь получить за работу что-то съестное. Это было на Нижнем Хатыннахе.

Наша работа по вскрышке торффов была малопродуктивной. Мы выходили в ночную смену, уже начали докучать комары, пришлось прятать лицо в капюшон с сеткой из конского волоса в передней части. Вскоре стали наряжаться в нежно-зеленый убор молодые лиственницы, и с сопков потянуло ароматом, напоминающим... сирень. Наступило колымское лето. А у меня началась цинга. Может быть, это было еще предвестие цинги. Ноги начали опухать почти так, как при моей четырехсуточной стойке.

Однажды я, вероятно поэтому, был освобожден от «общих работ», и мне было поручено подмести территорию лагеря перед бараками. Размахивая я ряд за рядом метлой, размахивая бездумно — это хороший способ оградить психику от травмирования. Вижу — идет староста лагеря (обычно он назначался из людей с какой-либо гражданской статьей: злоупотребление служебным положением, растрата, или что-либо в этом роде). Староста Иван Иванович смотрит на меня и спрашивает: «Небось, стыдно подметать-то?». «Нисколько», — отвечаю я.

Иван Иванович: Кем был-то на воле?

Я быстро соображаю, что понятие «музейный работник» ничего ему не скажет, а вот «художник» — другое дело. Ответил: «Художником».

Иван Иванович: Верно? И что же, ты сможешь срисовать меня?

- 122 -

Я: Конечно, смогу, если в тюрьме не разучился. Надо попробовать.

Иван Иванович: Ну, вот что. Дометай и приходи ко мне в мою контору.

Я: Разживитесь бумагой, если можно — слоновой.

На том мы расстались.

Явившись к нему, я усадил его и начал рисовать, для начала в профиль. Портрет вышел не очень профессиональный, но сравнительно похожий. Староста был доволен и дал мне краюху черного хлеба. Далее у нас состоялся такой разговор.

Иван Иванович: Ты можешь сделать красивую арку при входе на территорию ЛП?

Я: Почему бы не сделать, нужна фанера, пила, краски.

Иван Иванович: Завтра на «общие работы» не пойдешь. Скажешь, что оставлен старостой.

Затем он повел меня в столярную мастерскую, где работал какой-то бытовик, «представил» меня ему и сказал, что я буду работать здесь. Столяр-бытовик почему-то отнесся ко мне недоброжелательно, как будто я чем-то ущемляю его. Раздобыв фанеру, я начал намечать контуром фигуры, которые должны были украсить боковые опоры арки. На следующее утро я тоже остался в ЛП. Закончился так называемый развод заключенных на те или иные работы, в столярку вошел «воспитатель» из КВЧ, з/к по бытовой статье Валуев, и спросил меня грубовато: «А ты почему в лагере?»

Я: Меня староста оставил делать арку.

Воспитатель: А стенгазеты ты оформлять умеешь?

Я: Конечно!

Воспитатель: Ну, так вот. Бросай ты эту арку и приходи в КВЧ. Посмотрим, как ты умеешь.

По правде сказать, я не надеялся, что у меня с аркой получится что-то дельное. Красок, по существу, не было. С оформлением же стенгазеты все обстояло иначе.

Наутро я пришел в КВЧ, которая занимала три комнаты за сценой бывшего клуба. Тут же на сцене стоял

большой стол, на котором могла поместиться немалая стенгазета. Валуев познакомил меня с начальником КВЧ, вольнонаемным Владимиром Карловичем Даркевичем, человеком еще молодым, но на вид чрезвычайно серьезным. Мне были даны уже написанные статьи, я составил композицию стенгазеты, нарисовал заголовок, украсил статьи иллюстрациями (акварелями) и вызвал у воспитателей полное удовольствие. Мне было сказано, что в виде исключения

- 123 -

я, как «литерный» (КРД), остаюсь при КВЧ и освобождаюсь от «общих работ».

Так передо мной блеснул свет. Стоит ли говорить, как я приободрился. Вероятно, к этому времени относится моя телеграмма из Хатыннаха Людмиле Константиновне: «Сохраняю бодрость, живу радостными воспоминаниями о прекрасных встречах всегда помню еще больше люблю горячо благодарю за подарок ваш Гурлик» (подарка, я, увы, не припоминаю).

Правда, были неприятные случаи, когда нарядчики всячески стремились вытолкнуть меня на «общие работы», злились, называли меня «филоном», любителем «кантоваться» (то есть делать вид, что работаю, а на деле уклоняться от работы). Иногда нарядчикам удавалось определить меня снова на «общие работы», но воспитатели всякий раз возвращали меня в КВЧ. Это вселяло в меня веру, что я нужен.

Я, действительно, работал не покладая рук. Если не оформлял стенгазету, то писал лозунги, рисовал иллюстрации к текстам, сочиненным воспитателями. Лозунги и плакаты были нужны не только для ЛП и его зданий, но и для тех промывательных сооружений, которые растягивались вдоль всего прииска. Для этого мне давались старые простыни или новая бязевая ткань, и я очень скоро овладел техникой сухой кисти. Этой техникой я сделал большой портрет Ежова для центрального лагпункта «Полярный». Он был водружен над Управлением, но вскоре был снят. Вероятно, это было связано с описанной выше «гаранинщиной». Плакаты делались на больших листах коричневой оберточной бумаги и вывешивались на вахте, где перед разводом собирались (по ротам или бригадам) все «зеки».

Оба воспитателя относились ко мне хорошо, особенно Владимир Карлович Даркевич. Помню такой случай: у меня появились уже вторичные признаки цинги, и я, как тяжело больной, подлежал переводу на сельскохозяйственный ЛП под названием «Эльген» (на тот самый "Эльген", где отбывала ссылку Евгения Гинзбург). Когда на Нижний Хатыннах прибыла комиссия по приемке больных, Владимир Карлович сказал мне: «Ты имеешь все права перейти на "Эльген", но если ты останешься, то я всегда буду тебе покровительствовать и не дам в обиду». Со стороны начальника КВЧ это значило очень много. Я оценил его слова и остался.

Сначала я жил в общем бараке, дневальный которого был здоровенный мужчина. Тут же жил мой земляк по рязанщине — некто Беспалов.

- 124 -

Казалось, что оба эти человека относятся ко мне достаточно доброжелательно. Как же огорчительно было видеть и слышать, когда во время очередного аврала, в котором на «общих работах» должны были участвовать все — все из так называемой лагерной obsługi, эти двое издевательски смеялись надо мной, над моим бессилием вывезти перегруженную тачку по поднимающемуся в гору трапу. Нет, я никак не могу сказать про своих солагерников, что «Человечность обитала в тюрьме рядом с нами» (Оскар Уайльд). Может быть, это свойственно заключенным английских лагерей? Передо мной было совершенно иное. Это был смех злой, злорадный, словно я сделал что-то плохое для них и вот теперь оказываюсь в неприглядном положении. «Сволочи!» — только и мог я произнести про себя. Этого попрапия земляческих чувств я не мог спокойно перенести и ответил им что-то грубое. Между прочим, только «великому русскому народу» в экстремальных ситуациях свойственна эта антигуманная, антиоваришеская психология. Представители иных языков держались несравненно солидарнее. Особенно евреи.

Барачная жизнь бедна воспоминаниями. Подъемы, проверки, обыски («шмоны»). Толпа у печек с котелками, душный запах от мокрой одежды и обуви, ночной храп... Я не помню, чтобы пели песни. Впрочем, их и не разрешали.

На Колыме некуда было совершить побег. Кругом на тысячи километров простиралась мертвая тайга. Но некоторые смельчаки бежали. Обычно их вскоре ловили.

Живя еще в бараке № 1, я был свидетелем поимки трех таких беглецов. Их выпустили в исподнем в «зону» и натравили на них вохровских овчарок. Собаки кидались на беглецов, рвали на них белье, кусали так, что белье было все в крови, парни кричали, кидались на проволочные заграждения. Настоящее возвращение к опричнине! С тех пор у меня родилась антипатия к овчаркам, хотя их «патриотические» заслуги в войне 1941-1945 годов очень велики.

Особенно интересных встреч на Нижнем Хатыннахе у меня не было. Могу сказать только о двух. Я познакомился с москвичом Марголиным (имя, отчество забыл), работавшим на конбазе. О нем несколько ниже.

Вторым незаурядным человеком был историк Арьков. Это был сильный, умный мужчина, специальность которого никак не позволяла ему включиться в лагерную обслугу. Мы познакомились в очередные «субботники», я ходил в его бригаду и помо-

- 125 -

гал опрокидывать кузова вагонеток с золотоносным песком в бункер промывательного прибора.

Арьков был высоким, очень мужественным человеком, не хныкающим, не опускающимся как многие интеллигенты. Он держался независимо и пользовался уважением. И такому полезному человеку не было в лагере культурного применения! Позднее я еще встречу с ним при отъезде из Магадана.

Вспомнив этих людей, я почувствовал себя нечестным, так как не упомянул еще об одной интересной личности — Малофееве. Его специальностью была философия диалектики, с которой он еще менее чем Арьков, мог бы устроиться на работу внутри лагеря. Знание основоположников марксизма у Малофеева было феноменальное, он помнил, что сказано у Маркса на той или иной странице. И вот этого философа приставили к нам читать маленькие лекции перед отходом ко сну после проверки. Проверка обычно производилась вечером, для чего всех «зеков» выстраивали в каре и перекликали по фамилиям. Малофеев спокойно расхаживал взад-вперед, как будто находился в учебной аудитории. Мне припомнилось, что он преподавал в рязанском Пединституте, но вспоминать об этом заведении мне не хотелось, и я не напомнил философу о себе.

Между прочим, Малофеев представлял редкий случай, когда философа уважали. Обыкновенно философов, политиков, экономистов, не говоря уже о юристах, почти все в лагере презирали, считая их болтунами. Конечно, многое зависело от личности, ее яркости, а Малофеев был именно таким. Уцелел ли он?

Я познакомился в КВЧ с дневальным Владимиром Карловичем Квитковским, пожилым мужчиной с бегающими глазами. Он сидел по какой-то служебной статье. Удивительно, что в КВЧ соединились три «Карловича». Но мы были «разных кровей»: Даркевич — из белорусов, Квитковский — из поляков, я — из немцев. Квитковский переложил на меня обязанность ходить с котелками на кухню и приносить воспитателям обед и ужин. Для воспитателей пища отпускалаь немного вкуснее. Со временем это распространилось и на меня. Квитковский был неприятным человеком. Он подтолкнул меня на создание альбома «ню», но когда я принес его к начальнику прииска (им в то время был некто Григорьянц), то был встречен им очень резко. Я сказал ему, что сделал это по его же просьбе, сообщенной мне Квитковским. Начальник еще раз отверг альбом и пригрозил неприятностями. Мне ничего не оставалось, как разорвать этот альбом на его глазах. Но когда я сказал о произошедшем Квитковскому, то

- 126 -

этот развратный тип выпросил у меня клочки рисунков и начал их склеивать.

С разрешения Даркевича я стал ночевать в КВЧ в одном из углов клубной сцены, где у меня стоял топчан. Потом мне разрешили не выходить на вечернюю проверку. Мои откровенные упоминания о некоторых лагерных «льготах» могут вызвать у тех или иных строгих читателей чувство скепсиса: «И чего это он гордится своим колымским испытанием, когда настоящей Колымы не нюхал». Хотел бы я видеть таких скептиков, как они перенесли хотя бы один-два месяца в колымском лагере. Тогда можно было бы поговорить.

Мое новое положение позволяло наладить переписку с родными, с Людмилой и Алей. Але я написал, когда узнал, что в 1939 году скончалась ее любимая мать. Вероятно, в своем письме я сожалел о произошедшем между нами разрыве. У меня всколыхнулись все юношеские чувства, и я стал постепенно убеждаться в том, что, не взирая ни на что, мы должны с ней соединить свои жизни. К сожалению, наша переписка кануна Отечественной войны не сохранилась. О возобновлении романа с Людмилой Константиновной нечего было и думать, так как это значило пережить всю сложность и бесперспективность заново. В осуществление ее развода с мужем мне не верилось. Может быть, это была крупная ошибка в моем тогдашнем сознании? Не знаю.

Сохранились две телеграммы с датой 1939 года, в которых родители извещали меня о получении моих писем. Одна телеграмма адресована на Магадан: «Целую обнимаю благодарю письма получены родителями два братьям Эле два Марусе Милице все писали Эля особо послала посылку адресуй матери Твоя любящая мать». Вторая телеграмма послана на Хатыннах: «Рады письму здоровы пишем всегда целуем Родители».

В то время через центральный лагпункт «Полярный» проходила вся почта на прииск имени Водопьянова.. Я часто получал письма «с материка» (Колыма не считалась частью материка, так как сообщение с Хабаровском, краевым центром, шло через Охотское море), и поэтому в соответствующих лагерных почтовых

кругах меня знали как активного «корреспондента».

Сохранилось мое письмо к Людмиле Константиновне от октября-декабря 1939 года: «...Незадолго до 29 сентября я получил Ваше чудесное письмо, дорогая Эля! С тех пор я несколько раз брался за перо, но то, что я чувствую — я никак не могу изло-

- 127 -

жить так же просто. Очевидно, для простоты нужно более возвышенное состояние духа, во всяком случае более независимое. Третий год склоняется к концу, а мне кажется, что я только вчера видел Вас. Все, что я вобрал в себя из наших встреч, слилось во мне в такой могучий зов к жизни, что как бы ни были извилисты перспективы, я не закончу жизни безверным пессимистом. Воспоминания об этих встречах заключают в себе все, что составляет чувство радости и красоты жизни, и я уже не могу бояться того, что приду к концу ее в пленках детского неведения или в рубище старческого скептицизма. Вот это-то чувство познания жизненной радости и является опорой моего состояния, независимо от мечты. Мечты — великая душевная сила! И с того вечера, когда Вы простились со мной таким трогательным великим жестом, я тоже живу мечтой. Но я не хочу обманывать ни себя, ни близких мне. Сейчас я склоняюсь к убеждению, что настоящая сила духа состоит не столько в том, насколько долго я могу жить мечтой, сколько в сохранении твердого ясного (не хочу врать — бодрого) душевного состояния независимо от мечты, только на основе уже однажды, полученного, познанного и любимого. Мне кажется, что в этом проявляется большая свобода духа, поскольку «свобода есть осознанная необходимость». И опять, когда я настраиваюсь на подобный лад, я нахожу в воспоминаниях о Вас и о наших встречах силу, которая движет меня вперед, хотя бы даже это движение и не вело к обретению прежними ценностями. Весна у человека бывает однажды, и от того, насколько полноцветна она бывает, зависит душевная полнота дальнейшей жизни, по какому бы неблагоприятному руслу она ни была направлена. Чувства, одно богаче (для меня во всяком случае) другого, возникают, когда я предаюсь воспоминаниям. Но я вовсе не стремлюсь замкнуться в них. Я живу настоящим и будущим и тем активнее, чем полнее душевная энергия, которая имеет своим источником эти чудесные воспоминания. Вот почему кроме всего сказанного я ношу в себе чувство высокой благодарности за то, что я не просто живу с сознанием бесконечной полноты, радости и красоты человеческой жизни.

Всегда Ваш Георгий».

В другом своем письме я просил Людмилу Константиновну собрать мои рязанские работы по архитектуре и издать их под своим именем. Конечно, Людмила Константиновна не могла себе этого позволить, да и в издательском отношении это было совершенно неосуществимо.

- 128 -

На Нижнем Хатыннахе я получил первую посылку от родителей, в которой кроме антицинготных продуктов была недавно вышедшая книга М. В. Алпатова о русском искусстве. И воспитатель Валуев не разрешил мне ее дать. Это был трусливый перестраховщик. Обратись я к Даркевичу — наверняка получил бы книгу. Но я остерегался потери доверия ко мне, а от Валуева можно было этого ожидать,

Здесь я должен сделать одно отступление, чтобы дальнейшее мое повествование было более понятным.

В 1939 году я получил трогательное письмо от Али Терновской с извещением, что скончалась ее мать. Аля осталась сиротой. Это заставило меня глубоко задуматься. Ведь это была моя первая, почти еще детская любовь, как бы осененная негласным «договором» наших матерей. Как бы я не был увлечен Людмилой Константиновной, но образ Али где-то подспудно жил в душе. Кроме того, меня не покидало сознание, что муж Людмилы Константиновны продолжал стоять между нами, а это было далеко не шуточное дело. Так или иначе, тогда или несколько позже, я написал Але свою исповедь. Ответ был получен не скоро.

На Нижний Хатыннах стали поступать новые партии «зеков». Большая партия разместилась в зале клуба, и меня отделял от нее только занавес. Однажды я проснулся, словно от пристального взгляда постороннего человека. И, действительно, около моего топчана маячила высокая фигура до предела исхудавшего человека из разместившейся в «партере» новой бригады. Было не столько страшно (что этот скелет мог мне сделать?), сколько неприятно. Это был живой скелет. Вероятно, он искал какую-нибудь еду. Никакой еды у меня не оставалось, я съедал все и сам был не прочь разжиться чем-либо. Все же я принял меры против повторения таких ночных посещений.

Раздобыть дополнительную еду кроме как на кухне, на Нижнем Хатыннахе было невозможно. Иногда Квитковский уделял мне кое-какие остатки от еды воспитателей, и я считал неразумным отказываться от этого, хотя Квитковский не умел облекать свои «дары» в интеллигентную форму. Он грубо намекал на то, что делает мне, «врагу народа», особое одолжение. «Черт с ним, — думал я, — лишь бы не загнуться от цинги». Настойку

горького стланика нам давали и здесь, но этого было мало.

Однажды староста Иван Иванович поручил мне выкопать могилу для умершего «зека». Я выкопал неглубокую яму, глубже пошла вечная мерзлота. За могилу я получил полбуханки

- 129 -

черного хлеба. Копал я не один раз, не видя в этом ничего унижительного. Ведь кто-то закопал бы и меня...

Кладбище находилось на склоне дальней сопки, через которую шла какая-то старая дорога. Уцелевшие надгробия своим полуразрушенным видом напоминали мне картину А. А. Иванова «Аппиева дорога», которую я в середине 1930-х годов показывал Але в Третьяковской галерее. Это сходство побудило меня в 1947 году на написание акварели.

Зимой 1939/40 года я ухитрился подхватить воспаление легких. К тому времени Даркевича и Валуева перевели на другой ЛП, а вместо них на Нижнем Хатыннахе появился вольнонаемный воспитатель Швердяков и его помощник из заключенных Сериков. Они получили меня как бы в «наследство» от своих предшественников и относились ко мне хорошо. Швердяков по молодости вообще положился на меня в отношении наглядной агитации. Сериков же пытался иногда читать мне нравоучения. Например, он резко предупредил меня за слова «наш стенд напоминает виселицу» (мы в то время делали из тонких стволов лиственницы нечто похожее на каркас для плакатов и лозунгов). «Выбрось из головы такие сравнения, это может принять политический характер...» Я понял, что такой тип не задумается при случае «продать» меня. Вернусь, однако, к болезни.

Лагерный врач Владимир Козлов, мой хороший знакомый по Рязани, устроил меня к себе в больничную палату, где уже лежало много «зек». Из-за недостатка места меня положили в центре палаты на каком-то катафалке. Не знаю, какими пилюлями лечил меня Козлов, только я беспрестанно бегал в туалет. Слава Богу, все это через две-три недели кончилось, и я снова оказался в КВЧ.

Время шло. Вместо Швердякова старшим воспитателем был назначен «бытовик» Петр Кардаш, родом из Белоруссии, а младшим — Иван Зеленецкий — «зек» из «бытовиков». Он был из города Почепа. Сама КВЧ переехала в небольшой бревенчатый домик, где жили воспитатели и уже официально я. Кардаш был не лишен чувства юмора. Он очень любил произносить, стуча себя кулаком в грудь: «Кто хозяин Лагпункта? Я хозяин Лагпункта». И его красное лицо надувалось как нос индюка. Малограмотность воспитателей в области наглядной агитации позволяла приобретать мне большую инициативу и свободу. Любовь Кардаша хорошо поесть заставляла его довольно бесцеремонно выпрашивать у заведующего каптеркой консервы и прочие лакомства, часть этих «даров» перепадала и мне. Перепадало вос-

- 130 -

питателям и из кухни, заведующий которой очень сблизился с Кардашом. Вообще в 1940 году лагерный режим стал слабеть. Некоторые «зеки» из «бытовиков» ухитрялись в выходные дни ходить за 20 километров в совхоз «Эльген» в поисках женских ласк. Были введены так называемые «рестораны», в которых отпускались дополнительные продукты забойщикам, перевыполнившим норму. Был на Нижнем Хатыннахе один высоченный забойщик Аверкин. Он все время перевыполнял норму и был частым посетителем «ресторана». И вот однажды он умер. Вот тебе и трудовой энтузиазм. Я поймал себя на правильности своего скептического отношения к «лагерной стахановщине».

В 1940 году я получил известие, что мой отец умер после операции запущенного аппендицита. Умер, так и не увидев меня, может быть, с мыслями о моей реальной причастности к какому-то нехорошему делу. И это — после такой добропорядочной жизни в Спасске! После редкостного взаимопонимания, взаимопомощи, взаимной любви! Я заплакал. Это были вторые мои слезы на Колыме. Мама перебралась к младшему брату Орику в Ленинград. Так постепенно начала рушиться наша семья... Я невольно чувствовал себя «зачинщиком» этого разрушения. Но позже, когда началась война, пришла другая дума: «А что ожидало бы тогда отца? Его могли сгноить в лагерях... Как сгноили моего любимого дядю Ваню».

Осень 1940 года была очень дождливая. Все бараки, у которых были плоские, покрытые дерном «крыши», сильно протекали. Речка Хатыннах разлилась, и ее мутный поток уносил все на своем пути. Мы оказались отрезанными от базы снабжения. Хлеб привозили пропахший керосином. Набрав грибов, мы жарили их на... касторовом масле, но этого блюда я есть не мог. Меня посылали к далеким сопкам за брусничкой, которой там было видимо-невидимо, и я горстями довольно быстро наполнял ведро.

К этому времени относится другое мое письмо к Людмиле Константиновне.

«18-19/IX-40 Хатыннах

Сегодняшняя ночь все черное превратила в белое, на 10 дней раньше, чем в прошедшие два года. Я это хорошо помню, так как и в 38, и в 39 годах это совпадало с Вашим светлым днем. Каждый год в этот день я писал Вам письмо, и то, что кругом все было бело-пушистое, казалось особенным. Сегодня я тоже чувствую себя особенно, и с самого утра уже знал, что день не пройдет без письма к Вам.

- 131 -

Эля, милая! Я знаю, что Вы уже давно расстались с Рязанью, и мне трудно писать Вам. Труднее потому, что все время боюсь показаться наивным. Мне самому не нравится мое состояние, и я стараюсь стать выше его. Если в моих письмах чувствуется некоторая риторичность, то это только вследствие желания не быть и не казаться узким. Но стоит мне вспомнить, чем объективно была для Вас Рязань, как все мои серые мысли уступают место большой и светлой радости. Воображение мое часто рисует мне встречу с Вами в Вашем родном городе, но я знаю, что как бы ни было ярко воображение и доставляемое им переживание — это никогда не сравнится с незабываемым часом, который будет в реальности и представить всю полноту которого воображение неспособно. Я иду к этому часу, как к вершине, с которой видно все и ничто неспособно укрыться. Это будет одновременно и самопостижение и постижение жизни, момент таких внутренних «перетрясок», во время которых утрясается мировоззрение, понимаемое уже не в юношеском смысле.

Я счастлив уже тем, что иду к нему не в темноте и ощупью, а с сознанием целеустремленности и определенности каждого шага; что впереди — я жду не проверки (с неизвестным результатом) внутренних решений, а их утверждения. Это так потому, что я несу с собой светлые образы любимых людей, ставших для меня символом радости земного бытия и человеческой радости, так полно раскрывшейся во встречах с Вами. Вот почему, как бы ни повернуло колесо судьбы, с Вами у меня связаны мои жизненные оценки, дающие мне возможность смотреть выше, шире и глубже...».

Дальше в письме следовало многое в таком же духе. Заканчивалось оно так: «Я хотел бы как можно больше знать о Вас, как Вы живете, что делаете. Полученное от Вас прошлогоднее письмо часто перечитываю, как настольную книгу.

Обнимаю и целую Вас, милая Эля, весь Ваш Гурлик».

(К сожалению, письма Людмилы Константиновны ко мне не сохранились.)

Между тем молва о качестве нашей стенгазеты дошла до центрального ЛП «Полярный», находящегося рядом с поселком Хатыннах. Был устроен конкурс стенгазет всех ЛП прииска имени Водопьянова, в состав которого, кроме ЛП «Нижний Хатыннах» и «Полярный» входили еще три ЛП. Наша газета получила первую премию. Естественно, меня стали вызывать на ЛП «Поляр-

- 132 -

ный», а вскоре, в связи с ликвидацией ЛП «Нижний Хатыннах», я и совсем перебрался в КВЧ «Полярного».

Здесь мне хочется сделать одно отступление.

«Троцкисты на Колыме» — под таким интригующим заголовком в историческом альманахе «Минувшее» (М., 1990. Вып. 2) была опубликована статья М. Байтальского, пережившего трагедию 1937 года.

В редакционной преамбуле сообщается, что «воспоминания М. Байтальского сильно беллетризованы» и издатели альманаха будут благодарны читателям «за любые уточнения и дополнения».

Я был «доставлен» на Колыму в том же 1937 году, встречал так называемых «троцкистов» (не знаю, насколько это были истинные троцкисты, весьма сомневаюсь в этом), поэтому полагаю, что могу кое-что уточнить и дополнить.

В отличие от эшелона с троцкистами из Караганды, в котором ехал М. Байтальский, наш эшелон из Рязани состоял в основном из бывших эсеров (опять не уверен, были ли это действительно бывшие эсеры или им наклеивали эти ярлыки). При выгрузке во Владивостоке и по пути на пересылку в нашем этапе не пели революционных песен, тем более «Интернационал». Не верится, чтобы это делали карагандинские троцкисты в окружении многочисленного конвоя и свирепых немецких овчарок. Но Бог судья М. Байтальскому.

Как и карагандинских троцкистов, нас тоже грузили на морское судно «Кулу» (как я позже узнал — голландского производства), вмещавшее 3000 человек. Нами забили весь трюм с трехъярусными нарами, на палубу разрешалось выходить только для «оправки». Поэтому сообщение М. Байтальского, что троцкисты, среди которых он находился, выхлопотали себе пребывание на палубе да еще «неплохое питание», вызывает, по меньшей мере, удивление. При проходе проливом Лаперуза вблизи берегов Японии даже конвойные вынуждены

были прятаться за мачтами, чтобы не вызвать подозрений японских пограничников, где уж тут речь о целом этапе! Мое уточнение подтверждается воспоминаниями писателя Ю. О. Домбровского (автора романа «Факультет ненужных вещей» и др.), находившегося в том самом казахстанском «троцкистском» этапе 1937 года и попавшего на Колыму. Вместе с режиссером Л. В. Варпаховским и другими он был заперт в трюм наравне с уголовниками (см. «Наше наследие». 1991. II. С. 111). Что же до «сносного питания», то кроме пайки хлеба и кипятка я ничего не припомню. Кормить

- 133 -

трехтысячный этап в течение пяти суток (Владивосток — бухта Нагаева) даже простой баландой немыслимо. В условиях глубокого трюма это даже невозможно.

Но вот этап прибыл в Магадан. М. Байтальский пишет, что карагандинские троцкисты потребовали у лагерного начальства предоставления им статуса ссыльных, устройства на работу по специальности (с нормированной зарплатой) и свободной переписки. Может быть, троцкисты действительно выставили такие наивные требования, но администрация на другой же день их разочаровала: всех направили на прииски, причем на разные прииски, и на «общие работы», то есть долбить кирками каменистую колымскую землю, скрывающую в своих недрах золото... Естественно, так же поступали и с нашим рязанским этапом. Я лично попал на самый отдаленный к северу прииск «Мальдяк» (600 км от Магадана), знакомый читателям по воспоминаниям Г. Жженова и рассказам В. Шаламова. (Для сверки сообщаю, что свои воспоминания я опубликовал в московском журнале «Слово», № 10 и 12 за 1989 год.)

М. Байтальский не останавливается на том, в каких условиях происходила работа троцкистов на приисках. А это — самое существенное. Зато он подробно описывает трагическую эпопею вторичных арестов троцкистов в 1937—1938 гг., которую пережил и я. Поэтому эту часть воспоминаний М. Байтальского я могу тоже заметно уточнить и дополнить.

По Байтальскому выходит, что вторичные аресты уже находящихся в лагерях троцкистов (речь идет об арестах 1937 г.) производились по доносам сексотов (секретных осведомителей), завербованных из тех же троцкистов. Историю вербовки одного из таких троцкистов, его гнусную деятельность и ее результаты М. Байтальский сделал стержнем своей статьи. Эта часть (в виде исповеди) изложена очень ярко, но в ней многое вызывает недоверие. (Так же, впрочем, как и в «Колымских рассказах» Шаламова.) Видимо, литературная яркость потеснила серую фактологию.

М. Байтальский сообщает, что его «герою»-сексоту удалось установить (по заданию НКВД, конечно) связь между троцкистами, находящимися на разных приисках. В результате был арестован некий колымский троцкистский центр, члены которого, а с ними еще 10—12 человек, были расстреляны в ноябре 1937 года. И это в то время, когда во всех колымских лагерях производились аресты не только троцкистов, но и других заключенных по 58-й статье (включая КРД, ПШ и пр.). Обвинение было

- 134 -

едино: участие в подготовке свержения советской власти на Колыме при помощи Америки и Японии. 1 мая 1938 года был арестован и я.

Число «арестованных заключенных» (согласитесь, сколь нелепо такое словосочетание!) точно мне неизвестно, но оно было громадно. Только в тюрьме Хатыннаха было не менее 150—200 человек, но по мере убывания (расстрел) ее численность все время пополнялась. М. Байтальский прав, допрос велся молодыми распущенными следователями до предела грубо, хулигански, с неудержной матерщиной. Но он не сообщает о пытках и побоях. Пытали многосуточным стоянием (без права присесть), так, что человек превращался в распухшее бревно (я простоял четверо суток). Били по голове резиновой дубинкой. (Этот «опыт» усвоен современными милиционерами.) Не делалось никакого различия: троцкист ли ты, эсер, меньшевик или еще кто-либо. Никакой троцкистской проблемы в этом колымском терроре 1937—1938 гг. не существовало. Исполнение смертных приговоров производилось на страшной «Серпантинке», которую я видел из окна районного отдела хатыннахского НКВД. Так что говорить о каких-то 10—12 расстрелянных в 1937 году троцкистах просто смешно.

Кампания по выкорчевыванию «контрреволюционного заговора» на Колыме в 1937—1938 гг. велась под эгидой начальника колымских лагерей полковника Гаранина, ставленника Ежова. По-видимому, она оборвалась осенью 1938 года после расстрела Ежова и Гаранина.

Если во всей этой трагической истории троцкисты и занимали какое-либо место, то не более, чем другие заключенные по 58-й статье. Уцелевшие из них не составляли какой-то особой группы ни по своим совершенно смятым воззрениям, ни по лагерному положению. Можно даже сказать, что те из троцкистов, которые не

скрывали своего прошлого, переживали гораздо большие трудности, нежели «обычные» заключенные, так как они не вызвали симпатий ни «58-й статьи», ни уголовников. «58-я статья» сторонилась их (конечно, не внешне, а внутренне) как худо-бедно, но все же каких-то «политических деятелей», в то время как состав «58-й статьи» был по преимуществу обывательский. Уголовники вообще были настроены против всяких «политиков», усматривая в них либо карьеристов, либо просто болтунов. В таких условиях бывшим троцкистам (употребляю этот термин условно) было труднее других, и в основном именно они скоро переходили на положение «доходяг», то есть опустившихся людей.

- 135 -

Но это только в общих чертах. Среди носителей страшной статьи КРТД (контрреволюционная троцкистская деятельность) были достойные люди. Я знал москвича Марголина, обладателя такой статьи, но ничем не похожего на троцкиста. Это был образованнейший интеллеktуал, большой знаток театра, друживший с Наталией Сац. Он работал конюхом и возчиком, в свободное время украдкой писал стихи. Помнится, однажды он увел меня в укромное место и читал свои стихи. Они были потрясающе по своей драматической силе. Описывая ландшафт прииска, он произнес: «Отвалы кругом как гробы». Я помню эту строчку до сих пор, никаких фантастических троцкистских идей у него не было, просто он был знаком с кем-то из москвичей-троцкистов, и его «загребли» в сети НКВД.

Мое резюме: 1. Никакого единства (хотя бы тайного) троцкисты на Колыме в 1937—1938 гг. не представляли. 2. Разбросанные по разным приискам-лагерям, они полностью растворились в массе заключенных, уравненных одной мыслью: выжить во что бы то ни стало.

- 135 -

НА ЛАГПУНКТЕ «ПОЛЯРНЫЙ» И В «ЯГОДНОМ». ОСВОБОЖДЕНИЕ

На ЛП «Полярный» меня хорошо знали многие, начиная с начальника КВЧ Матвеева и кончая художником Карамановым. Здесь же оказался переведенный с Нижнего Хатыннаха младший воспитатель Иван Кириллович Зеленецкий, («зек» из «бытовиков»). Образовалась довольно тесная компания, в которой я чувствовал себя немного белой вороной. На «общие работы» меня не посылали, конкретных же обязанностей у меня тоже не было. Потом все образовалось, но первоначально я чувствовал себя как бы сидящим между двух стульев. Приближалась годовщина Октября, на «Полярный» собрали всех художников, и нам надлежало чуть ли не в 3 дня написать портреты всех членов Политбюро и много лозунгов. Из соседнего ЛП пришел Костя Рычков, и мы начали срочно свои дела.

Караманов мастерски и довольно быстро писал лозунги, Костя Рычков — портреты Водопьянова, имя которого носил весь прииск. На мою долю выпало написание больших портретов Членов Политбюро ЦК. Если бы незадолго до этого я не освоил (через Рычкова) технику увеличения портретов при помощи корсаж-

- 136 -

ной резинки (на которой обычно конструируют мячик «уйти-уйти»), то вряд ли справился бы со своим заданием. Но я хорошо освоил новый технический прием, в сущности, он представлял собою наипростейший пантограф. (Удивительно, откуда Костя Рычков узнал об этом? В то, что это его изобретение, я не верил.) Я рисовал контуром, а потом «растущевывал» портреты один за другим. Лишь портрет И. В. Сталина был сделан мной в обычной масляной технике. Правда, посетивший нас начальник Политуправления СГПУ сделал мне замечание по поводу слишком красных рефлексов на руках Сталина, делающих последние похожими на окровавленные. Я возражал, доказывал, что рефлексы здесь реальны, но все же для успокоения полковника немного притушил красные мазки на пальцах Сталина. Тогда даже за такие мелочи можно было пострадать.

Жил я в общей палатке, жил неудобно, как будто приживальщиком. Ведь дров для печки я не приносил. Зато днем, при активной работе, я чувствовал себя «у своего дела». Зеленецкий и Караманов, Костя Рычков и киномеханик Царегородцев относились ко мне не только как к старшему, но и как к человеку, более осведомленному в искусстве. Свое задание мы выполнили в срок. После этого начальник Политуправления СГПУ сделал мне заказ на большой портрет В. И. Ленина масляными красками. Я исполнил и это, но, кажется, не угодил ему. Лицо Ленина получилось слишком желтым, что тоже вызвало подозрение в чем-то умышленном. Стоило немалого труда оправдываться, как и в случае с портретом Сталина.

В лагерной зоне я вновь встретился с Марголиным. Он и здесь работал при конбазе. Ближайшими моими знакомыми, кроме него, стали Иван Иванович Ососков из КВЧ, некто Бобрин — заведующий почтой, и

бухгалтер ЛП «Полярный» (фамилию его я забыл). Это были представители «лагерной головки», и хорошим их отношением ко мне я очень дорожил. Особенно я ценил знакомство с Бобриным, через руки которого проходили все почтовые отправления. Благодаря Бобрину я получал адресованные мне письма без промедления, а если случалась какая-либо посылка, то она вручалась мне без вскрытия и без изъятия чего-либо интересного. Конечно, я делился с товарищами. Кроме того, я рисовал для них небольшие акварели, стараясь не очень «халтурить». В какой-то степени это поддерживало и мой дух. Помню фразу, сказанную Бобриным: «Вагнер никогда не опустится ниже определенного уровня». (Вероятно, имелся в виду некий средний уровень.)

- 137 -

Начинался 1941-й год. О международном положении мы, конечно, кое-что знали, так как через КВЧ иногда пользовались газетами. Но глубоко в сложных вопросах не разбирались. Поэтому, когда Германия совершила нападение на СССР, то в это как-то даже не верилось. Но наступление развивалось, все мы замерли в ожидании: что же будет? Расползались всякие кулуарные «прогнозы». Первой страшной вестью для нас стал неожиданный арест Марголина. Поползли слухи, что во время чтения последних сообщений с фронта он, якобы, бросил фразу (среди своих коллег по конбазе): «СССР несдобровать, победа будет за Гитлером». Называли фамилию человека, совершившего донос на Марголина. Этого человека я хорошо знал, стал его остерегаться, так как понял, что в создавшейся обстановке достаточно невинной, но неловко сказанной фразы, чтобы попасть в «контрики». Марголин им не был.

У меня осталась его новая меховая ушанка из пыжика, присланная, вероятно, из дома. Марголин дал мне ее на хранение, так как на конбазе, где он жил, хранение столь привлекательной вещи было ненадежным. Лагерная жизнь стала понемногу перестраиваться. Повысились требования к выполнению норм выработки. Усилилась агитационная работа, стали организовываться специальные Агитпункты (кажется, с начала войны это слово и вошло в употребление). Центральный для СГПУ Агитпункт был организован в поселке Хатыннах. И вот однажды меня вызвали в этот новый Агитпункт, где уже работали художники Золотарев, Кириллов, Алексеев и Шульдц. Кроме Шульдца, все они были «зеки-бытовики» с художническим (лагерным) «стажем», о чем говорила их хорошая вооруженность красками, палитрами, кистями. Ничего этого у меня не было, кроме одной акварельной кисточки и каких-то детских красок. Передо мной эти новые художники были «мэтрами».

Я застал их за писанием больших картин на военные темы, оригиналами которых служили разные журнальные снимки. Здесь были и мчащаяся конница, и танки, и еще что-то. Мне же было поручено оформление большого стенда на тему «Великая Отечественная война». Материалами служили все те же журнальные снимки, а журналов в Агитпункте было великое множество. Я очень соскучился по ним и листал без конца. Вообще с этого момента я стал гораздо больше жить общей жизнью со всей страной, чего не было на Нижнем Хатыннахе и даже на ЛП «Полярный». Искусство фотомонтажа было мне знакомо, я полюбил его еще в Рязанском музее, так что мой стенд удался и понравился

- 138 -

начальству. Начальником Политуправления СГПУ был молодежавый майор Марков, а начальником Агитпункта — довольно миловидная и тихая женщина из вольнонаемных (к сожалению, я забыл ее фамилию). В политико-агитационной работе она не разбиралась, так что все мы пятеро художников работали кто во что горазд. Я больше преуспевал в рисовании плакатов и карикатур для появившихся тогда «Окон ТАСС». Естественно, все это были «копии» прославившихся тогда работ Шмаринова, Моора, Дени, Кукрыниксов и других. Никакой «отсебятины» нам не позволялось. За мной, между прочим, сохранялись обязанности художника ЛП «Полярный», заключавшиеся в том, что каждое утро я должен был получать из Планового отдела сводку о процентах выработки за минувший день и проставлять соответствующие цифры на всех разбросанных по участку ЛП «Полярный» промывательных приборах. Однажды, возвращаясь из очередного своего похода, я и встретил Марголина, которого под конвоем вели куда-то из поселка Хатыннах, но куда? Впереди была страшная «Серпантинка». Мы молча обменялись взглядами, и больше я о Марголине ничего не слышал... Как я уже сказал, его ушанка осталась у меня.

Наша художническая работа в Агитпункте ничего материального не давала, но нам разрешалось обедать в местной столовой, меню которой заметно отличалось от столовой «Полярного». Заведовал хатыннахской столовой какой-то ловкий человек нерусского типа, с которым наш Кириллов «вошел в контакт», и мы кое-что получали добавочно. Кириллов происходил из цыган. Живописи он нигде не учился, но ловко набил руку на копировании разных «эффектных» сюжетов типа брюлловской «Девушки, собирающей виноград». Воспроизведение этой «аппетитной» итальянки Кириллов, кажется, мог делать с закрытыми глазами и очень быстро. Однажды осенью, в распутицу, идя из столовой, я увидел как посередине улицы осторожно пробирается по грязи начальница нашего Агитпункта. Мы шли в одном направлении, и я по старой привычке

хотел взять ее под руку, чтобы помочь миновать препятствия. Она довольно резко отказалась. Увы, я совсем забыл, что я «зек». Но если я действительно это забыл, то это можно было считать признаком возрождения. Ведь в январе 1942 года кончался мой пятилетний лагерный срок. До конца оставалось пережить только одну зиму. Это придавало силы, главным образом моральные, так как физические заметно сдавали: меня подтачивала цинга. Сказывалась нехватка витамина «С», хотя, казалось бы, насыщенности моего организма

- 139 -

витамином «С» в молодости должно было хватить на все колымские пять лет.

С приближением зимы 1941 —1942 гг. наш хатыннахский Агитпункт должен был перебазироваться в более благоустроенный поселок «Ягодное», куда переводилось и Управление СГПУ.

Поселок «Ягодное» находился ближе к главной Колымской трассе. Он состоял из добротных бревенчатых домов, среди которых сохранились могучие лиственницы. Рядом был и лагерный пункт с обслугой.

С оборудованием Агитпункта должны были переехать в «Ягодное» и мы, художники. Разумеется, жить нам полагалось не в поселке, а «в зоне».

Агитпункт «Ягодного» размещался в нескольких комнатах деревянного дома. Начальницей его оставалась все та же женщина. Но теперь Агитпункт был под наблюдением Боровиковой, заместительницы начальника Политуправления СГПУ. Это была высокая умная женщина, немного артистической внешности, пользующаяся авторитетом. Что занесло ее на этот «край света»?

Сравнительно много времени ушло на приспособление старой экспозиции к новому помещению. Надо было делать много нового, чтобы заполнить лакуны, а, главное, следовать за разворачивающимися военными событиями. Особой рабочей комнаты для художников в Агитпункте не было предусмотрено. При этом выяснилось, что к новому Агитпункту приставлен только я. Остальные художники остались при КВЧ Лагпункта.

Работать в маленькой комнатке Агитпункта, в которой жил сторож, молодой «зек-бытовик» Rogozin (или Rogulin?), было крайне неудобно. Но я как-то приспособился, конечно. С жильем у меня было и того хуже. В лагпункте мне дали место в одной из палаток, но не упускали случая попрекнуть, что я не приношу дров. Постепенно я все чаще и чаще стал оставаться ночевать в комнатке Rogulina, где нары были устроены в два яруса. На мое удивление Rogulin не возражал. Нередко он даже приносил «из зоны» полагающуюся мне пайку хлеба. Пайка хлеба была для каждого «зека» неприкосновенной святыней, основой всех основ.

Но такая неустроенность быта стала быстро сказываться на моем общем физическом состоянии. Я не завтракал и не ужинал, так как для этого нужно было идти «в зону». В смысле питания здесь, в «Ягодном», никто мне не «покровительствовал», как это было на Нижнем Хатыннахе. Последний вспоминался добром!

- 140 -

Обещанную начальником Политуправления Марковым продуктовую посылку (за хорошее оформление экспозиции Агитпункта) я так и не получил. Перестал я регулярно принимать и экстракт стланика.

Однажды, расчесав нижнюю часть икры левой ноги, я обнаружил, что образовавшийся расчес не заживает и превращается в язвочку. Спихватился я не сразу, а когда обратился в лагерный медпункт, то мне сказали, что моя язвочка цинготного происхождения. Еще раньше, на Нижнем Хатыннахе у меня начали крошиться зубы и я потерял некоторые из них. Теперь цинга «выступила наружу». Я начал ходить на перевязки, но язвочка не зарастала, а расширялась. Скоро их образовалось две или три рядом. Работать стоя (а в маленькой комнатке Rogulina иначе было нельзя) стало очень трудно. Но тут выяснилось, что по окончании оформления нового Агитпункта надобность во мне отпала, и я был переведен «в зону». Но к кому? Кому я был нужен? При КВЧ уже состояли три художника, занимавшиеся главным образом писанием разных картинок для начальства. С другой стороны, не было никакого распоряжения об отправке меня на «общие работы». Так я и пребывал при КВЧ, исполняя кое-какие поручения своих товарищей, которые за зиму 1941 —1942 годов уже успели здесь недурно приспособиться.

Жена начальника лагпункта (Давыдова) захотела иметь свой портрет, копию с довольно хорошей фотографии. Золотарев рекомендовал меня, и я сделал этот портрет цветными карандашами. Он мне удался (с «лагерной точки зрения»), то есть был похож, а меховое боа из песка выглядело натурально. Эта работа подняла меня в лице жены начальника лагпункта, но я ничего за портрет не получил. Следующий «заказ» был уже от самого начальника. Ему захотелось иметь настоящий «ковер». Тогда эти «ковры» были в ходу. Их писали масляными красками на полотне, причем набор сюжетов был самый разнообразный. Наибольшей любовью

пользовались разные пруды с лебедями или лунные южные ночи с женщиной на балконе и т.п. При заказе на ковер для начальника ЛПЗ Золотарев обратился за помощью ко мне. Нужно было создать ковер на охотничью тему, причем основой служило серое американское одеяло. Я придумал композицию с рогатой головой лося в центральном овале и со стилизованным хвойным орнаментом и белками вокруг. Работали мы на полу. Голову лося исполнял Золотарев, а все остальное — я. Ковер понравился. Потом Золотарев писал для начальника ЛПЗ картину охоты с гончими на зайца, где Золотареву принадлежал

- 141 -

пейзаж (он был не плохим пейзажистом), а все остальное — мне. Не помню, чтобы за все это мы что-либо получили. В нашем положении было хорошо и то, что нас не посылали на «общие работы», даже на заготовку дров.

Потом мы писали разные картины для бараков ЛПЗ. Здесь требовалось живописное искусство, которым я владел слабовато. Написанные мною две картины «Охота с гончими» и «У околицы села» были грубоваты, аляповаты, над чем не только бестактный Кириллов, но и более выдержанный Золотарев довольно обидно подтрунивали. Я вообще стал замечать, что им почему-то не нравится мое вынужденное соседство, хотя никакой конкуренции (кроме портретов цветными карандашами) я им не составлял.

21 января 1942 года закончился срок моего пребывания в лагерях. Как говорится в таких случаях — «прозвенел звонок». Я стал со дня на день поджидать официального извещения об освобождении, но его все не было и не было. Время шло, я обратился «по инстанции» и получил обескураживающий ответ. В связи с войной освобождение лиц по таким-то и таким-то статьям и литерам откладывается «до особого распоряжения». Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Надо, впрочем, сказать, что к выходу «на свободу» я не был готов. Язвы на ноге все расширялись. Я попал в лагерную лечебницу, для которой исполнял разные оформительские работы и поэтому пользовался расположением медицинского персонала. Меня стали подлечивать синим светом, и дело пошло уже на поправку, но тут заведующая больницей сказала мне, что получено извещение о моем освобождении.

Был май. Кругом еще все белело под снегами. Куда мне подаваться? Сказали, что все освобождающиеся направляются на прииск им. Водопьянова, который преобразован в прииск вольнонаемной силы. Это меня устраивало, так как я пребывал на этом прииске со злополучной хатыннахской тюрьмы. Добрейшая заведующая больницей пробовала оттянуть мой выход и получше подлечить ногу. На небольшой срок ей это удалось, но настал момент, когда требование о выводе меня «из зоны» прозвучало категорически, и я, простившись с товарищами, с перевязанной ногой заковылял за вахту, потом на трассу и стал ждать попутной автомашины (грузовой, разумеется).

Шли разные машины: американские «студебекеры» и «даймонды», отечественные грузовики. Много их прошло, не обратив на меня никакого внимания. Я стал уже тревожиться: куда же

- 142 -

мне податься с наступлением холодной ночи? Не ковылять же с больной ногой 10—15 километров пешком! Тем более, что поднялся чуть ли не ледяной ветер, о котором, хотя он и был ветром свободы, я никак не мог сказать словами Франциска Ассизского: «брат мой, ветер». Какой там брат, когда передо мной вставал призрачный призрак замерзания... Отчаявшись, я не знал что делать, пока один из сердобольных водителей, везший какие-то длинные жерди, не остановился и не сказал: «Залезай, я еду на Водопьянов». Его звали Ершов. Я хорошо запомнил эту фамилию, так как мне пришлось жить с ним одно время и именно с ним, на его машине я навсегда покидал в 1946 году прииск им. Водопьянова, а вместе с ним и Колыму (это произошло уже в январе 1947 года).

Сидя на дровах, обдуваемый свежим ветром, я вовсе не чувствовал себя счастливым. Радостно, конечно, было, ведь сзади оставалась «зона», овчарки, грубые команды, лагерная баланда, неуютные бараки, а, главное, сознание непринадлежности самому себе. Сзади оставалось убогое обмундирование, нищенское белье, вечное «ты» (эй, ты, Вагнер). Сзади оставался весь этот запроволочный ад, в котором я пробыл пять лет и пять месяцев. И даже обдувавший меня холодный ветер казался последним дыханием ада... Но бездумно-радостно мне все же не было. Как я устроюсь на вольнонаемном прииске? А что если, как художник, я буду не нужен и придется кайлить мерзлую бетонную землю? Было над чем задуматься. Я ведь уже знал, что в связи с идущей войной выезд с Колымы на «материк» отменен. Нужно было золото, очень много золота, добыча которого держалась не столько на технике, сколько на ручном труде.

В ПОСЕЛКЕ ХАТЫННАХ

За двумя-тремя перевалами показалась знакомая хатыннахская долина. В самом поселке Хатыннах уже кое-что изменилось. Рядом с бывшим Управлением СГПУ (теперь здесь находилось управление прииска им. Водопьянова) был разбит целый палаточный лагерь. Оказывается, тут размещались все вновь прибывающие. Попал туда и я, и, к удивлению своему, столкнулся с художником ЛП «Полярный» Карамановым. Он принял меня радушно, рассказал о правилах оформления на работу, и вскоре я уже был в кабинете заместителя начальника прииска по политической работе (замполит), которым оказалась еврейка Роза

- 143 -

Барсова. Она уже, видимо, кое-что знала обо мне, сразу приняла меня на работу художником клуба, и я, наконец, облегченно вздохнул. У меня снова завелась трудовая книжка, но теперь лишь с 1942 года. Сведения о прежней моей службе были записаны с 1930 года, «со слов».

Мне был выдан и паспорт «минус 17», то есть я не мог быть прописан в 17 главных городах СССР.

Важнейшим документом была продовольственная карточка. Первой категории я никогда не получал, самое большое — вторую. В годы войны на нее полагалось 800 граммов белого хлеба из американской муки. Караван хлеба были «пушистые», при надавливании они принимали прежнюю форму, но ощущения сытости такой хлеб не вызывал. Черного же хлеба совсем не было.

Большое деревянное здание клуба было мне знакомо. В качестве дневального (скорее — сторожа) в нем жил мой товарищ по ЛП «Полярный» Семен Шереметев — парень очень расторопный. Он играл на трубе в духовом оркестре «Полярного». Где-то в бывших гримерных и костюмерных клуба мы и устроили себе логова. Вскоре к нам присоединился еще один трубач с «Полярного» — Исаков. Так началась моя новая жизнь «на воле».

Я достаточно хорошо знал, что должен делать вольный художник прииска. В сущности, он должен делать все то же, что и художник-«зек». Небольшая разница была лишь в том, что я был художником не только прииска, но и клуба. Однако замполит мне раз и навсегда сказал, что я в первую очередь художник прииска. Из этой антиномии я не всегда удачно выпутывался, так как у клуба были свои требования к художнику. Все служившие в течение пяти лет на прииске им. Водопьянова начальники клубов не были довольны мной, так как я все силы и время отдавал наглядной пропаганде и агитации по линии прииска. Моя работа состояла из написания ежедневно лозунгов, лозунгов и лозунгов, я делал стенгазеты, различные «панно» для оформления промприборов, а к праздникам писал еще и портреты вождей. Кроме того, в мои обязанности входило постоянное наблюдение за доской показателей, с чем я был знаком чуть ли не с 1938 года.

К клубной работе меня вообще не влекло, так как в художественной самодеятельности в Хатыннах кроме хороших людей подвизалась всякая бездарная братия, уклоняющаяся от тяжелых работ. Были и просто проститутки. Но волей-неволей общаться с ними было необходимо. Меня уберегало то, что я нахо-

- 144 -

дился непосредственно под началом заместителя начальника прииска по политической части.

Я стал постоянным посетителем разных кабинетов Управления, где брал цифровые данные для Доски показателей и другие сведения. Работы было очень много, в предавральные дни (а авралы объявлялись чуть ли не ежедневно) я писал сотни лозунгов на газетных листах, затем Семен Шереметев расклеивал или прибавлял их гвоздями в разных местах поселка. Писались лозунги и для забоев, но уже не на бумаге, а на бязи, на мешках от муки и т.п.

Денег я получал совсем немного, так как по документам проходил не как художник, а как сторож или дневальный клуба. По штатному списку (расписанию) художник на прииске «не полагался», и этот закон все мои шефы по прииску им. Водопьянова обходили по-разному. Кажется, я числился чуть ли не ассенизатором!

Впрочем, на пропитание много денег не требовалось. Мы получали соответствующие карточки, по которым и столовались, и кое-что получали еще за наличный расчет из магазина. Американские продукты (белый хлеб, яичный порошок, пресованная колбаса, тушенка, горчичное масло) — очень поддерживали нас. Из обмундирования у меня откуда-то появилось коричневое пальто и коричневые же краги. Вид у меня был довольно странный, полувоенный и кое-кому даже внушал подозрение. Но это было предметом только заочных разговоров. Надо признать, что очное отношение ко мне со стороны всего административно-инженерного

аппарата прииска было очень доброжелательным. Все это были чисто гражданские люди-договорники, далекие от органов НКВД.

Между тем, язвы на ноге не заживали. Хуже того, не наладив еще тесных отношений с мед частью, я несколько запустил ногу, язвы увеличились, хотя не вызывали никаких болей. перевязки ничего не давали, так как я по-прежнему работал стоя. Зато я познакомился с очаровательной медсестрой Екатериной Петровной Дергачевой, муж которой, Михаил Евграфович Левин был начальником строительного цеха прииска. Екатерина Петровна, высокая, необыкновенно стройная и с мягкими манерами женщина была для меня светом на Колыме, хотя никаких душевных движений в мою сторону не делала и не думала делать. Она была счастлива с мужем. Да и я, собственно говоря, не позволял себе ничего особенного. Нарисовал и подарил ей два ее портрета. Очень редко ходил в гости. От «интересных» разгово-

- 145 -

ров я не то чтобы отвык (я никогда и не привыкал к ним), но не умел их вести. Да и Екатерина Петровна несколько не тянулась к ним, держала себя строго. Видимо, она еще не раскусила, что я за человек. Между прочим, разговор обо мне, как о человеке, не внушающем доверия, передал мне именно Левин. Так или иначе, мой «водопьяновский роман» был вполне платоническим. Когда Левина с женой перевели на Индигирку, то на прощание мы даже не поцеловались.

Я пишу все это потому, что Екатерина Петровна не только украсила мое пребывание на прииске им. Водопьянова, но и вылечила мою ногу. Я пролежал в приисковой больнице, кажется, более месяца, и за это время благодаря применению специального концентрата из стланика с шиповником (снаружи и внутрь) мои язвы затянулись. От них остались только темные пятна.

Моя переписка с Алей Терновской была очень нерегулярной. В ответ на мое письмо к смерти ее мамы (1939 год) я получил следующее:

15/XII — 42 г.

Милый Георгий Карлович, два года прошло с тех пор, как Вы написали мне. Мой ответ Вы, должно быть, не получили. А мне так хотелось поблагодарить за письмо Ваше, необыкновенно хорошее, за Ваши прекрасные слова о маме, которые ей самой доставили бы большую радость. Так всегда получается, что я виновата перед Вами. В наказание мне, мы «переписываемся» в каких-то сверхчеловеческих масштабах: с одного конца земли на другой и раз в три года! Так мне не хватит и жизни, чтобы получить от Вас хотя бы десять писем. А мне бы хотелось их получить. И, правду говоря, я столько раз принималась писать Вам и столько раз писала мысленно. Обычно я легко пишу, а вот Вам, не знаю отчего, не могу, боюсь, наверное?! (до сих пор!!). Если только есть у Вас желание, Вы помогите мне немножко: напишите мне первый, побольше о самом себе, о своей самой будничной работе и жизни; ведь я так мало Вас знаю, и у меня не хватает храбрости быть уверенной, что Вы совсем такой, каким я себе представляю. Только не буду я для Вас интересным собеседником, потому что Вас прежде всего интересуют вопросы искусства, а я так далека от них сейчас, и вообще очень невежественна. Кстати, мне хочется сказать Вам совсем откровенно о себе самой, потому что Вы должны тоже, прежде всего, знать с кем переписывается, а Вы совсем меня не знаете!

- 146 -

Во-первых, это бесконечно ленивое бездеятельное и в то же время — эгоистическое, жадное и требовательное существо. Вот (и Вы не должны думать, что это моя обычная манера «самоуменьшаться»). С тех пор, как мы виделись, прошло почти десять лет, больно сознавать, но за это время мной не приобретено никакой «формы» (помните, Вы писали, что коль скоро содержание есть, так мне предстоит самое радостное — приобретение формы...). Институт я окончила, но это ничего не значит, кроме того разве, что я могу получать оклад архитектора и, в сущности, начать учиться сначала. Что и надо было бы сделать. Но Господь Бог, вложив в меня такое сознание, не позаботился ни о достаточной любви к делу, ни о честолюбии и энергии. Вот видите, приобретено мало, не знаю, много ли растеряно; я очень, очень боюсь постареть; боюсь утратить остроту восприятия и ощущение какой-то полноты, свойственные молодости, способность наделять все окружающее внутренней жизнью (помните Ассоль, «Алые паруса»). Жизнь я люблю, пожалуй, сильнее, чем раньше, самую земную, так, как мой любимый старый язычник — Кола Брюньон, стараюсь я научиться ценить ее, но разве русские способны на практике жить умно? Не знаю, я, кажется, могу всю жизнь просидеть в кресле, уставившись в одну точку и наблюдая, как моими добрыми намерениями мостится широкая дорога в ад... (и самое досадное, что ведь ни одного приличного греха не будет на счету этой грешницы!).

Ну, оставляю эту «безрадостную» тему, уверена, что Вы строгий судья и согласитесь со мной, когда сами увидите.

Кончаю. И меня почему-то не оставляет чувство стыда, будто я что-то не так сделала...

Напишите же мне! Напишите о Дальнем Востоке, я собираюсь в будущем уехать туда и совсем не знаю его, представляю только как родину женьшеня. Всего Вам хорошего.

До свидания, ведь увидимся же мы когда-нибудь?!

Мой адрес все тот же: Москва 2, М. Могильцевский пер., д. 4^А, кв. 4.

Перечитала Ваше письмо, помните ли Вы его? Захотелось на многое откликнуться, затем спросить, т.к. не все мне понятно и главное — уверить, что Вы напрасно боитесь отстать от жизни и взглядов в современном искусстве (только, пожалуй, такая задача мне не по силам), но буду ждать Вашего ответа и не успокоюсь, пока не получу его.

Аля.

- 147 -

В этом письме Аля ничего не писала о том, что потеряла мужа — Мишу Шархуна. Вероятно, это было в предыдущем письме. Нет. Я ошибся. Вот телеграмма, которую я получил в ответ на свое письмо, в котором откровенно написал Але о своем «рязанском романе», оборванном моим арестом.

«Хатыннах Хаб кр Комендатура Вагнеру: Отвечаю пока телеграммой единственный настоящий мой друг убит на верное вас очень любят и ценят люди Хатыннах»

Подписи не было. Дата: 1943 год.

Итак, Аля была замужем. После гибели «единственного настоящего друга» на что я мог рассчитывать? Вероятно, я впал тогда в уныние, но события стали развиваться неожиданным образом.

Приближалась зима 1942—1943 годов. В клубе стало очень холодно жить, особенно ночевать, и я выхлопотал себе комнату в близстоящем двухэтажном кирпичном доме. Вскоре ко мне подселили приискового парикмахера Зака и бухгалтера Карпова. В дневальные к нам напросился один активированный «бытовик», которого не направляли в забой по непригодности.

Переселился я очень вовремя. Однажды, уже зимой я неожиданно проснулся и с ужасом увидел, что все здание клуба охвачено огнем. Кругом было светло как днем. Первой мыслью было: живы ли Шереметев и Исаков, не сгорели ли они? Слава Богу, они успели выскочить. Почти всю ночь горело прекрасное здание, и сотни людей ничего не могли предпринять, так как на прииске не было воды. Как и на «Мальдяке», речушка Хатыннах за зиму замерзла до дна. Единственное, что мы могли делать, это растаскивать крючьями еще не обгоревшие части клуба да забрасывать снегом стены соседних деревянных домов, от которых уже шел пар. Здания мы отстояли, а от клуба осталась гора обгоревших бревен. Началось следствие, выяснилось, что виновником оказался музыкант Исаков, который улегся спать около раскаленной печи и проснулся лишь тогда, когда огонь стал задевать его топчан. Кажется, Исаков, будучи еще «зеком», получил добавочный срок. Впрочем, вряд ли он был «зеком», ведь весь прииск им. Водопьянова состоял из вольнонаемных. Вероятно, Исаков просто получил второй срок. Хрен редьки не слаще.

Война продолжалась, вести с ее фронтов стали более обнадеживающими, но работать на прииске им. Водопьянова становилось все труднее. Это был старый прииск, золотиносные пески

- 148 -

которого были выбраны почти до основания. Геологи все изыскивали нетронутые участки, но они быстро отрабатывались. Начинаясь вторичная промывка некоторых отвалов. Годовой план выполнялся ценой невероятных усилий. Из Магадана приезжал грозный Гагкаев (начальник Дальстроя? точно не помню), выступал на общем собрании, произносил страшные речи, угрожая чуть ли не штыками. В выходные дни в забой на добычу золота выпроваживалась из поселка вся его обслуга, каждый человек должен был добыть хотя бы несколько граммов этого металла. Те, кто не могли ничего добыть, меняли на эти граммы все, что могли, чуть ли не до последних штанов. Я работал по наглядной агитации почти круглосуточно. Кроме неотложной текущей работы на мои плечи свалилось оформление клуба, под который переделывался один из деревянных барачков. Благодаря искусству работников стройцеха интерьер клуба получился очень уютный, но внешний его вид оставался более чем непрезентабельными, и мне предстояло навести на него камуфляж. Вдохновителем всех этих работ был новый замполит Николай Михайлович Аксенов, как оказалось, родом из-под есенинского Константинова, то есть мой земляк-рязанец. Это был очень живой, активный, тянущийся к культуре человек, в

высшей степени справедливый. Устраивая общие собрания, он говорил не казенные речи, а читал лекции по истории, например, об Александре Македонском и т.п. Он многих расположил к себе и оставил по себе на приiske им. Водопьянова хорошую память.

Мне работалось с Я. М. Аксеновым очень хорошо. Он требовал много, но я не отличался ленью и пользовался с его стороны ответным добрым отношением. Не будучи в силах числить меня художником прииска, он утвердил такие нормы расценок художественных работ, чтобы я при полной нагрузке мог получить за месяц около 1000 рублей. По тем временам это был очень хороший заработок, я смог понемногу откладывать деньги на сберкнижку для возвращения «домой».

«Домой»? Я написал это слово машинально, так как никакого дома у меня уже не было. Нигде. Ни в Рязани, ни в Кадиевке, ни в Ленинграде. Вслед за вестью о смерти отца, тетя Нина сообщила мне, что не вернулся с фронта Володя, пропала без вести его жена Катя с сыном Игорем. И, наконец, та же верная тетя Нина осторожно подготовила меня к страшной весте: в ленинградской блокаде скончались от голода мама и Орик... А я, преступник, остался жив! Потом мне стало известно, что Орик, работавший в оркестре театра им. Кирова, должен был вместе с

- 149 -

мамой эвакуироваться в Пермь, но неудачная женитьба его на какой-то эстрадной певице довела Орика до психического расстройства, и он не поехал. Мама осталась при нем и заплатила своей жизнью за материнскую любовь... А. А. Быков вместе с Эрмитажем эвакуировался в Свердловск. Гибель брата Володи невольно растворялась на фоне страшных фронтовых известий тех лет. Гибель мамы и Орика воспринималась мной более трагично. Они могли спастись, но не спаслись, движимые сложными нравственными мотивами. Подвиг мамы, например, кажется мне не менее великим, нежели подвиг жен декабристов. А, может быть, ничего этого не случилось бы, останься я с мамой в Рязани? Против этого сознания вины я не мог выдвинуть никакого оправдания.

Николай Михайлович не давал мне погружаться в жизненную драму. Спасение было в работе. Главной нашей работой в годы войны было оформление промывательных приборов, а также «красных уголков» на различных участках большого прииска. Естественно, я мог обслуживать своими силами только ближайшие. Оформление промприборов сводилось к украшению их художественными «панно» на горняцкие темы, лозунгами, досками показателей и т.п. В столярных работах мне помогали рабочие стройцеха во главе с Левиным. Остальное я делал сам. На дальние участки меня возил с собой Аксенов на приисковом вороном коне, запряженном в санки. Я запомнил одну из таких зимних поездок. Мы были свидетелями совершенно особого северного сияния, получившего название «драпри». Разноцветные столбы сияния поднимались вертикально слева и справа симметрично, то есть совсем не так, как я наблюдал это зимой 1938 года на приiske «Мальдык». Навстречу нам попался караван с упряжками северных оленей. Была поразительная тишина, лишь слышалось пофыркивание оленей и снежный хруст под их копытами. Караван промчался мимо нас под светом луны, как некое привидение.

Да, я был бесконечно благодарен Н. М. Аксенову за то, что он относился ко мне как к равному. Во многих случаях он, не стесняясь, спрашивал у меня советов. Начальнической амбиции у него не было, как не было ее и у молодого начальника прииска им. Водопьянова Евгения Ивановича Азбукина. О нем я тоже сохранил хорошие воспоминания. Были, конечно, и другие. Один из них — Орлов — не звал меня иначе, как «барон Врангель»: «А ты, фон-барон Врангель, почему не в забое?» От посылки в забой, на земляные работы меня всегда ограждал Н. М. Аксенов.

- 150 -

Громадную духовную поддержку мне все время оказывала тетя Нина. После смерти мамы она стала для меня второй матерью и, будучи сама в эвакуации (в Елабуге), не переставала посылать мне материальную помощь, пока я сам не встал крепко на ноги. Очень дороги мне были фотографии родных мест и лиц, которые она присылала с надписями «Родина зовет», «Всегда с тобой»... Можно сказать, что в отношении меня тетя Нина совершила подвиг.

С победами на фронтах войны заметно теплее становилась атмосфера на приiske. Уже не приезжал гроза Гагкаев, не угрожал штыками. Кажется даже, что его сместили, но тут я могу быть неточен. Очень оживилась художественная самодеятельность. В новом клубе был поставлен чеховский «Медведь», для которого я на этот раз постарался сделать декорации, вызвавшие при открытии занавеса аплодисменты. Самодеятельный коллектив поселка «Ягодный» задумал инсценировать оперетту «Роз-Мари», и я был призван в «Ягодное» декоратором. Декорации мои представляли, конечно, невообразимый эклектизм, но тоже вызвали одобрение. С этим спектаклем ягодины ездили в Магадан и получили там какую-то премию. Из каких-то газетных

сообщений Аля узнала об этом и прислала мне поздравление! Мое пребывание в «Ягодном» было использовано для оформления клубного зала портретами. Мне заготовили подрамники, натянули бязь и не преминули выразить сомнение в том, успею ли я за два-три дня исполнить десять портретов. Я дождался ночи, когда все ушли, увеличил «рычковским» резиновым пантографом все портреты (для таких ночных авралов мы употребляли так называемый «чифирь» — крепчайший настой чая в пропорции 1/8 на стакан. Принимая «чифирь», можно было не спать две-три ночи подряд! Как выдерживало мое сердце — ума не приложу), а потом, не спеша, стал прорабатывать их сухой кистью. Этой техникой я тогда овладел достаточно.

Задник для природных сцен «Роз-Мари» написал Алексеев. Он все еще был на положении «зека». Золотарева и Кириллова я почему-то не видел. Костя Рычков работал в ягодинском Управлении чертежником. С ним у меня впереди будет встреча, очень важная. Здесь же хочу отметить, что, хотя мне пришлось пробыть в «Ягодном» за изготовлением декораций не один день, никто из вольнонаемных меня в гости к себе (не говоря уже о ночевке) не пригласил. Я ночевал в клубе.

На прииск им. Водопьянова я возвращался опять на попутном грузовике, но шофер, не доезжая одного перевала до при-

- 151 -

иска, высадил меня, так как ехал куда-то в сторону. Я пошел пешком. Была весна, солнце на вершине перевала хорошо пригревало, казалось, впереди уже не было ничего страшного (на самом деле страшного было еще много), зрела надежда на скорое возвращение «на материк». Теперь я твердо знал, что если мне и суждено будет устраивать новый «дом» (в смысле семьи), то я буду устраивать его с Алей. Ведь Людмила Константиновна никогда не решится на развод. Конечно, думы мои об Але были очень самонадеянными, она в своих телеграммах и письмах была очень нежна, но не подавала никакого повода к тому, чтобы я мог назвать ее своей невестой. Я шел по перевалу и громко пел...

На свое большое письмо с очень откровенным изложением моей рязанской любви я получил в ответ от Али такую телеграмму:

«1943 г. Хатыннах Хабаров края Комендатура Вагнер Георгий Карл Что за печальная повесть Ваша и моя бедные неразумные дети желаю Вам солнечного лета». Подписи не было. Я понял, что Аля имела в виду печальную повесть о Ромео и Джульетте...

А ближе к осени пришло и письмо. Вот оно (как хорошо, что я сохранил его!)

18 августа 43 г.

Скажите, чем я виновата, за что должна писать это письмо Вам — теперь, когда все мои мысли устремлены на Запад, где - война!!!

О, милый Георгий Карлович, я не могу быть благодарной, обращаясь к Вам, и напишу много такого, что не должна была писать «солдатка»! Получила Ваши письма и живу эти дни, отделенная светлым туманом воспоминаний. «Как будто снова девочкой я стала»... Особенно почему-то вспомнились зимние вечера в тот год, что Вы приезжали: возвращаюсь вечером домой, белеют сугробы в пустынных переулках, все качается в неверном свете фонарей, а я бреду, счастливая, одна, полная до краев ожиданием Будущего, воображая Ваши глаза и чудесную застенчивую улыбку...

Милый Георгий Карлович, вот открывается перед Вами то, о чем Вы только подозревали немножко. Я еще не все сказала. Но теперь Вы видите, что никак заклинания Ваши о «нерушимости юности» не могли показаться мне «дыханием архивного доку-

- 152 -

мента», так как это, прежде всего, мою юность воскресили бы Вы, а все, что связано с ней, имеет надо мной (как и над всеми, должно быть) какую-то необыкновенную силу.

Так, три года назад я проезжала Спасск, и когда пароход остановился у Спасской пристани, я поспешила наверх. Когда я поднялась на пригорок, у меня от волнения подкосились ноги и я села на дорогу, рыдая в три ручья. И всего-то я увидела издали, что кладбищенские деревья да мельницу, а какое счастье и боль испытала я в эту минуту! Потом я сама удивлялась, так как не ожидала от себя такой чувствительности, да еще слез (совсем на меня не похоже).

Так и теперь, хотя я именно в эти дни ждала Ваших писем, у меня потемнело в глазах, и голова закружилась, когда я увидела Ваше письмо в почтовом ящике.

Я у Вас в долгу и тороплюсь скорее высказаться. Но как сказать Вам? — «Я любила Вас», но нет, совсем не

так.

С самого детства у меня возникло к Вам какое-то особое отношение, я бессознательно убеждена была, что нас связывают какие-то «незримые нити судьбы», это выросло в ожидание Алых Парусов, и когда Вы приехали, я почувствовала свое счастье близко-близко...

Но все это хранилось за особой дверцей, и я даже думать себе не всегда об этом разрешала. И только когда Вы уехали... (а помните как я тогда убежала на Пасху?).

Вы пишете — Вам больно, что я не чувствую Вас близким человеком и считаю, что не знаю Вас.

«Близкий человек?» — не знаю, так я не сказала бы, наверное, потому что привыкла смотреть на Вас снизу вверх и потому что то, что я чувствовала, было как-то таинственное обыкновенной человеческой близости. А знаю ли я Вас? Мне кажется все-таки «не очень», как и Вы меня: когда мы начнем с Вами говорить, то ведь непременно откроются для каждого в другом новые нам люди, пусть если и не противоречащие созданному образу, то все-таки неизвестные.

Да разве нужно было влюбленной девочке знать? Душа была полна Вами, и ничего больше не нужно было мне тогда, я и глаз-то боялась на Вас поднять и старалась вовсе не смотреть... и наверное никогда не простила бы себе, если прочла бы в Ваших глазах — догадку... И все-таки она — была, но мне хочется думать, что не только от моего поведения происходила она, но и оттого, что Вы тоже как-то разделяли мои ощущения Судьбы?

- 153 -

Но нет, не пишите мне этого. Вот я отчиталась перед Вами и выдала Вам с головой ту девочку с косичками, что с таким волнением слушала Вас в Третьяковке.

Вспомним всем нам милую Татьяну и не будем судить ее строго.

Теперь мне хочется скорее ответить Вам — нахожу ли я Ваше письмо правдивым, я понимаю, как можно ждать ответа на этот вопрос. Милый Георгий Карлович, он ужасно трогательно звучит, этот Ваш вопрос: Боже мой, оно более чем искренне, мне кажется, написать так правдиво о себе для мужчины — целый подвиг, и я бы не смогла никогда!

И потом торжественно и навсегда объявляю Вам, что каждому Вашему слову верю абсолютно (а если возможно, даже больше!). И мне в голову не могло прийти, что то, что Вы пишете, — только «слова» (как Вы боитесь). Читая Ваше письмо и вчитываясь в Вашу судьбу, я испытывала сильное желание прежде всего Вас поругать, что и отразилось в энергических закорючках на полях Ваших писем. К сожалению, Вы не можете их прочесть, а я не могу Вам писать в таком вольном стиле.

Вы угадали, я все-таки думаю, что то, что Вы приобрели в области духа, стоит тех отношений, которые связывали большинство окружающей Вас молодежи. «Тени усопших гениев», -говорите Вы, но Вы сами знаете, как это несправедливо по отношению к ним! Это люди несравненно более живые, чем многие существующие, и если с ними беседовали Вы, предпочитая их окружающему обществу, то Вы не должны чувствовать пустоту, обращаясь к прошлому.

...Придется мне сознаться, что сейчас далеко не 18-е августа! Какое же именно число и месяц — не скажу, чтобы Вы не очень на меня сердились.

Дела «важные», «страшно важные» и неважные окружают и преследуют современного человека; из них, должно быть, самые важные — очереди и получение продуктов по карточкам, а неважные и просто занятия «от нечего делать» — письма, книги и размышления о предметах непрактических.

У меня настроение плохое, и я ворчу даже в письме к Вам, представьте же себе, какой я ангел для окружающих!

Тяжко мне сейчас, потому что человек, которого я люблю, наверное убит. И я наполовину тому причиной. Поэтому Вы простите мне это письмо нескладное, я постараюсь сейчас его кончить, чтобы совсем не испортить.

- 154 -

Я еще многое хочу Вам написать, о многом спросить, потому что давно уж мечтаю услышать человека, имеющего свою систему мировоззрения и выработавшего цельные взгляды. (Боюсь сейчас просить Вас об этом, но если Вы введете меня в свой храм, то знайте, что ввели человека, если и неспособного молиться, то уважающего всякую веру.)

Но это в другой раз.

«Но думая о Вас, я полон самых живых человеческих чувств...».

Я не знаю о каких, но должно быть, о самых дружеских чувствах, Вы говорите, во всяком случае, я твердо уверена (это не противоречит тому, что я писала вначале), что Вы никогда меня не любили, не любите и теперь; Ваше одиночество, изолированность от всех остальных женщин, письма Нины Владимировны, воспоминания юности — все это помогало Вам создать из меня образ женщины, которая, может быть, Вам нравится, Аннету, я же послужила только одним из материалов; а мое письмо...

«Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот верно знает сам,
Как сильно колокольчик дальней
Порой тревожит сердце нам...»

Письма к Вам часто пропадают, поэтому я уж перепишу это и постараюсь послать другим путем, если оно дойдет вторым, то разорвите.

Буду, как обещала, писать каждый месяц, а Вы почему мне ничего о здоровье не телеграфируете? Я Вас просила.

Карточку свою пришлю, хотя я вовсе нехороша собой, и лучше бы не посылать. А у Вас глаза такие грустные, что, они всегда такие?

До свидания, пишите, если будет желание, не дожидаясь моих писем. Желаящая Вам счастья и светлых дней впереди.

Аленушка.

Что я мог подумать о таком письме? Оно было строго, но все же не захлопывало передо мною дверь. В следующих письмах Али обращение «Георгий Карлович» сменилось на «Гурлик» (так звали меня в семье), а потом и на «Аксель», даже «милый Аксель» — по тому самому имени героя повести Келлермана «Ингеборг», в которое Аля вложила свое юное чувство ко мне.

Под Новый 1944 год я получил такую телеграмму: «Хатыннах Хбр Комендатура Вагнер Милый Аксель буду думать о вас под новый год пожалуйста почувствуйте».

- 155 -

Где я встречал тот Новый год? — не помню. В открытке, датированной январем 1944 г., Аля снова называет меня «милый Георгий Карлович», а в августовском письме — «милый Аксель». При столь больших интервалах в переписке, конечно, трудно было «душевно перестраиваться». Для Али 1944 год вообще был тяжелым, плохо себя чувствуя, она с большими усилиями защитила в Архитектурном институте свой проект. Для меня было дорого, что она ждала моего возвращения. Вот телеграмма от декабря 1944 г.

«Хатыннах Хбр края Комендатура Вагнеру С Новым годом милый Аксель надеюсь он непременно будет годом вашего возвращения будьте здоровы пишите».

А в августовском письме 1944 г. были такие фразы:

«Милый, милый друг, поверьте, наконец, что я даже хуже, чем хочу Вам казаться».

Что поддерживало в Але веру в мое скорое возвращение? Ведь, должно быть, я писал ей о временном запрещении выездов с Колымы! Правда, война близилась к финалу. Алексей Андреевич Быков вместе с Эрмитажем уже вернулся в Ленинград, с чем я его и поздравил. Кажется, вернулась в Москву тетя Нина. Здесь я должен сказать, что хотя тетя Нина и дружила с матерью Али (и с Алей отчасти), но очень опасалась моего соединения с Алей в будущем, так как считала ее неспособной.

Между прочим, Алексей Андреевич писал мне, что в моей судьбе, в попытках досрочного освобождения горячее участие принимала пианистка Мария Вениаминовна Юдина. Наиграв для грамзаписи любимый Сталиным концерт Моцарта, она думала в благодарность за это просить Сталина о моем освобождении. Чем я мог так заинтересовать Юдину? Разве только своей «судьбой»? Она ведь была большим романтиком. И вскоре это действительно вылилось в некий «почтовый роман». Между тем, телеграммы Али становились все роднее и роднее. Она подписывалась то «преданная вам старушка», то «благодарная навсегда Аленушка».

В одной из телеграмм были такие слова: «Мне тоже грустно без ваших писем знайте впереди необыкновенные дни наши Спаске потом — море». В этом уже угадывалось согласие быть вместе, чем я все эти годы и жил. Но, может быть, телеграммами Аля просто поддерживала мой дух? Письма были гораздо осмотрительнее. Вот письмо скорее всего от 1944 или 1945 года (без указания года):

«Милый Аксель... (и, вдруг, пятью строчками ниже: "Георгий Карлович"), Вы пишете о такой большой любви!!!

Мне трудно представить себе теперь, что это говорится обо мне, и я все отношу это к кому-то другому... Я немного представляю себе, что значат 7 лет одиночества...». И далее: «...Что я могу ответить Вам, милый Аксель? — прошедшее Вам известно, Будущее — неизвестно никому. Не лучше ли нам не говорить больше обо всем этом? Пять минут свидания скажут в тысячу раз больше и правдивее, чем все слова.

...Посылаю три (!) своих карточки... последняя, 44 г., подрисовала немножко, чтобы Вам понравиться — тщетное усилие сделать себя похудее и помоложе».

Я, конечно, понимал состояние Али. Она потеряла любимого мужа, с работой в архитектуре дело у нее обстояло очень трудно, а тут я стал «навязываться» со своей запоздалой любовью. Неизвестно ведь, что я собой представляю. Письма Али были нежны до предела, дальше которого Аля не считала вправе идти. В этом отношении она была гораздо умнее и честнее меня. Если уж говорить о честности, то был момент, когда, обескураженный каким-то холодным, вернее рассудительным письмом Али, я чуть было не поскользнулся. На короткое время я позволил себе подпасть под очень малодушное настроение, сформулировать которое задним числом психологически невозможно. Лучше описать все как было.

Говоря выше о своей симпатии к добрейшей Екатерине Петровне Дергачевой, я совершенно не коснулся физиологической стороны этой эмоции. И не случайно Екатерина Петровна была очень сдержанна со мной. Конечно, она понимала, что нравилась мне, но моя симпатия ничего ей не сулила. Я был уверен, что она счастлива с мужем, и с моей стороны было бы свинством навязывать ей себя. Для нее я был никто. Как я уже говорил, Левины уехали на Индигирку, и мое знакомство с ними оборвалось. (К стыду своему, я не возобновил его и позднее, когда получил письмо с Индигирки. Видимо, я хорошо осознал полную бесперспективность наших отношений.)

У меня было немало способов потушить в себе бесконтрольные эмоции. Лучший из них — это погружение в тот общий подъем, которым сопровождалось окончание войны. На меня, как на художника прииска, ложилось очень многое: создание различных победных панно, галереи знаменитых военачальников и пр., и пр. Откуда у меня брались такие силы, я и сам не знаю. На всесоюзной выставке художников я получил третью

премию. На выставку я посылал портрет Екатерины Петровны Дергачевой и портрет передового бригадира Дзибаева. Меня поздравляли и из Магадана, и из «Ягодного». Постепенно стали разрешаться выезды «на материк». В первую очередь разрешение получали передовые забойщики, отличившиеся на добыче золота. Я рискнул тоже попроситься у Николая Михайловича, но он очень просил меня повременить, ссылаясь на важность восстановительного периода. (Много позднее, уже в Москве, он сказал мне, что удерживал меня не по прихоти своей, а зная, что в центре страны далеко не все благополучно, и меня как бывшего «зека» могут ожидать разные неприятности.) Аксенов так много мне сделал хорошего, что на поставленный им вопрос: «Что же я буду делать один?» (это были очень искренние и предельно доверительные для бывшего «зека» слова), я тут же ответил отказом от своей просьбы. Что сказала бы Аля, узнав об этом?

По-видимому, Аля была уверена, что я вернусь сейчас же после окончания войны. Полагаю, что Алю могла уверять в этом неисправимая идеалистка тетя Нина, которая дружила с Алексеем Андреевичем Быковым и, конечно, от него знала о намерениях М. В. Юдиной просить Сталина «за меня». Одна из телеграмм начала 1946 года гласила:

«Хатыннах Хабаровск Комендатура Вагнер Умоляю телеграфируйте в каком направлении строить предположения Аля».

В другой телеграмме было:

«Аксель милый наконец-то наступает новый год счастливого благополучного пути берегите себя дорогой телеграфируйте до свидания».

Эту телеграмму я получил накануне 1946 года.

За 1946 год моя переписка с Алей была особенно активна. На два письма Али приходится до десятка моих писем, невероятно длинных. Главное содержание этой переписки 1946 года таково.

В июньском письме Аля мне пишет:

«Мой далекий, далекий Аксель,

...спасибо, мой милый и дорогой друг, за Вашу чуткость... Если бы я была верующей, то молила бы Бога, чтобы Вы были живы... Только вот теперь я понимаю, как мне будет тяжело потерять Вас, как поблекнет моя жизнь без Вас, без Вашего отношения ко мне».

- 158 -

Такого сердечного признания от Али я еще не получал. А вот августовское письмо 1946 г.

«Милый Аксель! Нет, не так! Здравствуйте милый и необыкновенный мой Аксель!

...Я повторяю Вам и сейчас, что не знаю, как я могла бы пережить, если бы что-нибудь с Вами случилось... Порвалась бы последняя реальная связь с той необыкновенной жизнью, полной иллюзий, которой я жила до маминой смерти...

Ведь Вы для меня теперь не прежний Аксель, а человек, которому я обязана большой духовной поддержкой, человек, которого я бесконечно уважаю, и, надеюсь и верю — друг, слово, которое так боюсь теперь произносить... Во всяком случае Вы мой «дальний друг», это я произношу смело. ...Что же с прежним Акселем? Его судьбы мы по-прежнему не знаем, мы же просто люди, а не боги...»

А что было в моих письмах? Перебирая сейчас эти пожелтевшие и мелко исписанные «трактаты», я удивляюсь, как мог быть столь нечутким, забрасывая Алю учеными рассуждениями по поводу присланных ею книг. Аля много мне прислала — Виолле ле Дюка, Брунова, Бунина, Безсонова, Максимова, Ильина и других — я, конечно, проглатывал это и в виду «отсутствия аудитории» слал Але одно письмо за другим. Варясь в собственном соку на Колыме, я посмел критиковать Брунова за слишком формальный анализ. Особенно «досталось» от меня Брунову за его теорию происхождения перистилия в письме от 28—IX—46 г., состоящем из нескольких листов. И бедная Аля вынуждена была все это читать!

В одном из писем я сообщал, что очень надеюсь в декабре 1946 г. уехать с Колымы. Я собирался устраиваться либо в Ярославле или в Суздале, либо в Коломне — все равно. Почему у меня была такая уверенность? — не знаю. И вообще надо сказать, что, судя по письмам 1946 г., я уже не строил иллюзий насчет совместной жизни с Алей в Москве. На московскую прописку я не имел права. Очевидно, с приближением срока отъезда с Колымы я постепенно заручался все более конкретной информацией. В этом мне очень помогала тетя Нина. Она списывалась с рядом знакомых, пользовалась их советами. По крайней мере, это чувствуется по письмам того времени. Мои архитектурные послания Але неизменно заканчивались словами: «целую Ваши милые руки, Ваш старый Гурлик». Почему не «Аксель?» И почему не «любящий Гурлик?». Видимо, у меня все же хватало скромности (или рассудка?).

- 159 -

Между тем, мое пребывание на Колыме подходило к концу. Сейчас воспоминания об этом последнем годе на Колыме похожи на какой-то калейдоскоп. Многие мелочи как-то потеряли свое значение. В памяти удержалось не так уж много, самое главное.

С Н. М. Аксеновым мы оформили первые открытые выборы в Советы, состоявшиеся в 1946 году. Нам удалось сделать празднично-неузнаваемым наш скромный новый клуб. Со всех стен на избирателей глядели мои работы. Конечно, в них была масса недостатков, и приехавший из Магадана художник Николаев откровенно указывал мне на них. Но я был далек и от тщеславия, и от соревнования с кем-либо. К тому же, кто знает, каким был живой Калинин или Микоян. Ведь на газетных фотографиях они все выглядели подчищенными.

Меня можно укорить в том, что я не отказывался от портретирования «вождей», особенно Сталина. Но дело было не в боязни отказа, а в том, что все мы, политически слепые люди, связывали с ним надежды на победу в войне. Да и мы ли одни? Пусть каждый, кто не думал так, бросит в меня камень...

К тому же не только я, грешный, но даже такие великие и неподкупные поэты, как Борис Пастернак и Осип Мандельштам, хотя и бездарно, но «воспевали» Сталина! «Не судите, да не судимы будете».

Я чувствовал, что в местных условиях мои портреты выполняют свою антигитлеровскую функцию, а на художественную карьеру я не рассчитывал. Наоборот, я попробовал даже вернуться к своим занятиям древнерусской архитектурой и в связи с приближающимся 800-летием Москвы посылал в радиоцентр поселка «Ягодное» краткие очерки по архитектуре Москвы. Их передавали по радио (без указания моей фамилии!).

Но ничто не вечно под луной. Николая Михайловича Аксенова перевели на другой прииск. Вместо него замполитом стал молодой Василий Антонович Фролов. Высокий, худощавый, приятный, он располагал к себе простотой обращения и отсутствием всякой амбиции (чего не было и у Аксенова), но это все же был не командир. Я работал с ним, идя уже по проторенному пути, но при первой же возможности завел разговор о

возвращении «на материк». Василий Антонович дал обещание, и я начал готовиться.

Прежде всего, я подсчитал свои денежные ресурсы. Оказалось, что у меня накопилось 9000 рублей. Я не собирался покупать дом, для первоначального периода устройства на работу в Ярославле или где-либо еще этого было достаточно. Далее нужно было основательно подготовиться физически. В дороге всякое

- 160 -

могло случиться. Я начал заниматься физкультурой и пить рыбий жир. Через некоторое время я уже мог выжимать несколько раз подряд двухпудовую гирию, причем не только правой рукой, но и левой. Наконец, мне хотелось увезти с Колымы хотя бы небольшой альбом памятных уголков и состояний природы. В связи с этим, а также с целью окончательного освобождения от бесконтрольных эмоций, я совершил одиночное восхождение на самую высокую в Хатыннахе сопку, которую за ее розовую снежную вершину я назвал Коралловой. Итогом был альбом зарисовок «Колыма». Все присланные Алей книги по искусству, все письма я поочередно бандеролями стал пересылать в Москву, и тут мой знакомый хатыннахский почтмейстер Соловьев оказал мне большую услугу.

Вышло так, что раньше меня уехал Сергей Стародуб. Он попросил у меня разрешения временно остановиться в Москве у моих родственников, то есть у тети Маруси. Денег у Стародуба было мало, и я ссудил его некоторой суммой. Это был замечательный человек — смелый, мужественный, правдивый. Я не знал, за что он получил срок, но у нас было много общего. Мы даже стали жить в одной комнате, долго беседуя перед сном. Я был рад помочь ему с остановкой в Москве. Вскоре после его отъезда начал собираться и я.

Мой отъезд сопровождался неожиданным сованием палок в колеса. На прииске им. Водопьянова меня включали в очередной список, а в Управлении СГПУ (в «Ягодном») кто-то меня вычеркивал. Об этом меня дважды ставила в известность жена Е. И. Азбукина (по телефону), работавшая в то время в «Ягодном». Возможно, что это делалось по «команде» с моего прииска. Точно не знаю. После двух таких срывов мне все же удалось остаться в списке, и вот настал день погрузки в грузовую машину. Конечно, я распростился в Хатыннахе со всеми, кто ко мне хорошо относился, прежде всего, с Фроловым и его женой.

Повез нас в «Ягодное» тот самый шофер Ершов, который в 1942 году привез меня из «Ягодного» на прииск им. Водопьянова. Скорее всего, именно в это время я послал телеграмму Але о своем возвращении, в ответ на которую успел получить пожелание счастливого благополучного пути. Стоял уже декабрь, колымская зима была в полном разгаре. Предстоял очень трудный путь, требующий величайшей выдержки. На что я надеялся? Трудно сказать. Скорее всего, на свои силы, на волю к жизни, на любовь к родным и к Але. Кроме всего прочего, я был убежден, что Добро должно победить.

- 161 -

ВЫЕЗД С КОЛЫМЫ

В сущности, выездом с прииска им. Водопьянова и начался выезд с Колымы, который превратился в целую эпопею не без драматических эпизодов. Ведь не один наш грузовик и не с одного прииска им. Водопьянова доставляли всех выезжающих сначала в поселок «Ягодное», а затем в Магадан. В поселке «Ягодное» перед зданием Управления СГПУ скопилась громадная толпа людей в ожидании автотранспорта. Как будет происходить погрузка — мне было абсолютно неизвестно. Сейчас я смело могу сказать, что не сведи счастливый случай меня с Костей Рычковым, я мог бы остаться еще на год на Колыме. Костя Рычков работал чертежником в Управлении. Он тоже уезжал (вместе с женой). Столкнувшись со мной, он проявил высочайшее товарищеское чувство, сказав, что у них уже сколочена компания из сотрудников Управления (бывших «зеков») и что они берут в эту компанию и меня. Кое-кого из этой компании я знал. Мы договорились дружно держаться вместе. Переночевал я у Кости. Следующий день ушел на получение продуктов (свои продукты я получил еще в Хатыннахе). Настал вечер. Автомашин должны были подать к вечеру. Сговорились действовать так. Часть нашей компании уже заранее проберется на автобазу, договорится с шофером (проще говоря — «купит» его), залезет в машину и подъедет к Управлению как бы со списком, по которому будут выкликать остальных. Естественно, эта рискованная операция была поручена наиболее активным управленцам. Я оставался в толпе. Стущалась темь. Толпа гудела. Наконец появился грузовик с брезентовым кузовом (это был «студебекер»), въехал в толпу, машину обступили массы людей. Кто-то из машины кричал: «Вагнер, где Вагнер?». Я едва продрался к машине, забросил туда свои вещи, а меня самого уже просто втоптали в кузов. Так я очутился среди своих. Это было похоже на чудо. По собственной инициативе всего этого я, конечно, проделать бы не смог. Как машину, как меня не смяла толпа? Как она дала выехать машине, чуть ли не последней машине? Я до сих пор не

понимаю. Все могло бы кончиться трагически.

Кажется, это действительно была последняя машина из СГПУ, то есть на этом вывоз людей в 1946 году заканчивался. Если бы толпа перед Управлением это знала, то нам было бы несдобровать...

Машина двигалась. В ночи проплывали мимо строения поселка «Ягодное», и скоро мы выехали на автотрассу Ягодное -

- 162 -

Магадан. Мы облегченно вздохнули и начали устраиваться поудобнее. Ведь предстояло ехать 600 км. (Как несовершенна психика человека! Ведь надо же было запомнить, как звали этого шофера, чтобы на всю жизнь сохранить о нем благодарную память! А мы, как вырвавшиеся из неволи беглецы, думали об одном: скорее в Магадан, скорее на пароход!)

Автофургон был оборудован железной печуркой, но мы ею не пользовались, так как в тесноте, да в хорошем обмундировании было вполне терпимо. Да и топлива никакого у нас не было. Ехали мы суток двое. Однажды ночью уставший шофер на минуту задремал, и наш «студебекер» соскользнул в заснеженный кювет. Своими силами он никак не мог из него выбраться. Часть моих товарищей пошла пешком вперед к видневшемуся вдалеке поселку. Другая часть, я в том числе, осталась у машины. Мороз крепчал. Из-за отсутствия дров нельзя было развести костер. Мы маршировали по шоссе взад-вперед. Настроение падало. Едущий за нами грузовик ничем не мог нам помочь, так как был слабосилен. Но появился встречный «даймонд», сверхсильная американская машина, для которой, кажется, не существовали никакие колымские трудности: ни мороз сверх 40 °, ни крутые подъемы. Даймонд зацепил нашу машину за задний мост и вытащил ее на дорогу. На колымской трассе взаимопомощь водителей была неписанным священным законом. Мы радовались, что отделались сравнительно легко.

В поселке, где нас уже ждали товарищи, мы поели, а нашему водителю дали передохнуть. На дальнейшем пути не были никаких происшествий, и я ничего не сохранил в памяти, кроме мертвого белого пейзажа вдоль трассы. Никаких эмоций, кроме ощущения смерти, он не вызывал.

Вдали стал показываться Магадан. Конечно, в Магадан нас не повезли. Для всех ожидающих отправки на «материк» близ Магадана был устроен громадный пересылочный пункт из множества бараков с двумя ярусами нар, с печками из бочек. Проволочного ограждения, кажется, не было. Пересыльный пункт делился на «зоны»: для вольнонаемных, для бывших «зеков», «политических» и бывших «зеков»-бытовиков. Первые две категории сосуществовали мирно, бытовиков же следовало опасаться, так как в большинстве случаев голодные, проигравшиеся в карты, без продуктовых запасов, они занимались грабежом.

На пересыльном пункте скопились тысячи людей. Посадка на морские судна задерживалась из-за того, что бухта «Нагаева» замерзла и стоящие в ней судна не могли выйти из нее без помо-

- 163 -

щи ледокола. Ледокола же не было. Его ждали, а он все не появлялся.

Чтобы сохранить в памяти самое главное из того, что придется видеть на пути, я заранее заготовил небольшой альбомчик и запасся цветными карандашами. На его первой странице я нарисовал общий вид Магадана со стороны пересыльного пункта. Это был уже целый город с большими домами и сетью улиц. Дымились какие-то большие трубы. За Магаданом, на другом листе я изобразил бухту «Нагаева». Рисунок датирован 14 января 1947 года.

В Магадане нам надлежало получить продукты. Это было очень трудное мероприятие, так как образовались колоссальные очереди, сначала за талонами, а затем в магазин. В самом магазине было несколько очередей (в кассу и в разные отделы). Давка, беспорядок царили невообразимые. Над всеми довлел страх: «А вдруг не успеем?» На это ушло несколько дней. Наша группа действовала по-прежнему сплоченно, мы распределили «роли» и запаслись необходимым. Будучи за эти дни в Магадане не один раз, я разыскал в городе школу, директором которой работал Арьков, тот самый «зек» Арьков, который был на лагпункте «Нижний Хатыннах». Теперь передо мной предстал видный, хорошо одетый мужчина, видимо, уже вкусивший некоторой власти.

В этой же школе работала жена В. Н. Остапченко. С нею у меня была теплая, душевная встреча. Оказывается, она ничего не знала о судьбе мужа. На дорогу она дала мне теплую ватную жилетку. Она просила навестить в Москве своих дочерей. Пользуясь временем, я ухитрился сделать зарисовки замерзшей бухты «Нагаева», порта с замерзшими в нем суднами. Эти рисунки имеют даты 14, 20, 22 января. Общая картина бухты была мрачная, но, глядя на стоящие корабли, мы невольно связывали с ними свои надежды, и они

казались нам спасителями. На пересыльном пункте мы пробыли 10 дней. Уже поползли слухи, что ледокола не будет, и всю скопившуюся массу людей развезут по ближайшим приискам, то есть на работу. Это означало, что все колымские трудности придется переживать сначала. Помню, что эта перспектива очень угнетала меня. Я уже начал думать, что все пропало...

И, вдруг, 24 января по радио было объявлено, что сегодня начнется посадка на морские транспорты. Для вольнонаемных предназначался пароход «Дзержинский», а для бывших «зеков» — «Джурма». К пересыльному пункту должны были пода-

- 164 -

ваться грузовые машины. Мы заранее должны были разбиваться на группы по 25 человек.

Машины начали подходить. Неорганизованная масса людей стала брать их штурмом. Многие, обуянные страхом опоздать на пароход, устремились к бухте «Нагаева» пешком. На пути от пересылочного пункта к порту образовалась лавина, напоминающая отступление какой-то армии. Наша группа и в этот ответственный момент проявила организованность. Был «куплен» один шофер, которому было обещано по 300 рублей с человека! Загрузившись в машину, мы двинулись к порту. Это был очень волнующий день, от его успеха зависело все дальнейшее.

При подъезде к порту открылась страшноватая картина: у его ворот скопилась многотысячная толпа неорганизованных людей с мешками, чемоданами и без них. Их в порт не пропускали. Пропускали только машины с организованными группами. Кажется, мы въехали одними из первых, прямо к трапу «Джурмы». Здесь было уже спокойно. Посадка производилась с проверкой документов. Наша группа заняла самое удобное место в центральной части еще пустующего нижнего трюма, где меньше всего должна была ощущаться морская качка. (Как я узнал потом, «Джурма» взяла в свои трюмы 5000 человек.) Первый, самый страшный акт выезда с Колымы, закончился благополучно. Обратного пути уже не было.

Кто во всей этой эпопее играл главную роль — я не помню. Во всяком случае, не я. Скорее всего, это были товарищи из Управления СГПУ. Костя Рычков вел себя очень активно. Его товариществу я очень многим обязан. Костя, его жена составляли крепкое звено. Мы вместе питались, по очереди сторожили вещи от воров. Посадка к ночи закончилась. За ночь отошли на рейд. В три часа 25 января тронулись в путь. (Все эти даты я беру из своего альбомчика, в котором зафиксирован весь путь из бухты «Нагаева» до бухты «Находка».) Впереди сквозь льды прокладывал путь ледокол «Литке», за ним шла наша «Джурма», сзади — громадный «Феликс Дзержинский», за ним — «Жан Жорес» и угольный транспорт. За ночь дошли до Птичьего острова.

27 января была пурга, судна теряли друг друга, беспрестанно гудели в белесой мгле и больше стояли, чем двигались вперед. Также было и 28 января. Мы все еще никак не могли вырваться из льдов. Разразился шторм. Лишь 29 января двинулись вперед. Шторм стих, лед стал слабее, и ледокол с угольщиком остались сзади.

- 165 -

30 января снова усилился лед. Встретили застрявшую во льдах небольшую низенькую «Советскую Латвию», везущую на Колыму женскую партию «зеков». Всю ночь простояли рядом, что-то перегружали на «Латвию», кажется, хлеб. К вечеру подошел «Литке» с угольщиком, и мы снова двинулись вперед. К утру вышли в полосу битого льда, потом пошла шуга, ледокол с угольщиком оставили нас, и мы пошли за «Феликсом Дзержинским» уже чистой водой. Стоял полный штиль.

1 февраля «Феликс Дзержинский» почему-то повернул к Сахалину, и «Джурма» была предоставлена самой себе. Начиналась качка. Мы, находящиеся в центре судна, слабо ощущали ее, но те, кто находился в носовом или кормовом трюмах, то взлетали вверх, то опускались вниз. Многие этого не выносили.

2 февраля весь день шли полным ходом. Выяснилось, что пролив Лаперуза забит льдами, поэтому через 4-й Курильский пролив вышли из Охотского моря в Тихий океан, чтобы между японскими островами выйти в Сангарский пролив и через него — в Японское море, а там — уже и берега нашей земли. В Тихом океане штормило (4—5 баллов), но мне удалось сделать зарисовку. К вечеру показался остров Хоккайдо.

4 февраля, ночью, вошли в Сангарский пролив, вдали сверкала цепочка огней города. Наконец, после обеда, вошли в Японское море. Я все время рисовал, являя собой жалкое подобие своего двоюродного прадеда, вице-адмирала Головнина, прославившегося изучением этих мест. Целиком поглощенный радостью возвращения, я тогда совсем не вспоминал, что именно здесь, в городе Хакодате на берегу Сангарского пролива два года томился в тюрьме мой знаменитый прапрадед. Хорошо еще, что у меня хватило смекалки зарисовать ночные огоньки Хакодате. Так неожиданно пересеклись судьбы вице-адмирала В. М. Головнина и его незадачливого правнука... В Японском море опустили акулам четырех умерших. Вероятно, это были бывшие «зеки»-бытовики. У многих из них кончился дорожный запас, судовая команда раздавала аварийный запас в виде заплесневелого

хлеба, но и он скоро иссяк, так как часть его отдали на пароход «Советская Латвия».

Группа голодных «блатарей», таких дерзких и наглых на Колыме, жалко толпилась у палубных кипятильников, заливая пустые желудки кипятком. Среди них и началась смертность. Никто не отвечал здесь за человеческую жизнь, она никому не была нужна, разве акулам! Я видел только четыре сброшенных в море трупа. А сколько их было за эти 10 дней?

- 166 -

5 февраля впереди показался берег нашей земли. После обеда прошли мыс у входа в бухту «Находка», весь вечер пробивали лед и ночью ступили на Большую Землю. Колыма осталась позади, да в моих альбомных зарисовках.

Хотя весь путь от поселка «Хатыннах» до бухты «Находка» занял около месяца, мне казалось, что я прожил большой отрезок своей жизни. Так много было дорожных страхов, опасений, так часто менялись благополучные ситуации с драматическими, так слаба была гарантия, что все пройдет благополучно, и так близко было ощущение неудачи, потери всего, что удалось пережить, что даже не верилось в реальность прибрежного песка бухты «Находка». А песочек этот был уже оттаявшим под февральским солнцем (бухта «Находка» находится на широте Владивостока, то есть Севастополя), по нему можно было ходить босиком! Берег был пустынным (баракы пересыльного пункта стояли в отдалении), на песке валялось множество белых красивых раковин. Подетски радуясь, я набрал несколько штук на память об этом страшном периоде своей жизни, из которого я чудом вышел живым. Мне было уже 39 лет. У меня не было половины зубов, а на ноге навсегда остались цинготные следы. Но я жил светлыми надеждами на встречу с любимыми людьми. Для этого еще нужно было пересечь девяти тысячные пространства Сибири.

- 166 -

НА «ПЯТЬСОТ-ВЕСЕЛОМ» В МОСКВУ

Пересыльный пункт в бухте «Находка» состоял из нескольких рядов брезентовых палаток с устройством лежбищ прямо на соломенной подстилке. Сквозь брезент просвечивало солнце, кругом был песок. Все это вселяло чувство какой-то уверенности. Первым делом мы должны были пройти санпропускник, то есть баню, что делали по очереди, оставляя дежурных около своих вещей. На это ушло дня два. Кроме бани, нужно было пройти еще какие-то процедуры. Народ на пересыльном пункте был, конечно, самый разнородный. Нас спасало от всяких эксцессов то, что мы держались сплоченной группой. Однажды ночью я проснулся, как и в Нижнем Хатыннахе, от какого-то непонятного предчувствия опасности. Около моего ложа стояли, покачиваясь, два живых скелета. Мне никогда, даже на Нижнем Хатыннахе не приходилось видеть столь исхудавших живых скелетов. Видимо, они уже давно-давно ничего не ели. У меня не было желания входить в

- 167 -

их судьбу, так как судьба каждого из нас была чревата разными неожиданностями.

Мы прошли какую-то регистрацию (кому она была нужна?) и стали готовиться к отправке. Часть людей не стала дожидаться и устремила во Владивосток в надежде попасть на пассажирский поезд. Наша группа не решилась на этот рискованный шаг. Мы составили твердый список людей на предмет занятия одного вагона. Старостой был выбран Костя Рычков. Вскоре на ближайшую железнодорожную ветку был подан длинный состав из красных товарных вагонов с нарами, один из которых наша группа и заняла. Костя Рычков, его жена и я заняли верхние нары. Василий Виноградский, кажется, был на нижних. Скорняков поехал во Владивосток. Зубов остался в Магадане.

Продуктов у нас было достаточно, чтобы не голодать. Готовить приходилось на единственной железной печке, привязывая котелки проволокой к трубе. Как мы ухитрились делать варево по очереди, как обходились с хлебом, — не помню. Неудобства были дикие, но все они преодолевались. Топливо (уголь) воровали на всех станциях, воровали с запасом, так как путь был дальний. Не помню, как обходились с туалетом, ведь среди нас были женщины. На остановках разделялись по разные стороны поезда, а в вагоне? Не помню. Дыры в полу вагона, кажется, не было. Но тогда представления о приличии как-то сместились.

На больших станциях, кто посмелее бегали на базар. В тот год местные жители еще выносили к поездам всякую домашнюю снедь. Не обходилось без грабежа. Ведь в поезде ехало много безденежных людей. Нередко

с базара неслись крики, раздавался топот бегущих воров, свистки милиционеров. Воровство дров и угля на станциях имело громадный размах. Недаром поезд № 504, перевозивший с Востока на Запад бывших заключенных, назывался «Пятьсот-веселый».

Что-то я не помню, чтобы мы где-нибудь посещали баню и, следовательно, изрядно завшивели. Вообще дорожные впечатления на обратном пути были бедны. Я вспоминаю заснеженный Байкал, от него я не вынес никакого впечатления. Во время остановки в Новосибирске я бегал на вокзал, чтобы дать телеграмму в Москву, тете Марусе. Запомнилась новая конструктивистская архитектура вокзала, забитого тысячами людей, как будто шла гражданская война.

В Ярославле Костя с женой сошли с поезда. Где-то в ближайшем городке у Кости был родительский дом. Я расстался с этим скромным человеком, который в трудные моменты проявлял массу

- 168 -

энергии и инициативы. К сожалению, больше о Рычкове я никогда и ничего не узнал. А интересно было бы встретиться и многое уточнить в бледнеющих воспоминаниях.

После Ярославля мы где-то очень долго стояли, так как по причине гололеда поезд никак не мог одолеть подъем.

При приближении к Загорску возник вопрос: куда загонят наш поезд? Мы сомневались, что такой вшивый, полуворовской состав впустят в Москву, на Ярославский вокзал. Кто-то высказал мысль, что поезд по окружной дороге переведут на южное направление от Москвы и разгрузят в Люберцах. Было внесено предложение высадиться на ходу в Загорске, чтобы дальше добираться до Москвы на электропоезде. Часть людей из нашей группы, в том числе и я, приняли этот план. Показался Загорск. Я с волнением всматривался в купола Лавры. Как ни была голова занята Москвой и встречей с родными, я не мог не залюбоваться сиянием куполов Лавры, видимо, отреставрированной после войны. Это меня приятно удивило. Поезд шел очень медленно. Я стал выбрасывать свой скарб, а затем выпрыгнул и сам... Почему-то совсем не подумал о том, что меня ведь будут встречать на вокзале, согласно посланной мною из Новосибирска телеграммы.

Дождались и сели в электропоезд. Впервые за много лет сидели на отполированных скамьях, а не валялись на чем попало. Обменивались мнениями, во что переодеться в Москве. Один из нас, бывший инженер из СГПУ, высказался за покупку кожаного пальто... «Имейте в виду, ребята, — сказал он, — придется еще нам немало кочевать по разным поездкам и пересылкам». Тогда мы хором не согласились с ним, но он был не далек от истины...

И вот, наконец, Москва, Ярославский вокзал. Как в полусне, мы вышли в город, окунулись в его шум, трамвайные трезвоны, мелькание разных огней. Я принял твердое решение сбросить на вокзале завшивевший полушубок, купить в первом же комиссионном магазине демисезонное пальто и только в таком виде явиться в Теплый переулок, где жили Кожины.

Так я и сделал. Вернувшись на вокзал, я отдал свой хороший полушубок какому-то знакомому по вагону и поехал в Теплый переулок. Почему-то (вероятно, от радости) не подумал о бане, о насекомых, которых мог занести к Кожиным. И вот я у знакомого двухэтажного кирпичного дома. Звоню, открывается дверь... Дальше начался такой переполох, что трудно описать.

Было 1 марта 1947 года. Прошло 10 лет.

- 169 -

«АЛЫЕ ПАРУСА»

Вскоре с Ярославского вокзала вернулся Александр Федорович. Он картинно рассказал, как пришел поезд «Пятьсот-веселый», как из красных вагонов стал вытекать поток плохо одетых людей, как потом стали выносить больных, а меня все не было и не было. Наконец, он пошел по вагонам, думая, что я где-нибудь лежу больной... А, может быть, и мертвый! Ужасно! Как это я не сообразил о возможности такой ситуации. Но хорошо все, что хорошо кончается. Тетя Маруся, которая всегда относилась ко мне особенно тепло, предусмотрительно оповестила Алексея Андреевича Быкова (он был в Москве в командировке) и Людмилу Константиновну. Разумеется, тут была тетя Нина, а из дочерей тети Маруси Таня (Наташа жила на другой квартире). Про Алю никто (кроме тети Нины) еще ничего не знал. Да и как было совместить ее с Людмилой Константиновной? Невозможно передать сумбурный разговор, который велся всеми сразу, я отнюдь не хотел завладеть им путем рассказа о своих приключениях. Они отошли куда-то на второй план, так как все было переполнено радостью возвращения. Конечно, как-то само собою разумелось, что я поживу в Москве, а там видно будет. Надо сказать, что никаких конкретных деловых планов у меня не было, о чем я теперь вспоминаю со стыдом: время было трудное. Жизнь после войны была далеко не налажена. Хлеб отпускали по карточкам.

Так называемый «доварок» был никудышный. Семья тети Маруси немного поддерживалась пайком, который выдавался ее трем колли. Мне особенно запомнились ароматные лепешки из гороховой муки. А тут еще я нагрязнул. Чувство стыда, совестливости почему-то не давало о себе знать. У меня на первом плане были эмоции. Они так захватили меня, что я допустил ряд ошибок.

Во-первых, я не поставил себя правильно с Людмилой Константиновной. Радость встречи с ее стороны была очень велика, она выражала это откровенно, и у меня не хватало мужества сразу сказать ей все прямо. Сказать, что возвращение к прошлому невозможно. Вероятно, это был один из самых малодушных, может быть, даже постыдных поступков в моей жизни.

Во-вторых, я не сразу пошел к Але. Что-то мешало мне. Поскольку тетя Маруся не знала о наших отношениях, сложившихся при переписке, то Аля и не присутствовала при моей встрече.

В третьих, Алексей Андреевич почему-то очень настойчиво тянул меня к Марии Вениаминовне Юдиной, говоря, что я мно-

- 170 -

гим обязан ей. Было от чего растеряться, особенно под наплывом всех эмоций сразу. К охватившим меня чувствам нужно прибавить и чувства родственности к моим двоюродным сестрам Наташе и Тане, очень тепло меня встретившим. У Наташи только что родилась дочка (Ксюта), Таня из девочки выросла в чудесную девушку, уже проявившую себя в искусстве. А я отстал от света, одичал, во многом был наивен. Б-р-р! Жалок же я был, вероятно, со стороны.

Моя первая встреча с Алей состоялась только 5 марта. Я знал, что она жила на старой квартире в Малом Могильцевском вместе с Лизой, сестрой Миши (погибшего мужа). Купив пирожных, я отправился к ним. Лиза тактично удалилась куда-то, так что нашей встрече никто не мешал. Но мы не бросились в объятия друг к другу. Нет. Я целовал руки и запомнил только светящееся от радости лицо Али. И это говорило мне много. Потом пришла Лиза, пили чай, я видел, что обе они давно не ели пирожных, и мне было радостно их угощать. Кажется, в тот день я подарил Але книгу о Рерихе с очень многозначительной надписью. Потом была вторая, третья встречи, и только 17 марта, когда мы уже довольно-таки сблизились друг с другом, о многом переговорили, я не устоял и обнял Алю. Мы слились в долгим поцелуе... Вот я и приплыл к Але на «Алых парусах». Этот поцелуй все и решил. Людмиле Константиновне при одной из встреч я сказал, что соединяю свою жизнь с Алей. Она плакала. Мне было до предела стыдно, но я не чувствовал себя каким-то обманщиком. Ведь до развода дело так и не дошло, и со своей стороны я не давал каких-либо обещаний. Все было на уровне эмоций. Но теперь этого было мало. Нужны были определенные действия.

Мария Вениаминовна, у которой я был с Алексеем Андреевичем, произвела на меня сильное впечатление. Это была необыкновенная по силе духа женщина, не только пианистка, но и философ-богослов, так что я почувствовал себя перед ней каким-то птенцом. До сих пор не могу понять, чем я ее заинтересовал. В тот вечер разговор шел об изобразительном искусстве, то есть на тему, наиболее для меня близкую. Обменивались мнениями об искусстве Н. К. Рериха, в чем, как ни странно, наши вкусы сошлись. У нас завязалась переписка, очень эмоционально-императивная с ее стороны. М. В. Юдина в мою честь дала в Доме Ученых концерт (вернее — посвятила его мне), но я написал, что строю свое гнездо с Алей. Это положило конец нашей завязавшейся переписке, в которой Мария Вениаминовна очень пере-

- 171 -

оценивала меня, строила романтические планы. Мне стоило немалых трудов, чтобы привести все эмоции в равновесие. Но дружба наша сохранялась. (К сожалению, после смерти М. В. Юдиной мои воспоминания не были включены в посвященный ей сборник. Помешало упоминание Сталина.) Романтические письма М. В. Юдиной я счел своим долгом возратить ее племяннику Кузнецову. Хватит ли у него смелости опубликовать нашу переписку?

Придя как-то вечером от Али домой, к тете Марусе, я обнял ее, расцеловал и рассказал все об Але.

Против моего соединения с Алей была тетя Нина, но она высказывала свое мнение «закулисно», почему у Али на всю жизнь сохранилось чувство отчуждения к тете Нине. Это было неприятно.

Тетя Маруся и Александр Федорович устроили торжественную встречу Але в Теплом переулке, потом посадили нас на такси, и мы временно перебрались на квартиру к Екатерине Александровне Левашовой — Алиной тете, на Трехгорный вал. Вскоре мы перевезли все вещи Али из Малого Могильцевского к тете Кате и я, как бы автоматически, вошел в их семью, хотя мы еще никак не оформили наши отношения.

Правда, некоторое время я жил как бы на два дома. Квартира тети Маруси стала для меня настолько

родной, что я не мог от нее «оторваться». Да и сама тетя Маруся была ко мне настолько добра, что я не хотел с ней расставаться. К тому же ее красота всегда привлекала меня. Полагаю, что тетя Нина справедливо ревновала меня, тем более, что в течение всей моей колымской эпопеи неустанно поддерживала меня и жила любовью ко мне. Перед обеими своими чудесными тетушками, перед светлой памятью о них я низко склоняю голову. Очень многим я обязан и Александру Федоровичу Рубцову.

Тетя Маруся и Александр Федорович много сделали для того, чтобы в обход закона прописать меня в Москве. Это никак не удавалось. Я уже начинал чувствовать себя очень беспокойно без работы. Повторяю, время было трудное, хлеб давали по карточкам. Мои сбережения таяли. Когда денег осталось примерно на один месяц жизни, я принял решение ехать в Рязань, где директор Художественного музея брал меня на работу в качестве научного сотрудника. Пренебрегать этим было легкомысленно. В июне или июле 1947 года я отправился на пароходе в ту самую Рязань, где 10 лет тому назад меня посадили в тюрьму. Ехал я вместе с Екатериной Александровной, которая отправлялась на отдых куда-

- 172 -

то дальше по Оке и Волге. Нас провожала Аля, и, как она мне сказала позже, ее охватило чувство ревности, что я еду не с ней, а с тетей Катей.

Странное чувство овладело мной, когда вдали показалась громада рязанского собора, рядом с которым был музей. Не могу назвать это радостью. Нет! Было сложное чувство вышибленности из колеи, в которую нужно было во что бы то ни стало снова войти. Если я не сумею этого сделать, то все пропало. Почему-то все же у меня была уверенность в том, что я должен восстановить свое положение, должен вернуться к прерванным занятиям. Без них я не представлял себе жизни. Откуда была такая уверенность? О своих способностях я не был высокого мнения. Вероятно, тут действовала надежда на усидчивость, работоспособность, целенаправленность. А цель была одна: возобновить и продолжить занятия древнерусским искусством, в частности архитектурой. Все эти тогдашние мысли настолько врезались в мой мозг, что я много лет подряд вижу тяжелый сон моего возвращения в Рязань с чувством страха, надежд и неуверенности. Интересно было бы знать, совпадает ли это с теориями Фрейда и Юнга.

В музее меня очень радушно встретила Анна Матвеевна Лазарева, та самая, на глазах которой 10 лет назад происходил мой роман с Людмилой Константиновной, а потом и арест. У меня не было продуктовых карточек, и я подкармливался у Анны Матвеевны. Прописать меня у себя на квартире согласилась моя старая знакомая Наташа Орлова, сестра тех братьев Орловых, с которыми я дружил еще в Спасске, а затем в Рязани. Но фактически я жил в комнатухе при Художественном музее. Директор музея Владимир Филиппович Малиновский и сотрудница музея Мария Федоровна Сырова встретили меня очень хорошо. Сон как бы не оправдывался.

Я с головой окунулся в переустройство экспозиции Художественного музея и начал писать книгу о старых архитекторах и художниках Рязани. Вскоре ко мне пришел заведующий учебной частью Рязанского художественного училища Борщев и пригласил читать лекции в училище по истории русского искусства. Это по прошествии 10 лет, занятых чем угодно, но только не историей искусства! Но желание наверстать упущенное было столь велико, что я согласился. Помню, как на общей лекции о советской живописи Борщев и другие преподаватели пришли проверять меня. Но все сошло благополучно. Вскоре я уже читал лекции в городском клубе, а потом и в вечернем университете МВД, в самом здании МВД, в той самой гостинице «Штеерт», в подва-

- 173 -

лах которой я сидел в январе 1937 года. Помнится, один из слушателей в шутку сказал: «Вот как бывает! То Вы сидели здесь, а теперь читаете нам лекции!» Я развел руками.

В Художественном училище я познакомился с Ариадной Сергеевной Эфрон, дочерью Марины Цветаевой. Она, как и я, только что вернулась из лагеря. В училище она преподавала графику, была очень остроумна и окружена вниманием. В это окружение я почему-то не вписался. Скорее всего, потому, что я никогда не обнаруживал склонности к поэзии, а творчества Марины Цветаевой просто не знал. При таких обстоятельствах сближаться с Ариадной Сергеевной Эфрон мне было стыдно. Но единство судеб, конечно, не могло не сказываться. Это проявлялось во взаимной теплоте обращения и в чувстве общности психологии, что отличало нас от других педагогов. Вдобавок ко всему, я признавал, что уровень интересов Ариадны Сергеевны, дружившей с Борисом Пастернаком, был выше моего. Такой тонкости восприятия жизни, как у нее, у меня не было.

Живя один в Рязани, я старался всеми правдами и неправдами почаще ездить в Москву. У Али с детства было недомогание, выражающееся в сонливости днем и бессоннице ночью. Из-за этого она с трудом защитила свой архитектурный проект и испытывала затруднения с работой. Одно время она зарисовывала шелковые платки в

Художественном комбинате, я пытался ей помогать в сочинении орнаментов, но должен был признать свою отсталость. Потом искусствовед Борис Иванович Алексеев, старый знакомый Алиной мамы, пробовал помочь Але с заказом на эскизы декоративных ваз. Но и из этого почему-то ничего не вышло. Аля очень страдала из-за своей трудовой неустроенности, а я — из-за того, что мало чем мог ей помочь. Пригласить к себе Алю у меня еще не было никакой материальной возможности. Зарплата у меня была скромная, возможности приработка почти не было. Я ухитрялся устраивать разные выставки, за оформление которых получал лишнюю десятку-другую рублей. Но этого было позорно мало. Отчасти поэтому я очень долго не решался вступить с Алей в настоящую супружескую жизнь. О разных предупредительных средствах я по-прежнему ничего не знал. Аля даже начала удивляться, здоров ли я. Нужно было, чтобы наступило лето 1948 года, нужно было Екатерине Александровне снять «дачу» в Старой Рузе, нужно было мне с Алей очутиться в прелестной подмосковной природе с пением соловьев, чтобы однажды ночью она сказала мне: «Кажется, ты даришь мне бэби?» Так, благодаря удивительной доброте и снисхо-

- 174 -

дительности Али я стал мужчиной. И это в 40 лет! Некоторые могут не поверить.

Вскоре я получил месячный отпуск, увез Алю в Рязань и тут я испытал счастье настоящей полноценной любви.

Увы! У нас тогда было только одно счастливое лето. Об этом волшебном лете в рязанских лугах, на отдаленных окских песчаных пляжах, где над нами не только как бы развернулись гриновские «Алые паруса», но где мы чувствовали себя чистыми язычниками, об этом волшебном лете теперь, когда Али нет на этом свете, я уже не могу детально вспомнить. Не имею права. Да и душевных сил нет. К тому же радостная обстановка неожиданно начала меняться.

Вскоре меня стали вызывать в Областной комитет по делам искусства, задавать какие-то неприятные вопросы, а однажды директор сказал мне, что из Управления его просили дать мне расчет, вернее, чтобы я подал заявление об уходе с работы. Особую активность проявило начальство Отдела культуры Облисполкома — Климаков и Князев (ныне покойные), которые совсем недавно принимали меня, правда, не без подозрений, на работу в музей. По наивности я ничего не понимал. Приехавшая Аля поведала мне, что у нас может быть ребенок. Увольнение с работы, безработица, бездомность и... ребенок! Я был в отчаянии. Мы порешили с Алей о неизбежности аборта. Тетя Нина помогла деньгами. Аля перенесла все мужественно. За оставление меня на работе хлопотали в Москве братья Пироговы. Никто из нас не знал, что уже действовал тайный указ Сталина об административной высылке из центральных городов больших категорий ранее репрессированных. Я по своей литерной формулировке (КРД) подпадал под этот указ. Почему-то меня взяли не сразу. Видимо, искали какого-нибудь предлога. Приходили разные комиссии. Однажды ко мне в музей подослали одного знакомого, который всячески провоцировал меня на выражение недовольства. Был случай, что одна довольно красивая женщина, дочь давнишнего директора музея, просила у меня разрешения провести вечер с любовником в кабинете музея, при котором я жил. Если бы я разрешил, то меня, вероятно, тут же уволили бы. Отношение ко мне (поскольку я «упирался») грубо изменилось. У меня гостила Аля. Настал вечер и час, когда я должен был проводить ее на вокзал, чтобы она ехала в Москву. Пришедший ко мне чиновник из Обкома знал это, заставил меня показать ему музей, так что Аля, боясь опоздать на поезд, только издали махнула мне рукой. После ухода чиновного «дуба» я пом-

- 175 -

чался на вокзал и, выскочив на перрон, только увидел Алю в окне вагона. Чтобы я заметил ее, она одела белый шарф. Так в этом шарфе она и сфотографировалась потом в Москве «на память» о том расставании... Эта фотография действительно стала памятной, и я еще вернусь к ней.

Под Новый 1949 год мне удалось быть в Москве. Встречали Новый год с Екатериной Александровной, Алей и еще некоторыми близкими знакомыми. 2 января я должен был возвращаться в Рязань. Аля провожала меня на трамвае до Трубной площади, где мы расстались. Это было трагическое расставание, так как по приезде в Рязань, едва я сдал финансовый отчет о поездке, как на следующую ночь раздался стук в музейную дверь, и, открыв ее, я снова увидел человека в голубой фуражке. Он предъявил мне ордер на арест...

Прежде чем перейти к этой следующей, печальной главе воспоминаний, я хочу привести некоторые выдержки из сохранившейся переписки с Алей этого короткого рязанского периода, когда мы стали мужем и женой. Ведь неизвестна будет судьба наших писем, пусть хоть в купюрах они сохраняются здесь. В переживаемую эпоху так писать уже не будут...

Вот письмо Али в Рязань вскоре после моего отъезда из Москвы.

Среда 16. VII. 47 г.

«Так странно быть опять одной. За окном качаются анютины глазки, они стали мелкие-мелкие. А на небе за кирпичной стеной встало тяжелое белоснежное облако...

...«оно похоже на тебя»... (и озаряет комнату). Хороший, милый, необыкновенный друг, мне хочется серьезно, серьезно Вас обнять (так бывает? Это вроде «крепко», но не совсем) и сказать Вам что-нибудь очень хорошее, нежное, родное. Потому что у меня сейчас столько к Вам нежности и чувства вины перед Вами. Сколько я перед Вами виновата! Вы еще не читали письмо 1-е? Не надо, не читайте совсем, или обещайте не читать две последние страницы. Там глупость, бред, вообще я грубая эгоистка, ну ладно, не буду, не огорчайтесь.

Мало того: Вы должны сейчас же улыбнуться! Мне очень хочется, чтобы Вы улыбнулись. Мне. Вот так! Спасибо большое.

Аленка Вас очень, очень обнимает. Нет еще писем, ничего еще не знаю, правда, кроме главного: прописался, устроился (телеграмма).

- 176 -

Жду со дня на день подробного письма. Пишите, как питаетесь, а то, чувствую, это будет обойдено молчанием...

...Вчера я была у Бориса Ивановича (в воскресенье не была, телефон у них испорчен). Рисунки (эскизы) были очень плохие, но все-таки, наверное, из деликатности несколько штук Б. И. взял узнать, можно ли это технически выполнить.

Борис Иванович мне подарил около дюжины или больше настоящих английских (виндзорских) акварельных красок, чем я была очень потрясена. Он собирался дать еще гуашь, но я его остановила. Пожалуйста, поэтому, не просите Александра Федоровича, теперь совсем не нужно, очень прошу.

(продолжение следует)

Пресня. 1 ноября 47 г.

«Я благодарю всегда Грина, Паустовского и Пришвина за то, что они учат меня жить так, как требует того мое "лучшее я". А оно, надо сказать, в загоне теперь, как бедная Золушка, тлеет как робкий-робкий огонек, не смеет даже плакать, потому что плакать имеет право только персона важная, "много пережившая", отягченная собственными грехами, нечистой совестью и неудавшейся "карьерой"...

Для меня, по крайней мере, так: прочтешь такой маленький рассказик Паустовского и как будто свежей росой тебя умыли: смотри, как прекрасен Божий мир, как может быть хорошо человеческое сердце! Неси, неси ему тепло и ласку, прощай его в глубине души своей — и оно тебя не обманет. Открой глаза свои на природу и простые минуты каждодневной жизни — и они тебя не обманут...

Да, собственно, я знаю все это давно. Беда в том, что мне трудно быть хорошей: маленькая Золушка и "Аленка-чудесница" (есть такая девочка, расскажу тебе о ней после) живут на задворках, им не дают и... [неразборчиво. — Г. В.]. Это главное, в этом и беда моя — мне трудно быть хорошей.

Пишу все это, т.к. читала Паустовского, твою книгу. Сегодня получила окские стихи с такой славной фамилией — Левушкин. Вот эту книжку надо было надписать, солнышко, но я боюсь, что ты теперь ничего не будешь мне надписывать, а? Всего еще не прочла, начала, конечно, с любовных, да они оказались лучше других (конечно, он еще очень слаб), но «Галине» — три хороших. Да и Паустовского подпиши, какое-нибудь одно-два заветных словечка...

- 177 -

Как меня радует, когда мои любимые друзья (Паустовский, Грин, Пришвин, Арсеньев) скажут мимоходом друг о друге, словно та невидимая цепь, о которой мне всегда, еще с юности, мечталось, протягивается от одного Большого сердца к Другому, к третьему... (чтобы встать когда-нибудь большим братским хором).

Я не буду тебя особенно разочаровывать в себе, зачем? Этого, конечно, не надо делать, но повторю коротко, что говорила раньше, нет, скажу несколько иначе: любовница я занятая, может быть, даже и жена — неплохая, но вот человек...

Ведь я знаю цену сердечной теплоты и ласки, им и цены нет, знаю это по нескольким минутам, которые

дарила ребятишкам, идучи с колхозного поля, где-нибудь в дороге, больным — в больнице (помню, рассказывала об этом) и... Знаю и по тем минутам, когда я была так жестока с няней, мамой, бабушкой. Знаю, а всегда остаюсь жестокой, колючей как "зимняя нахохлившаяся елка".

Написала все это, чтобы отвести душу, исповедаться перед тобой, родной мой дружок. И на душе немножко отлегло. Видно, в исповеди есть смысл».

Эти два сохранившихся письма Али ко мне очень важны. Из них видно, что вплоть до моего отъезда из Москвы в Рязань мы были «на Вы». Переход «на ты» произошел где-то ближе к осени 1947 года, но еще до нашего полного супружеского сближения (1948 г.).

Почему Аля была так самокритична? Тогда, в дни нашего сближения я, увлеченный женственностью Али, над многими сторонами ее души не задумывался, хотя Аля была откровенна со мной до предела. Помню, как она рассказывала о том, как страдала от семейной бедности (мать ее очень мало зарабатывала), оттого, что всегда была одета беднее своих подруг. А ведь Аля была из аристократической среды, она имела право хорошо одеваться. Мучила ее и ошибка с образованием, выбор модного в 30-е годы архитектурного поприща, в то время как у нее были художественные наклонности совсем в другой области — иллюстрирование детских книг. Все это (плюс болезнь) вышибало у нее твердую почву из-под ног. После смерти матери Аля жила на иждивении своей тети, и это ее тоже морально угнетало.

Моя тетя Нина все это знала, почему и выражала мне свои опасения по поводу нашего брака. О том же самом в 1947 году мне сказал Сергей Стародуб, возвращавшийся откуда-то с Юга и

- 178 -

захвативший на несколько дней к тете Марусе. Стародуб помогал мне перевезти вещи Али из Могильцевского переулка на Трехгорный вал (Пресню) и тогда сказал мне: «Боюсь, друг, что не такая жена тебе нужна. Тебе нужна сильная помощница». Конечно, я отверг его слова, но доля истины в них была... Сам Сергей Стародуб был благоразумнее. Оказавшись (с помощью Людмилы Константиновны) на Урале, он создал хорошую семью, незаурядно проявил себя на литературном поприще, но неожиданно скончался от инсульта. Так мы больше и не повидались.

Вскоре я действительно почувствовал, что не столько мне нужна была жена-помощница, сколько Але нужен был не такой муж, как я. Ей нужен был сильный, пробивной, практичный человек. Я же начинал все сначала и особенно не мог помочь Але. Это было трагично. Думаю, что Аля не разочаровалась во мне, в том, что я не очень помогаю ей. Но остается фактом, что настроение ее с моим приездом не очень-то поднялось. Прежняя неудовлетворенность не покидала ее, и она нередко писала очень грустные письма. Настроение усложнилось в 1948 году, когда мы стали мужем и женой. От этого года сохранились очень трудные письма. Они показывают, что мечты, связываемые с «Алыми парусами», были далеки от осуществления...

«8-V-48. Рязань

Аленушка, любимая!

Спасибо тебе за теплую телеграмму, это лучшее утешение в моей беде. Ты необыкновенно ко мне ласкова и добра. Я ведь так виноват перед тобой! Чуть ли не полгода не еду, стал реже писать... И мне всегда так тягостно от дум, что ты меня осуждаешь. Но вот эти думы рассеиваются, и мне становится легче. Вся моя беда в том, что я попал в Рязани в самую неразбериху. И сам я начал работать с большими изъятиями в голове, а в музее и техникуме застал дела в упадке. А тут, вдруг, бах!.. Опера Мурадели всполошила весь мир искусства, и всюду сейчас идет критика в пух и прах. Техникум висит на волоске. Если его закроют (а мы этого ждем), то много преподавателей останется без мест. Следовательно, их надо пристраивать. А куда? Значит, будут пересматриваться все городские кадры. "Кто лучше"? И вот, когда до этого дойдет вопрос, то тут я и останусь почти без козырей. Единственный козырь — опыт, но ведь не будут же с этим считаться. Вот в каком настроении я живу. Поэтому и не еду, жду вот-вот перемен.

- 179 -

Сегодня я прочитал последние лекции. Охрип, едва говорю, а 15 юбилей Васнецова, у меня о нем две лекции в городе.

На экзамены ожидается приезд начальства из Комитета. Пан или пропал! Но я нигде не хочу сдавать позиций. У меня даже скоро будет лекция в учреждении, откуда я начал в 1937 году свои странствия. На уме — ария Германа.

Как ты справишься с работой? (медицинской). Ой, Алена, Алена, как же мне хочется тебя увидеть! Но не в таком состоянии, как теперь, а чтобы я не был угнетен неприятным ожиданием грядущего с его "сюрпризами".

Как чудесно было даже прошлой весной, хотя я и не работал тогда. А тут все думы, думы. Как еще голова выдерживает.

Но — ничего. Скоро, я надеюсь, все закончится. И я буду с Тобой.

Целую Тебя, все твои пальчики. Люблю тебя очень, поэтому и не падаю духом. Вот ты какая.

Кланяюсь всем.

Твой Гурлик».

«8 июня 48 г. Москва

Милый Гурлик,

ты против воли, немножко "обижен" (тебе немножко больно, немножко грустно), что я так мало пишу, такая невнимательная и даже (в этом ты сам себе не сознаешься!), что я не приехала ни разу. Но ты прав и в этом. Т. е. не ты, а то существо в тебе, которому ты зажимаешь рот, не даешь это выразить в определенную мысль.

А меня саму это очень огорчает... Такая странная штука — жизнь; странная, неуловимая, и слова часто — ничто.

Но ничего — мы немножко отдохнем (я от самой себя), «отойдем» и встретимся более "взрослыми" людьми.

А вообще, главное — тебе отдохнуть. А отпуск такой маленький, ужас!

Печально и то, что мне все еще «нечего» о себе написать; все какие-то планы, планы, которые я не выполняю, т. к. моя воля, очевидно, разбивается о самые незначительные препятствия. И я не умею "вырывать" у времени минутки для того, что я считаю главным; наоборот, у меня главное должно занимать все время, и ничто не должно отвлекать...

А разве так когда-нибудь будет!

- 180 -

Были деньги; хотела осенью поехать по Подмосквью — порисовать — не было времени (вазы!); зимой — не было костюма, чтобы идти в Дом архитектора в кружок рисования, затем не было ни денег, ни костюма, затем был костюм — не было денег и времени (поступила в больницу). Теперь надеялась на май, так надеялась! И вот уже июнь, а я еще не кончила — стыд мне и позор — так будет всю жизнь. И не уметь ничего заработать. Презрение тети Катюши дошло, по-моему, до крайней степени. Да и всякий вправе меня презирать сейчас. Но меня огорчает не это. Безумно хочется начать другую "мою" жизнь, наполненную моим, всем, что мне мило. Я еще верю, но это уже третье лето, третий год пошел, как я ушла с работы! В таком положении — человек всегда очень одинок. Так ты мучился в прошлом году этим — я теперь очень это понимаю!

Прости за скучное письмо, и все о себе! А тебя, я думаю, можно уже поздравить с окончанием учебного года?

Будь ко мне снисходителен, милый друг, и прости мне это письмо и вообще все...»

[подписи не было. — Г. В.]

Таковы только два письма. А их было много, они хранятся у меня как вещественные доказательства нашей беспомощности нормально и счастливо устроить свою жизнь. У Али не было сноровки и покровителя. У меня не было свободы действий, права жить в Москве. Оба были материально не обеспечены. Аля, в сущности, жила при помощи своей тети, крупного ортопеда Екатерины Александровны Левашовой. Я получал в месяц 750 рублей. Одна тысяча рублей, выданная мне в качестве «компенсации» за 10 лет Колымы (по 100 рублей за год!) растворилась между пальцев. Самое большее, что мне удалось сделать, это подкопить немного денег, взять отпуск и увезти на это время Алю к себе в Рязань. Что и описано на предшествующих страницах. Август 1948 года был нашим венчальным месяцем. Мы не расписывались в ЗАГСе. Все это казалось формальным, в то время как содержание нашей новой жизни било через край. Пять месяцев мы плыли под «Алыми парусами». Я снова периодически ездил в Москву, всячески боролся за право не быть уволенным из музея. И вот дождался того, что меня арестовали в третий (включая «Мальдяк») раз.

- 181 -

ТРЕТИЙ АРЕСТ

Как и 21 января страшного 1937 года, при моем аресте снова пришлось присутствовать Анне Матвеевне Лазаревой. Она жила при Краеведческом музее, и чекист вынужден был пригласить ее в качестве понятого. Каково было бедной женщине, да еще монашке в прошлом, дважды видеть мою катастрофу. А каково было мне после только что пережитого с таким опозданием счастья! Правда, я уже был подготовлен к изгнанию из музея, даже к высылке из Рязани. Но чтобы снова арест, снова ночью — это уже слишком. Конечно, ордер был предъявлен, но обыска чекист делать не стал, видимо, такова была инструкция. Более того. Он намекнул, чтобы я передал свои научные материалы на хранение Лазаревой, а с собой взял бы смену белья и валенки. На этот раз пришлось идти в НКВД пешком. Я простился с плачущей Анной Матвеевной и зашагал под конвоем к знакомому зданию бывшей гостиницы «Штеерт». Все только что пережитое за 1948 год — музейные исследования, выставки, лекции, встречи с Алей, наш золотой Август — все провалилось в черную пропасть. Как все это выдержало мое сердце — не знаю. Не знаю также, кто и кому из моих родных сообщил о моем аресте. Может быть, добрая Анна Матвеевна? Но знала ли она адреса?

Во внутренней тюрьме НКВД меня определили ночью не в отдельную камеру, а в какую-то каморку, прямо на разбросанную по полу солому, на которой валялся, чесался и кряхтел какой-то человек.

Неужели нельзя было обойтись со мной по-человечески?

В ночном мраке я не мог разобрать кто это, но каково же было мое удивление, когда он назвал себя бывшим дьяконом моего родного города Спасска. Я не помню его имени, но все его звали Ретвизан. Почему Ретвизан? В 20-е годы это был высокий статный красавец с красивой густой шевелюрой, обладатель бархатного баритонального баса. По производимому на горожан впечатлению он соперничал с протодьяконом Некрасовым. И вот он здесь, на грязной соломе... За что? Оказывается, за агитацию против колхозов. Встреча была настолько драматична, что я не считал нужным называть себя. Утром меня вызвали к следователю, и больше наши пути нигде не перекрещивались. К следователю меня повели, как в 1937 году, на какой-то из верхних этажей, причем я должен был, как и тогда, становиться при встречах лицом к стене. В большой комнате с ковром и кожаным диваном за большим столом сидел довольно интеллигентный лей-

- 182 -

тенант, который и начал вести допрос. Кажется, он представился: Зотов. Ну что ж, Зотов, так Зотов. Как и в 1937 году я приготовился к обороне.

Но обороняться не пришлось. После заполнения граф биографического характера, включая Колыму, Зотов осторожно, без нажима прощупывал мое нынешнее настроение. Он сказал, что ему все известно о моей музейной, педагогической и общественной деятельности. Ничего нового он мне не инкриминировал, даже не спрашивал о моем знакомстве с Ариадной Эфрон, чего я опасался из-за боязни за нее. Как я вскоре узнал, она была очередной жертвой. Однако мой подавленный вид и едва выдавливаемые ответы, видимо, произвели впечатление, так как Зотов осторожно дал мне понять, что лагерь мне не грозит, но мне придется уехать «не очень далеко». Я, конечно, немного приободрился, но что означало это «не очень»?

Было несколько таких вызовов, на этот раз не ночью. Допросы были похожи на простой разговор о предметах столь обычного характера, что надо признаться, в памяти ничего не сохранилось. Повторяю, ничего предосудительного мне не инкриминировалось. Как я узнал много позже, очень хорошую характеристику мне дал директор Художественного музея В. Ф. Малиновский. Но все же всякий вызов был тягостен. Я оказался в камере еще с двумя «повторниками», как нас называли, из которых запомнил одного, очень желчного, но умного еврея, работавшего по издательской части. Он был начитан, обладал острым умом и даже определенными взглядами на искусствоведение. Честно говоря, в своем определении натурализма, о котором мы спорили, он оказался теоретичнее меня. Я это до сих пор отлично помню, так как мое самолюбие было очень задето. Но скрывать нечего.

Здесь, в подвальной камере, я узнал, что аресты «повторников» шли по специальному указу, который действовал чуть ли не с самого начала 1948 года, а может быть, и еще раньше. Так что все хлопоты за меня были совершенно напрасны. Но они оттянули арест до января 1949 года, и я смог пережить короткое счастье с Алей...

Из моего двух- или трехмесячного пребывания в подвале гостиницы «Штеерт» я должен описать два события. Следователь Зотов разрешил свидание с Алей. И не просто разрешил, но, когда Аля появилась в зотовском кабинете, он деликатно оставил нас наедине. Это нонсенс! Аля в кабинете следователя НКВД! Да еще по делу мужа-преступника, «врага народа»! Какой

удел я ей приготовил! Я приготовился увидеть сраженного, смятого всем происшедшим, может быть, даже нервнобольного человека. Но Аля держалась просто прекрасно. Она была бодрa, подбадривала меня, уверяла, что «все обойдется», обнимала... Конечно, разговора о том, что она меня не оставит, поедет за мной в ссылку, как «декабристка», не было. Да и не могло быть, так как ничего еще не было известно. Беседа была торопливой, сбивчивой, я просил прощения за причиненное горе, но Аля слышать не хотела о какой-либо моей вине. Она передавала горячие приветы от московских родных. Да, все уже знали о моей злосчастной судьбе. Но кто дал знать? Аля, конечно, привезла роскошную «передачу», и с этого момента меня не переставала мучить совесть: кто же на меня разоряется? Ведь у Али никаких денег не водилось. Нетрудно было догадаться: все легло на плечи наших добрых тетушек. Так трагично обернулись их надежды на меня.

Я расстался с Алей, получив обещание, что она позаботится о моих рукописях, оставшихся в музее. Она сказала, что после моего перевода в городскую тюрьму приедет в Рязань на более длительный срок. Настала минута расставанья, которую своим сухим языком я описать не могу...

Естественно, что Зотову я остался бесконечно благодарен. Жив ли он? Ведь и их брату пришлось несладко. Но таких, как Зотов, я бы не трогал.

Переводить в городскую тюрьму меня и моих сокамерников почему-то не спешили. Аля уехала в Москву, чтобы более капитально подготовиться к дальнейшему. А на меня, вдруг, «напал стих» поэтического творчества. Почему? Я никогда не увлекался писанием стихов, не чувствовал в себе никаких способностей к этому, а тут неожиданно возникла такая потребность. Может быть, потому, что все события 1948 года и арест произвели своеобразную «вулканизацию» душевных сил, и эта «вулканизация» требовала выхода. В прозаической форме такой выход был невозможен хотя бы потому, что для этого нужно много бумаги. А у нас не было даже клочка. Да и карандашей не имелось. Удивительное дело! Даже «повторникам» все это запрещалось! В короткий стих можно было вложить самое емкое содержание, это известно. И, к тому же, короткий стих можно сложить «в уме» и запомнить. Вот этой-то душевной и умственной гимнастикой я и занялся. Много позднее, уж вернувшись домой, я узнал, что именно так заучивал свои стихи поэт Виктор Михайлович Василенко, отбывавший десятилетний срок на Инте.

В подвальной камере гостиницы «Штеерт» я сложил три стихотворения: «Балладу штеертской тюрьмы», «Судьба» и «Золотой август».

«Баллада штеертской тюрьмы», как легко догадаться, была навеяна знаменитой «Балладой Редингского замка» Оскара Уайльда. Я не знал наизусть ее строф, но помнил психологическое содержание и, приблизительно, размер стиха. В таком духе я и начал слагать небольшими отрывками и зазубривать свою «балладу». О том, как мы трое сидели в тюремной камере. По выходе из тюрьмы, кажется, даже в городской тюрьме, я записал эту балладу и позднее преподнес Але. К сожалению, этот мой тюремный опус не сохранился, и я не смог воспроизвести его по памяти. Ведь для этого надо вернуть тогдашнее состояние!

Стихотворение «Судьба» было сложено под впечатлением того зимнего вечера в начале января 1949 года, когда в трамвае на Трубной площади я расставался с Алей накануне своего ареста. Чудом сохранилась запись этого стихотворения алиным почерком. Значит, это почти подлинник, который я и воспроизвожу здесь.

СУДЬБА

Второго января, в Москве, на Трубной площади,
Где трамвай, скрипя, кружится по окружности,
Нас с тобой Судьба разорвала, не пощадив
Ни морщин моих, ни твоей юности...

Снова ночи мрак ... Но впереди не тридцать
И не двадцать лет предутренних волнений;
Скоро Вечер Дня, когда не сможет взвиться
Вихрь дерзаний от твоих прикосновений ...

(в камере предварительного заключения в Рязани, январь 1949 года).

Пожалуй, больше всего мне жалко, что не сохранилось третье стихотворение — «Золотой Август». Оно было пронизано переживанием счастья с Алей, жившей у меня в Рязани. Мы настолько были охвачены им, что не замечали нашей бедности, примитивного жилья и быта (у нас была только керосинка), ходили в заокские луга, грелись на песчаном пляже и рисовали, рисовали...

- 185 -

И август багряный Нам скатертью браной Рассыпал подарки свои...

Увы, больше ничего не припомню. Прошло ведь полвека. Мой друг, искусствовед и поэт Виктор Михайлович Василенко назвал мои стихи рифмованной прозой. На худой конец и это не так уж плохо.

Из внутренней тюрьмы нас возили в баню при городской тюрьме, с которой я был уже хорошо знаком. Поразительно, что, зная о нашем статусе «повторников», охрана нисколько не церемонилась с нами, как будто мы уже заведомо были преступниками. Нас грубо запикивали не в простой «черный ворон», а в «черный ворон» с боксами-одиночками, в которых можно только стоять. Не хватало только железных шипов в стенах, чтобы это напомнило гестапо или средневековье. Так, стоя, мы и ехали. Туда и обратно. А вскоре нас перевели в городскую тюрьму, в общую камеру, в которой скапливались люди, чье «следствие» закончилось. Вот тут-то и произошли неожиданные встречи. Прежде всего, я увидел братьев Бориса и Алексея Орловых, сыновей священника города Спасска отца Владимира. Это у отца Владимира жила в 1920—1929 годах моя бабушка, после того, как ее вместе с бабушкой выслали из Исад. Бориса и Алексея я больше знал уже по Рязани 1930-х годов. Ни с кем иным, как с Алексеем, я до утра спорил о взаимоотношении формы и содержания в искусстве. Здесь уже было не до споров, из юношеского возраста мы вышли, да и вопросы эти ушли далеко в сторону. Обсуждали другое: куда нас повезут? Ведь никаких официальных объявлений о ссылке мы не получали. Но и на эту тему разговоров было мало, так как из-за неопределенности положения они быстро иссякали. Но что поразило меня — так это мужской цинизм. Ни о чем так много не вспоминалось, как о разных «мужских победах». Надо оговориться, впрочем, что это было уделом более молодых.

Через два-три дня из окна, выходящего в тюремный двор, я увидел, как в этот двор из ворот ввели... Ариадну Сергеевну Эфрон... Значит, и она попала в «повторники». А вскоре мне стало известно о каких-то неприятных событиях, произошедших в Художественном училище, в которых был замешан сам Борщев. Становилось все более и более ясным, что мой арест — это не какая-нибудь случайность, например, результат доноса противного типа, спровоцировавшего меня в Художественном музее,

- 186 -

а деталь широкой, планомерной, санкционированной свыше кампании. Все мы были «под колпаком».

Здесь, в общей камере, я узнал, что далеко не со всеми следователи обращались так, как обращался со мной Зотов. Некоторым навязывали обвинения, что грозило добавочными лагерными сроками. С братьями Орловыми этого не случилось.

А вот я получил и передачу с перечислением передаваемого и по почерку узнал, что Аля снова в Рязани. Бедная молодая жена! Какую же жизнь ей я уготовил! Вскоре я увидел и ее милую фигурку через тюремную стену, за которой соседняя улица на коротком участке была обозрима из нашего окна. Аля была не одна, а в группе двух молодых женщин, вероятно, тоже принесших передачи своим мужьям. Я замахал из-за зарешеченного окна полотенцем и получил ответ. С этого времени мы изредка стали «сигнализировать» друг другу. Вот если бы мы знали морской язык сигналов. Но мы перемахивались «бессловесно».

Иногда, пользуясь добротой «передатчика», которого я угощал чем-либо из передачи (преимущественно махоркой), мне удавалось приписать к расписке о получении передачи два-три интимных слова: горячо целую, очень люблю, помню 17 марта (день нашего первого поцелуя в 1947 году) и т.п. Аля тоже приписывала мне кое-что. Я получал передачи регулярно, из чего было видно, что она живет в Рязани. Но деньги, деньги... кто все это оплачивал? Эта мысль обжигала меня, мою совесть. Я даже попросил прекратить или сократить передачи. Но разве меня можно было послушаться... С другой стороны, разве Аля и тетушки могли оставить меня без всякого внимания, без помощи? Тюрьма есть тюрьма. К тому же тогда еще не было известно, что меня ожидает. Можно было думать что угодно, вплоть до возвращения на Колыму! А это означало бы конец...

Так продолжалось примерно до июня, когда мне объявили о разрешении свидания. Это взволновало меня. Как оно пройдет, хватит ли самообладания? Ведь на карту ставилось очень много, вплоть до разрыва...

Меня привели в какое-то небольшое помещение около ворот, в котором не было окон, а было небольшое прямоугольное отверстие в стене, закрытое ставней. Я слышал, как выкрикнули: «Терновская, к окну!». Ставня

открылась, и я увидел голову Али...

Нет, она не плакала. Она улыбалась и громко проговорила: «Держись, казак!». Да, это ее исторические слова. Она хотела подбодрить меня, будучи сама такой неприспособленной, сла-

- 187 -

бой. Вот, что значит любовь! И не просто любовь, а душевное родство, скорее — единство.

Из короткого разговора я узнал, что Аля живет у Пелагеи Степановны Пироговой, сестры знаменитых певцов, что деньгами ее снабжают тетя Катя и моя тетя Нина. От этого уже никуда нельзя было деться. Еще несколько сбивчивых фраз, и прозвучало: «Свидание окончено».

Здесь память мне изменяет: либо Аля успела мне сообщить (со слов Зотова, вероятно) о том, что меня ожидает ссылка в Красноярский край, либо я откуда-то узнал об этом и сказал Але. Первый акт моей вторичной рязанской катастрофы близился к концу.

На другой или на третий день после свидания партию предназначенных к ссылке вывели за ворота тюрьмы и построили в колонну, как в 1937 году. Около ворот собралась группа родственников, но я обрадовался, не увидев среди них Али. Это было бы тяжело для меня, а еще более для нее. После солнечного лета 1948 года, после ликования, описать которое, казалось, мог бы только Кнут Гамсун, увидеть меня в плохо одетой толпе заросших, уныло бредущих арестантов — это не под силу и крепкому человеку. А Аля все-таки была слабешка. Накануне отправки мы договорились, что я дам телеграмму о прибытии к месту назначения.

В отличие от 1937 года, нас погрузили не в товарные, а в так называемые столыпинские вагоны. Они отличались от обычных пассажирских вагонов тем, что все двери в купе, в туалет, все входы и выходы, а также окна были зарешечены. В конце концов, особой беды в этом не было, можно ехать и за решеткой. Конвоем же приходилось проделывать лишнюю отвратительную работу: провожать каждого нуждающегося в туалет и обратно. Ну и черт с ним, с конвоем. Как и на Колыме, он набирался из людей, почему-то особенно злобно настроенных.

Гнусность состояла в другом: в каждое «купе», рассчитанное, как известно, на четыре человека, запикивали человек шестнадцать. Как мы размещались — ума не приложу. Помнится, я находился наверху, в каком-то полувесомом, скрюченном положении. Стояло жаркое лето, а нас кормили селедкой. Питие ограничивалось. Каким мерзавцем нужно быть, чтобы делать такое... В «телячьих» товарных вагонах 1937 года мы чувствовали себя свободнее, хотя и олицетворяли собой скот. Невольно напрашивается сравнение с известной картиной художника-передвижника Н. А. Ярошенко «Всюду жизнь» (Третьяковская галерея). На ней изображен тот же столыпинский вагон с заключенными, которые кормят из-за решетки голубей. Ни о чем подобном мы не могли и подумать.

- 188 -

В КРАСНОЯРСКЕ

Не помню, сколько дней поезд шел до Красноярска. Условия в «купе» были таковы, что ни Волги, ни Оби я так и не увидел. Да и не до этого было. Когда в 1937 году я с интересом всматривался из вагонного окошечка в величественный Байкал, то за моими плечами было только двадцать девять лет. И я не был женат. Теперь же все было по-иному. Все переносилось тяжелее.

Выход из убийственных вагонов казался освобождением. Нас снова построили и повели к красноярской пересыльной тюрьме. Это было громадное прямоугольное здание на окраине города. Пока нас вели по привокзальным улицам, я успел рассмотреть окружающие город красноватые (глина?) сопки и какую-то башню-церковь на вершине сопки. Пейзаж был прозаический. Почти, как на Колыме.

Обширная камера (целый зал?) тюрьмы кишмя кишела от набитых в нее пересыльных. Кого только здесь не было. В одном одиноко сидевшем на нарах седобородом мужчине я узнал известного московского литературоведа В. Ф. Переверзева, дискуссия об «ошибочной» позиции которого в свое время наделала много шума. У него ничего не было из еды, да и мои запасы кончились. Я смог поделиться с ним лишь несколькими кусками колотого сахара. Больше мы нигде не встречались.

Ни на какие прогулки нас не выводили. При переписи «кто есть кто» я, памятуя удачу на Нижнем Хатыннахе в 1938 году, назвался художником. И не прогадал. Через несколько дней, проведенных на грязном полу, меня в числе 17 человек вызвали «с вещами», вывели в тюремный двор, построили, и под конвоем повели

куда-то, вдоль мелкой речки, в сторону красной горы с часовой на вершине. Дорога у подошвы горы была глинистая, ноги вязли в грязи. Пунктом назначения оказались два небольших деревянных барака с топчанами внутри. Нам объявили, что мы составили рабочую силу строительной конторы Красноярского краевого управления НКВД. Наша задача — строить новое большое здание для этого управления. Трагикомичнее этого трудно что-либо придумать.

- 189 -

Впрочем, я не имел причин впадать в уныние. У меня был свой топчан с матрасом, подушкой и одеялом. Я получил удостоверение, с которым мог свободно (в нерабочее время) ходить по городу. Мы должны были каждые 10 дней отмечаться в комендатуре Управления НКВД. Первым делом, конечно, я пошел на телеграф, дал телеграмму Але с указанием моего адреса, а потом заказал и телефонный разговор. Разговор был более деловой, нежели лирический. Я знал, что Аля скоро ко мне приедет, и к этому надо было готовиться: ведь не может же она жить в нашем бараке. Совершенно не помню, как в мое отсутствие произошло в Москве знакомство Али с Людмилой Константиновной. Произошло ли это по моей просьбе? Как будто это видно из следующих строк моего письма к Людмиле Константиновне, написанного в Красноярске:

«Твоя посылочка с "кусочком юга" была очень красива и в натуральном и этическом отношении. Аля это тоже оценила, сказав, что это очень красивый подарок, на который способны только женщины... Все дошло чудесно, лишь 3—4 мандарина попортились... Аля хочет писать заявление обо мне, я советовал ей проконсультироваться у тебя. Она согласилась...»,

А пока нужно было приспособливаться к строительной работе. Знакомиться с Красноярском не было никакого желания. Запомнились две-три продольных улицы (среди них обязательно Ленина и Сталина), тянущиеся вдоль Енисея на несколько километров. Поперечные выходили к реке и были короче. Долина Енисея обрамлялась унылыми сопками. На одной из центральных улиц нам и предстояло возводить дворец НКВД.

Котлован под новое здание и рвы под фундаменты уже были выкопаны. Среди нас нашлись геодезисты-нивелировщики, укладчики фундамента. Я заниматься этим не осмеливался. Меня определили... грузчиком для подвозки дикого камня для фундаментов, а затем — кирпича для стен.

За камнем я ездил на грузовике в близлежащую тайгу, где были уже заготовлены груды «дикаря». Мне надлежало грузить глыбы в кузов машины. С большим трудом, пыхтя и кряхтя, вталкивал я куски гранита, иногда они обрывались, грозя раздавить ступни. Шофер, сравнительно симпатичный, как мне казалось, парень, спокойно раскуривал сигарку, сидя на подножке машины. Это меня не удивляло. Большинство водителей таковы. Но он, негодяй, иронически подсмеивался: «Что, интеллигент, не нравится? Это тебе не бирюльками заниматься...» А ведь он был такой же ссыльный, как и я. Откуда такая злоба у рус-

- 190 -

ского человека? Или ему не нравилась моя немецкая фамилия? Но ведь даже к пленным фашистам было понимание. Скорее всего — это плебейская враждебность к интеллигенции, вписавшая столько позорных страниц в нашу историю. Эту враждебность я пережил не только со стороны хама-шофера, но и со стороны недавних «товарищей» по стольпинскому вагону, и соседей по барачному топчану. Двое из них, укладывавшие дикий камень в фундамент, грубо, с матерной руганью обрушились на меня за то, что я неправильно опрокидываю тачку с «дикарем» в деревянный желоб. Тут уж я не выдержал и обозвал их по-колымски как следует. Но с них как с гуся вода. Я понял, что с этим псевдопролетариатом никогда не сварить каши. Слава Богу, они скоро исчезли с моих глаз. Теперь, когда я вспоминаю все это, то невольно задаюсь вопросом: а может быть, я был не прав в своем ожесточении? Может быть, «на того, кто возмутился душой, не снизойдет благодать». Может быть. Но тогда я был еще далек от евангельских истин. Возможно, что я еще духовно не созрел.

Я немного приободрился, когда меня приставили к изготовлению проволочных укладчиков для кирпича. Чтобы продуктивнее подавать кирпичи на ленту транспортера, надо было укладывать их по пять штук в проволочные корзиночки-укладчики. Так было легче подавать. Корзиночки гнулись под разными углами из одного прута проволоки, для чего одним из рабочих был изобретен простейший станок. Для работы на нем нужен был хороший глазомер. Вот тут-то я и пригодился. Освоившись, я стал выполнять норму.

Дом Управления НКВД рос довольно быстро. Кирпича требовалась уйма, миллионы штук. Стройконтрора получала кирпич с местного завода по разнарядке. Тут начальство стройотдела придумало «продать» меня кирпичному заводу в качестве художника и за это получить некоторые льготы. И вот я очутился на Красноярском кирпичном заводе.

Кирпичный завод находился за тюрьмой, на краю города, где сопки почти сплошь состояли из суглинков.

Трубы завода были видны издалека, они дымили день и ночь. Работали здесь в основном ссыльные: русские, украинцы, казахи, немцы... Целый интернационал. Начальство (директор Гиверц и главный инженер Падуровский) встретило меня дружелюбно, а в непосредственное подчинение я попал к начальнику планово-экономического отдела Льву Захаровичу Каплинскому, ссыльному москвичу. В свое время он работал с Томским, оттуда и начались его злоключения.

- 191 -

Л. 3. Каплинский располагал к себе недюжинным умом и чувством юмора. Мы быстро сблизились. Лозунги, плакаты-молнии, конечно, могли просто осточертеть. Каплинский придумал создание галереи передовиков производства, и тут я уже мог «творить». Затем мне поручили написать картину с общим видом завода. Я трудился над ней несколько дней.

Работа на заводе обещала прожиточный минимум, но меня постоянно вызывали в стройотдел: то для оформления стенгазеты, то раскрасить герб на здании Управления, то обновить оформление стадиона «Динамо», то на малярные работы. Это нисколько не изменяло отношения ко мне как к рабской силе. Помню, как десятник со смехом рассказывал о моем страхе подняться в подвесной люльке на вершину нового здания Управления для раскраски герба. Им двигало такое же низменное («классовое») злорадство, как это было и с водителем грузовика. Я терпел... Спокойнее было работать с малярами по ремонту энкаведешных зданий. Здесь моей задачей было проведение бордюров. Я пользовался не рулеткой, а глазомером, чем расположил к себе маляров. Так текли дни.

Между тем Аля уже собиралась ехать ко мне. С большим трудом я подыскал ей угол у одних старожилов Красноярска, а также и временную работу в городском архитектурном отделе. Встреча на вокзале была «декабристской», но вскоре я был омрачен рассказом Али о ее дорожном происшествии. В одном купе с ней ехал какой-то прыткий молодой человек, которому Аля (был, вероятно, такой момент в разговоре) разрешила себя поцеловать и даже дала ему взаймы чуть ли не последние деньги. До чего доверчива была ее душа! Это меня ошеломило. Могла ли такое сделать Волконская!? К тому же я перебивался с хлеба на квас...

Но что поделаешь! Не ссориться же из-за этого, тем более, что Аля вскоре начала работать архитектором, и мы сводили концы с концами.

Тем временем пребывание Али в снятом «углу» стало невозможным, надо было искать комнату. С громадным трудом мне удалось снять нечто вроде полухозяйственной клетушки (но с печкой) в слободе «Весна», что на окраине Красноярска, на склоне горы с часовой. Пол в клетушке был из горбылей, дров было мало, к утру стены и потолок были усеяны мокрицами. Еду мы готовили в какой-то самодельной посуде. До места работы Али это было страшно далеко. Фонарей в слободе не было, к вечеру все погружалось во мрак, пройти по грязи даже днем было трудно. Но Аля не жаловалась.

- 192 -

Я выходил встречать Алю каждый вечер под гору, и мы вместе возвращались. Это скрепило нас чрезвычайно. Я преклонялся перед ее терпением, забыв о том «купейном» проходимце и о невозвращенных им деньгах. Обыкновенный негодай.

Но вот однажды я не встретил Алю в условленном месте. Наступила полная темь, время близилось к критическому часу, а Али все не было. Я не знал, что думать и что делать. Идти в город? Но тогда мы окончательно потеряем друг друга. В этот драматический момент я увидел фигурку Али, бредущую... из нашей слободы! Аля медленно шла и плакала. Оказалось, что мы где-то разминулись. Добредя домой она не нашла меня и, потеряв надежду, пошла обратно в поисках меня. Боже! Каково все это стоило пережить! И за что это нам такое! Воистину дикая страна, дикие власти...

Но были у меня мгновения, когда я чувствовал, что я хоть и раб, но все же не червь. К приближающемуся октябрьскому празднику мне, хотя и с явно выраженным недоверием, было поручено сделать очень большой портрет Ленина для украшения фасада Управления НКВД. Применяв метод, усвоенный на Колыме, я выполнил довольно удачно (с оформительской точки зрения) более чем саженный портрет. Майор хозчасти Управления Толстиков даже произнес: «Да, Вагнер, я вижу, ты можешь».

И тут неожиданно я подхватил ангину. Лежу с завязанной шеей дома, вдруг входит тот же майор и говорит: «Вагнер, спаси положение. Какой-то художник нарисовал нам большие портреты членов Политбюро, и все головы выглядят огурцом». А праздник на носу. Пришлось ехать в Управление, где я действительно увидел эти огуречные головы. При разбивке полотен на клеточки художник, очевидно, ошибся на одну клетку. Мне стоило немалых трудов исправить искаженные пропорции. Акции мои повысились.

Но жили мы с Алей по-прежнему нищенски. Наступили морозы, дрова все вышли. Слава Богу, один из

ссылных старожилов, Конов, давно построивший себе дом, разрешил нам занять одну комнату. Мы оказались в тепле. Его дочь Прасковья позволила пользоваться ее плитой, и мы стали есть горячее. Наступила зима.

Между тем Але нужно было возвращаться в Москву. Денег на дорогу не было, пришлось обращаться к тете Кате. Какого угрызения совести все это стоило! Зимней одежды у Али не было, до вокзала мы шли километра два или три пешком. Аля плакала

- 193 -

от обморожения коленок. Драматическое прощание — и я снова один... Пришлось пережить и это.

Несмотря на все тяготы и унижения, все же об этой осени 1949 года у меня остались сильные воспоминания. Сильные по чувству преданности Али, по ее стоицизму, по вере в меня. Сильные и по пережитым проявлениям (ко мне) бездушия, и даже издевки, со стороны начальства.

Поддерживалась и продолжавшаяся переписка с Людмилой Константиновной, поистине великой души человеком. Несмотря на перемены в нашей судьбе, она относилась ко мне с прежней, не боюсь сказать этого слова, любовью! Я отвечал ей нежной дружбой — редкая вещь на нашем прозаическом небосклоне.

Как прошла зима — я в деталях не помню. По-прежнему работал на кирпичном заводе. Потом меня привлекли к работе в Художественной мастерской при клубе НКВД, где мне пришлось выполнять разные копии. Там я познакомился с несколькими художниками. На мою долю выпадали сложные копии, и я с ними не всегда справлялся. Чаще всего — с картиной Шишкина «Медведи в лесу», колорит которой получался у меня слишком сиреневым. Начальство благодушно называло эту картину «дровозаготовками», но из-за боязни провокаций я даже не позволял себе улыбнуться. Удачнее получались портреты (молодогвардейцев и пр.), а еще более — картинки на сказочные темы. Тут я вспомнил Билибина и снискал даже похвалу. Особенно же я преуспел в обновлении старого оформления стадиона «Динамо». Но никаких дополнительных гонораров я не получал.

Приближалось лето 1950 года. Аля снова собиралась приехать ко мне. А после нее хотела приехать и тетя Нина. Надо было подыскивать более приличное жилье. Я снял комнату опять у ссыльного старожила Ильчука в построенном им самим добротном доме. Его добрая жена и две милые дочери, Рая и Соня, создавали нечто вроде домашнего уюта. Еще до приезда Али ко мне пригрелся чей-то большой рыжий кот Тимошка, который так и остался у меня.

На этот раз приезд Али уже не был сопряжен с драматическими моментами. Мы устроили у себя праздничный «прием» Льва Захаровича Каплинского, который продолжал мне покровительствовать. Под его умелым руководством и при моем графическом участии в Красноярске была издана небольшая книжка, отмечающая какой-то юбилей кирпичного завода.

Но самое интересное было впереди. В 60 километрах от города, в молодой тайге, рядом с энкаведешным совхозом открылся

- 194 -

новый пионерский лагерь для детей сотрудников краевого НКВД. Местность называлась Миндерла. Этот пионерский лагерь нужно было оформить, то есть украсить картинами, панно и пр. Над пионерлагерем шефствовала санчасть УНКВД, возглавляемая добродушным, веселым майором Селезневым (за точность фамилии не ручаюсь). От него я получил согласие взять с собой Алю, тем более, что она ведь тоже художник. Майор даже взял Алю в свою легковую машину. Перед отъездом я встретил в Красноярске Алексея Орлова, переселявшегося куда-то в другое место. Он был без денег, пришлось отдать ему почти все содержимое моего кошелька. Ведь я уже, как говорится, «оперился», а он был на краю попрошайничества.

В Миндерле нас уже ждал и встречал директор совхоза, крупный, толстый человек, который тут же спросил меня: «Кушаете ли Вы салат оливье?» Бедолага, он думал, что я — вольный! Я не знал, что ответить, но увидел, что Селезнев что-то шепнул ему, и отведать салата оливье мне не удалось. И Але — тоже...

Первое время мы с Алей обосновались в местной гостинице, но на другой день перебрались в пионерлагерь, где и остались на все время работы. Казалось, нам дано было продолжить лето 1948 года...

Пионерский лагерь расположился среди молодых сосен. Новые деревянные строения — домики, столовая, клуб, зеленый театр и пр. еще издавали запах остроганных лиственниц. Домики еще были пусты, детей ожидали через месяц, и за это время нужно было сделать довольно много. Мы работали с Алей с увлечением, обстановка к этому располагала. Увидев, как я написал «задник» для сцены открытого пионерского «зеленого» театра, Аля воскликнула: «Я впервые уверовала в тебя!»

Молодой начальник лагеря и его сотрудники относились к нам, как к равным, мы вместе обедали, ночевать нам с Алей разрешили в отдельном доме. В перерывах от работы мы рисовали «для себя». Этот июнь 1950 года был самым светлым временем моей красноярской ссылки.

Конечно, не обошлось без некоторых огорчений. Местный совхозный художник, оказавшийся не у дел, повел против меня интригу, настроил соответственно бухгалтерию, которая хотела меня прижать с зарплатой, якобы, за недоброкачественность оформления. Здесь я уже не сдержал себя и потребовал, чтобы они не судили выше сапога. Домой мы с Алей вернулись в бодром настроении. Очень скрашивал наш быт рыжий Тимошка, необычайно добродушный и верный. Днем в мое отсутствие он где-то

- 195 -

бродил, но стоило мне подойти к крыльцу, как он тут же прыгал с чердака дома мне на плечи. Милый кот.

Аля вносила солнце в мою жизнь. Мы проводили дни на Енисее, на его островах. На этот раз очередной отъезд Али не был столь драматичен. Осложнения начались в 1951 году.

В начале лета приехала тетя Нина. И в это же время ко мне стала придирааться комендатура, требуя моего выезда из Красноярска в любой район. А я как раз готовился к новой поездке в Миндерлу для обновления старого оформления. Майор хозчасти УНКВД отхлопотал мое выселение из города, но по его отношению ко мне я почувствовал, что что-то произошло. Может быть, на меня кто-то «наклепал»? Причины высылки мне не сообщали. Тетя Нина приехала, я продолжал работать, побывал в Мин-дерле, где мне уже не пришлось обедать со всем персоналом. В Красноярске была та же картина. И вот «в один прекрасный день» к дому, где я жил, подкатила телега с каким-то младшим чином НКВД, который потребовал, чтобы я собирался «с вещами». Все это происходило на глазах бедной тети Нины. Она что-то лепетала в мою защиту, но разве с бандитами можно говорить по-человечески! Я расплатился и попрощался с хозяевами, попрощался с тетей Ниной, взяв с нее слово, что она проживет в моей комнате, пока я не дам телеграммы о прибытии «на место». Слава Богу, у тети Нины хватило выдержки, чтобы не разреветься. С ней остался мой Тимошка.

Через некоторое время я был уже на речном вокзале, где шла погрузка большого этапа арестантов на пароход. Значит, меня приплюсовали к очередному этапу. На берегу стояла толпа провожающих, среди нее я увидел и тетю Нину с моей доброй хозяйкой. Они утирали слезы. Погрузка шла долго, с парохода, с его нижней палубы я уже не видел тети Нины и тут предался горестным размышлениям...

«За что? Что я сделал? Куда меня везут? Что со мной будет? Не есть ли это конец моей жизни?» Такие, примерно, вопросы сверлили и мучили мой мозг. Я сидел в стороне от всех, но обратил внимание, что недалеко от меня сидит группка мужчин явно не из общего этапа, а, подобно мне, «приплюсованных» к нему. Пароход шлепал своими колесами, я все сидел, подперев поникшую голову руками, пока один из упомянутой группы не обратился ко мне: «Не ломайте зря голову, чему быть — того не миновать», и еще что-то в этом роде. Мы обменялись биографиями. Оказалось, что они тоже высланы из Красноярска, неизвестно почему и за что. Самый дородный из них — москвич, работал в министерстве, производил впечатление далеко не рядового человека. С длинной еврейской фамилией на букву «Ш». Куда нас везут — никто не знал... На красоты берегов Енисея уже не хотелось смотреть. Душа словно окаменела.

- 196 -

«БЕЛЬСКАЯ ЭПОХА»

Наш пароход подходил к устью Ангары. Низкий правый берег енисейско-ангарской Стрелки своим песчаным обликом напоминал что-то родное, окское, но противоположный берег своей скалистой возвышенностью и суровой лесистостью говорил об обратном...

Выгрузка всех этапированных на песчаный берег и затем перегрузка на баржу заняли чуть ли не целый день. Эту открытую баржу, приспособленную, видимо, для транспортировки песка, потащил вверх по Ангаре довольно тщедушный катер, так что мы продвигались медленно. Все это: загруженная арестантами баржа, медленное продвижение через пороги (их было не менее двух), дикая природа на скалистых берегах — заставляло вспомнить описание протопота Аввакума, как его с попадьею волокли на дощанике в Братский острог. Это было более 300 лет назад! Выходит, что демократия за этот трехвековой период не продвинулась ни на шаг!

К вечеру наш унылый транспорт достиг большого села Мотыгино и стал разгружаться. Выяснилось, что в Мотыгине находилось отделение Красноярского геологического Управления. Значит, мы поступили сюда в

качестве полудармовой рабочей силы. Точнее — рабсилы.

Всю ночь шло выкликание фамилий, в подхопившие грузовики погружались партии по 25 человек, и их куда-то увозили. Куда? Вскоре дошла весть: людей увозили на железорудные разработки в «Раздольном», к Северу от Ангары. Железорудные разработки! Это звучало довольно зловеще. Вряд ли это более легкая работа, нежели колымская золотодобыча. Выдержу ли я?

Людей, ожидающих отправки, становилось все меньше, все мы разлеглись на траве, дремали. Стояла чудесная, теплая предосенняя ночь, в тайге хлопали крыльями полууснувшие птицы, с Ангары доносился луговой аромат. И над всем этим миром раскинулось небо с яркими звездами. Жить бы, да и жить. А над каждым из нас уже нависла страшная неизвестность... Как тут

- 197 -

было не вспомнить строки «Воскресения» Льва Толстого: «Люди считали, что свяшенно и важно не это весеннее утро, не эта красота мира бытия, данная для блага всех существ, — красота, располагающая к миру, согласию и любви, а свяшенно и важно то, что они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом».

Уже под утро оказалось, что на десяток человек, на меня в том числе, нет никаких распоряжений. Местное начальство тут же решило: образовать из нас рабочий отряд, придать ему десятника, снабдить геологическим инструментом, посадить на лодку и отправить в соседний совхоз «Вельск», где планировалось начать геологические разведки бокситов (белых глин). Это было спасением!

Мы проплыли Вельск накануне, теперь дружно гребли обратно. По течению греблось легко, и к утру мы выгрузились у какого-то пустого, полузаброшенного прибрежного барака, который и стал нашим временным пристанищем. В Вельске к нам примкнул молодой коллектор Андрей Ляхов, под руководством которого началась разбивка через таежные заросли разведочных линий, и стали намечаться точки для шурфов.

Настоящей базой для нас стал не прибрежный барак, в котором остались жить некоторые работники, а совхозный поселок Вельск. Он состоял из одной улицы, тянувшейся от реки вверх по склону, со зданием клуба и магазином на центральной площади. Примерно на полпути подъема стояла ветряная мельница. Она придавала поселку среднерусский деревенский мирный вид. На самом же деле было не так. Население совхоза состояло, как и на Красноярском кирпичном заводе, из ссыльных украинцев, казахов, немцев... Были и татары, молдаване и др. Почти все они построили себе небольшие дома. У них многие из нас и снимали себе углы или комнаты. Я снял комнату у Галины Матвеевны Костюченко, сын которой, Николай, работал мотористом на совхозном катере. Я тут же попросил Николая привезти мне с очередным рейсом тетю Нину, для чего сообщил ей, где надо искать в Красноярске совхозный катер. Этот катер регулярно возил в Красноярск овощную снедь (картофель, лук и пр.), которая выращивалась здесь для УНКВД.

Меня определили на работу рабочим при вороте, посредством которого вытаскивалась в бадье земля из шурфа. Шурф копал опытный вольнонаемный шурфовщик. Моим напарником по вороту оказался еврей из Латвии, некто Цандер. У него не было никакой сноровки. Еще менее он владел топором и пилой (нам надлежало делать крепи для шурфа). Ужасно мучили комары и

- 198 -

тучи мелкой и очень злой мошки. Ни рукавиц, ни накомарников (как на Колыме) у нас не было. Лицо и руки были в крови. Цандер быстро сбежал и вскоре устроился экспедитором в Мотыгине. Мне дали другого напарника — местного старика Ковшова, который быстро научил меня, как делать крепи. К приезду тети Нины я уже стал заправским крепежником и зарабатывал себе на пропитание и квартиру. Меня очень поддерживала хозяйка. У нее была корова, я мог вдоволь пить молока и есть простоквашу. В свою очередь я помогал ей в заготовке сена для коровы, а также дров. Все это давала кормилица тайга. Невольно вспоминался колымский сенокос.

У тети Нины была романтическая натура. Ей очень понравились Вельск, тайга, широкая Ангара. Откуда-то у нас появились накомарники, и тетя Нина совершала большие прогулки, однажды чуть не заблудилась в тайге. А вскоре ко мне приехала (с тем же катером, но с другим его рейсом) и Аля. Я очень ждал ее. Десятник, вероятно, понимал это иначе, так как я заметил, что он стал посылать меня на разведочные работы в лес с одной из девиц — коллектором, надо признать, очень красивой Леной Безруких. Возможно, и она почувствовала что-то и однажды пришла ко мне после работы с приглашением на какую-то кинокартину. Мне пришлось разыграть роль неинтересного старика... Не очень-то мужественно. Приехавшая вскоре Аля высмеяла меня. В этом отношении ее взгляды были свободнее.

В Вельске постепенно стала образовываться своя интеллигенция. В геологическом отряде ее представлял пока я один. Но вскоре к нам прибыли верхом на красивых конях два молодых человека: Николай Гудошников,

ставший начальником Вельской партии, и Константин Боголепов, ссыльный москвич, главный геолог. Затем появились три девушки-коллекторы и, наконец, Павел Попов, ссыльный биолог, и за ним — Георгий Кондратьев с женой и сыном, сосланные с КВЖД.

Кроме того, в поселке Вельском отбывали ссылку две ленинградки: Эйхман (секретарь академика И. П. Павлова) и Нейвальдер (пианистка). Наконец, надо сказать об одном таинственном человеке по имени Нико Вали. Мы знали, что он иранец, репрессированный за какие-то пограничные дела, очень сведущий в разных военных (в том числе) космических вопросах. Он первый из нас приобрел приемник «Родина», слушал за границу, рассказывал о том, что скоро в космосе будут летать изготовленные на земле платформы, на которых будут строить заводы. Что-то секретное он знал о Берии. Я его уважал, но побаивался.

- 199 -

Душой всей этой разношерстной «компании» стал Константин Боголепов. Сын московского профессора-латиниста, Константин Владимирович сочетал в себе талантливого геолога-разведчика и образованного филолога. У него были великолепные организаторские способности. Я поражаюсь его смелости, его принципиальность поддерживала в ГРП высокий моральный дух. Когда один из бурильщиков, бывший военный, был застигнут в мошенничестве, и попытался пригрозить К. В. Боголепову каким-то нечистоплотным политическим намеком, то он тут же был изгнан из ГРП без права возвращения в нее. Н. Г. Гудошников смело поддерживал Боголепова.

Вскоре наша партия пополнилась хозяйственными работниками, на горе, над Ангарой, были построены жилые и служебные дома (в одном из них жил Боголепов, женившийся на вольнонаемной коллекторше Лидии Шатных), организована лаборатория споро-пыльцевого анализа. В целях поддержания культурных интересов мы делали доклады. Я прочитал доклад о Леонардо да Винчи в связи с каким-то его юбилеем. Это было самоутешением.

Естественно, Константин Владимирович постарался освободить меня от земляных и крепежных работ. Сначала я стал наблюдателем за бурением скважин, а затем — чертежником и... гидрогеологом. Составленную мной гидрогеологическую карту бельского месторождения глин Боголепов возил в Красноярск. Доверялась мне даже такая работа, как консультация (в отсутствие Боголепова) должного прибыть к нам инженера по «привязке» наших буровых скважин к секретной (!) карте. Инженер действительно прибыл, и кто же, как вы думаете, это был? Никто иной, как бывший «зек» с Колымы, с которым я работал осенью 1937 года на сенокосе — армянин Мкртычан. Естественно, мне хотелось подбить его на воспоминания, но он оказался на редкость чванливым, дутым, неразговорчивым человеком. Да и инженером он оказался бестолковым. Я же довольно скоро усвоил работу с нивелиром, так что Боголепов доверял мне разбивку разведочных линий на далеких таежных участках.

А вот доверие другого рода. Я один ездил на лошади в Мотыгино за зарплатой на всю нашу партию, вез несколько тысяч через тайгу. И — ничего. Все проходило благополучно.

Наиболее дружную тройку составляли Боголепов, Попов и я. Мы иногда собирались и проводили вечера за разговорами. Конечно, и о политике, но, главное, о философских вопросах. Мы

- 200 -

были разные: Боголепов — западник, Попов — скорее славянофил, а я? Не знаю, кем был я. Не знаю и до сих пор! Скорее всего, я был и остался своего рода «центристом».

После колымской эпопеи я стал равнодушен к философии марксизма (за исключением диалектики) и не увлекался ни одной теорией, ни одним направлением. Это не означало, что я был равнодушен ко всему. Но мир казался мне таким необъятным, таким многообразным и, в конечном счете, непознаваемым, что я положительно относился ко всякому его постижению, если в этом постижении была крупинка истины, правды. Сделать какое-нибудь полезное дело, продвинуть мысль вперед на конкретном материале мне казалось достойнее и благороднее. К тому же я не любил разглагольствовать. Может быть, поэтому мне были совершенно не интересны споры. Спорили, подчас до ожесточения, Боголепов и Попов. У обоих были свои характеры. Чаще всего оказывался прав Боголепов, обладавший широкими знаниями. Попов был более субъективен, но на мир смотрел глубже. Христианское мировоззрение его отличало единством слова и дела. Он был очень добр. Позднее, когда я уже уехал из Вельска, Попов женился на ссыльной Таисии Георгиевне, у которой при аресте где-то в Минском руднике осталась отнятая у нее девочка. Павел Александрович выхлопотал разрешение на поездку, с трудом разыскал, как он рассказывал мне, одичавшего ребенка, ввел его в свою семью, вырастил, дал образование, за что получил двух прекрасных внуков. В конце концов, благородно поступил и К. В. Боголепов, женившись на симпатичной Лиде Шатных. И он вывел ее в люди, у них скоро родился Саша, к сожалению, не перенесший суровой зимы. Похороны его были очень печальны... Потом у Боголеповых выросли другие дети.

А я этого не сумел сделать. Мы были счастливы с Алей как муж и жена, но иметь ребенка боялись. Я боялся своей полнейшей материальной необеспеченности, а Аля — наследственности (Аля с детства страдала нарколепсией).

Какова будет наша новая встреча? Выдержат ли нервы? Уже издали я увидел фигуру Али на барже. На берегу ее встречала чуть ли не вся наша бельская группа. Как-никак, но это было событием.

В Вельске мы стали ближе друг другу под влиянием природы, то есть свободы от различных гримас и уродств большого города. Углубившись в тайгу, мы чувствовали себя первозданно-цельными существами, забывали о том, что ожидает нас впереди. Я смело могу сказать, что приезд Али в такую сибирскую

- 201 -

даль вселял в меня жизненные силы, укрепляя дух, поддерживал веру в более светлое будущее.

Удивительное дело! Не симпатизируя друг другу в Москве, Аля и тетя Нина очень дружно жили в Вельске. Подружились они и с Константином Владимировичем. Как в Красноярске, проведенный с Алей месяц в «Миндерле» был самым светлым периодом моей ссылки, так и в Вельске лето 1951 года осталось в моих воспоминаниях самым лучшим временем. Я не имею права сказать — счастливым.

Ведь никуда нельзя было деться от осознания бессрочности ссылки. Каждый 10 дней я должен был «отмечаться» у жившего в Вельске уполномоченного НКВД. Правда, он совершенно не вмешивался в нашу жизнь, будучи справедливо уверен, что никто из нас никуда не денется. Полагаю даже, что он вряд ли считал нас за «врагов народа». Вообще моя ссылка на Ангару не была похожа на то, что так красочно описал А. Н. Рыбаков в романе «Дети Арбата». А ведь герой его романа отбывал ссылку недалеко от Мотыгино, в Богучанах. Да и герои были разные, хотя Боголепов был тоже с Арбата. Но у Рыбакова это — комсомолец, а Боголепов был антикомсомольцем. Впоследствии он стал членом-корреспондентом Академии наук СССР и готов был стать академиком, но жизнь его трагически оборвалась. К этому я еще вернусь.

С приближением холодов я должен был позаботиться об отправке тети Нины и Али в Москву. Способ был только один: катером до Красноярска. Коля Костюченко очень помогал мне. Сначала уехала тетя Нина. Аля задержалась до первых морозных дней, и я очень боялся, не простудится ли она. По возвращении в Москву она написала, что доехала на катере до устья Ангары (до знакомой мне Стрелки), а далее до Красноярска ее довезла какая-то автомашинка. В Красноярске базовым гостеприимным пунктом оставался дом Ильчука, семья которого стала мне близкой.

Расставание с Алей было очень тяжелым, словно от меня заживо отрывалась часть моего существа. Я долго смотрел вслед удаляющемуся катеру и плакал... Мое одиночество разделяла ласковая собачка Белка, к которой я проникался нежностью. Вместе мы вернулись домой.

В нашей геологической партии у меня было много работы. Зима выдалась очень снежная, я должен был ходить на дальние скважины на лыжах. Боголепов ходил ловко, я же часто падал. Зимой в заснеженной беззвучной тайге царил волшебная красота. Да и вообще в Вельске кругом во все времена года было очень

- 202 -

красиво, и это помогало переносить ссылку. Летом 1952 года наша георазведка перешла на реку Тасеево (южный приток Ангары), и тут на одной из песчаных террас были обнаружены следы стоянки времен железного века в виде очагов со шлаками. Вокруг них я насобирал много различных черепков от древних сосудов. Все это пробудило во мне археологический интерес, поддержанный Боголеповым. Я стал просить Алю прислать мне соответствующую литературу, из которой узнал, что археологией Приангарья уже много лет занимается ленинградский ученый (тогда — член-корреспондент, впоследствии — академик) Алексей Павлович Окладников. Его статьи вдохновили меня на сочинение публикации о тасеевской стоянке, для чего я сделал графические иллюстрации. Мою духовную жизнь питали художественные работы, поручаемые все тем же Боголеповым. Я усиленно и с увлечением работал над реконструктивными видами бельского течения Ангары в различные геологические эпохи, а также над портретами ученых — Карпинского, Вернадского и других, которыми украшалась наша камералка. Возродился мой интерес и к акварели с натуры. Вельские красоты давали богатейший материал. Благодаря этому память о Вельске сохранилась у меня не только в мозговых извилинах, но и в рисунках (весьма слабых). Кроме того, я увлекся фотографией, сначала пейзажной, а потом и портретной.

К стыду своему не могу вспомнить, приезжала ли ко мне тетя Нина летом 1952 года. Аля приезжала. С ней я уже стал серьезно задумываться над устройством дальнейшей жизни. Надежды на окончание ссылки не было. В стране шли процесс за процессом. Казалось, что весь народ был врагом самого себя. Было решено менять московскую квартиру Али на Красноярск, где, мы надеялись, ее снова могли бы взять на работу в

архитектурный отдел. С красноярскими архитекторами у Али поддерживалась связь, и один из них даже останавливался у Али в Москве. Аля решалась на такую перемену жизни не только из-за меня. Ей хотелось вырваться из полосы московских неудач с работой, из иждивенческой жизни под крылом тети Кати. И вообще Аля очень страдала от несамостоятельности, от невыраженности себя в творчестве.

Вторая зима в Вельске прошла так же спокойно, как и первая. Но в моей жизни произошли перемены. Коля Костюченко женился, и мне пришлось искать новую комнату.

Я быстро нашел ее у семьи ссыльного украинца Ивана Григорьевича Даниленко, который, как и большинство ссыльных, по-

- 203 -

строил свой дом. Дом был небольшой: две комнаты и кухня. В большой комнате жили хозяин с женой Ольгой Сергеевной и двумя ребятами. Маленькую комнату уступили мне. Это было несправедливо с моей стороны, но тогда, в тяжелейших условиях, многие этические вопросы, увы, упрощались. А, может быть, я ошибаюсь. Может быть, Даниленками двигало вовсе не желание иметь от меня энную сумму, а именно сочувствие. Оба, особенно Ольга Сергеевна, были чрезвычайно добры ко мне. Ольга Сергеевна взяла все бытовые заботы обо мне на себя. Конечно, и я ценил ее. Когда в ожидании третьего ребенка она оказалась в Мотыгинской больнице, я навещал ее и носил какое-то угощение. В Вельске даже судачили, что будущий ребенок — мой. Так необычны местным жителям казались мои посещения чужой роженицы.

С ребятами — Колей и Витей — я тоже сдружился. Видя меня идущим с работы, они бежали навстречу с криками: «Дядя Гоша, дядя Гоша!» Я тут же наделял их чем-нибудь сладким. Но вот поразительная вещь! Когда из присланной Алей посылки я сварил ребятам какао, то они... не стали пить! Отвернулись.

У Даниленок я жил как у Христа за пазухой. Мне было очень больно за них. Работая с утра до ночи в совхозе, они получали какие-то гроши. И я не мог им помочь, так как по возможности посылал свободные деньги по-прежнему безработной Але. Сам же, к стыду своему, принимал помощь от тети Нины. Кроме денег она прислала мне специально изготовленные сапоги, чтобы было удобнее бродить по разбросанным в тайге геологическим точкам. Все это было крайне бесстыдно, неэтично, но... Если уж говорить о высокой этике, то неэтично было мне размениваться (для заработка) на изготовление «ковров» на полотне масляными красками в духе кича. Правда, меня очень упрашивали заказчики, и я старался не очень халтурить, но кич есть кич. Слава Богу, на моей совести было только два таких «ковра». Описывать их я не хочу.

Детвора Вельска почему-то была расположена ко мне. Особенно доверчиво относились две девочки, обе Лиды. Одна, дочка соседней Галины Костюченко, была по-цыгански красива. Отец ее — старший механик катера, способствовал «плаваньям» по Ангаре и Енисею тети Нины и Али ко мне и от меня. Добрейший человек! Другая Лида была очень мила по-немецки. Она приходилась внучкой хозяйке Павла Александровича Попова, ссыльной немке Миллер. Обе девочки вносили поэзию в нашу отшельническую жизнь. Где и кто они сейчас?

- 204 -

Наступил 1953 год. У Али почти все было готово к обмену московской квартиры на Красноярск. В местной газете появилось соответствующее объявление. Поспешит Аля с обменом, и все у нас полетело бы кувырком. Местное радио донесло до нас долгожданную весть: умер Сталин. Мы действительно этого ждали, так как только это могло вернуть нам свободу. Хотя бы относительную. А вскоре разнеслось известие о разоблачении Берии. Хотя «Холодное лето 1953 года» нашло в кинематографе трагическое воплощение, но в нашей бельско-мотыгинской тайге все было тихо. Может быть, потому, что крупные лагеря были довольно далеко, а в Мотыгине содержалась немалая охрана. Как-никак, но в геологии тоже были свои секреты.

Что тут было, какой вспыхнул душевный подъем — невозможно моими скудными средствами описать. Мы забыли о текущей работе, непрерывно обменивались мнениями, перспективами, совершенно не представляя, конечно, как жизнь пойдет далее.

Между тем, нам было известно, что все в стране шло далеко не гладко. Шла борьба за власть, детали которой, да и само направление нам, ссыльным, не были ясны. Мы жили ожиданием перемен. Первой переменной для нас был вызов в местные органы (какие — не помню) и выдача справок для получения паспортов. Вероятно, это случилось уже после прихода к власти Н. С. Хрущева (почему-то у меня не сохранилась переписка 1953 года). О Хрущеве, особенно после его отстранения от власти, сложились разные мнения, но то, что он дал свободу незаконно репрессированным, — это не оценить никак нельзя.

За паспортом надо было ехать в Раздольное. На это ушло два дня. В лето 1953 года я был уже с паспортом, в котором не значилось «минус 17», как в колымском, то есть, я мог ехать в Москву.

Ехать в Москву! Легко сказать. А с чем я поеду? Никаких сбережений я не имел, все посылал Але. И что буду делать без диплома, без связей? На чью шею сяду? Ведь и Аля нигде не устроена. Опять быть на иждивении тетушек? Такие и подобные мысли, может быть, даже не столько мысли, сколько чувства, одолевали меня, не давали ощутить полную радость. Началась оживленная переписка между мной и Алей, Алексеем Андреевичем, тетей Ниной, разными старыми знакомыми, имеющими какой-либо вес. Я хотел проверить себя, к чему я еще гожусь.

Все, кроме Али, советовали скорее возвращаться, «ковать железо пока горячо». Аля полностью положилась на меня, но

- 205 -

тут же отменила свой квартирный обмен. Меня, кроме всего прочего, соблазняли тем, что в Москве близилась к концу выставка картин Дрезденской галереи. О какой Дрезденской галерее может идти речь, когда нет никакой уверенности в завтрашнем Дне!

Здесь надо сказать, что Аля оказалась на большой душевной высоте. В отличие от наших добрейших тетушек, она поняла меня. Вот ее письмо ко мне (приведу его в отрывках):

«24 сентября 1954 г.

...А главное, чем я втайне горжусь, это то, что ты не оставил Константина Владимировича. В моем представлении мой муж так и должен был поступить, а не лететь навстречу "семейным радостям", забыв товарища. Ты поступил как настоящий мужчина и ты прости меня, что я сбивала тебя с пути истинного».

А перед этим было еще письмо от 7 сентября:

«...Самое главное есть то, что подсказывает голос твоей совести. Я знаю, что ты правильно поступил по отношению к Конст. Владимировичу и не можешь поступить неправильно. Обязательно оставайся и так и делай. Это все очень хорошо».

Еще раз напомню, что это писала больная, слабая женщина, крайне нуждающаяся в моей поддержке.

Письма Али утвердили меня в правоте моих мыслей. Перед разочарованными тетушками я готов был держать ответ. Я не видел «горячего железа», которое нужно было скорее ковать. Никто мне такого железа на наковальню не клал. Да и наковальни никакой не было. Если можно было говорить о железе (хотя бы и не горячем), то я видел его в своих археологических материалах со стоянки на реке Тасеевой. Это были новые материалы, я знал им цену, с них можно было что-то начать. Но для этого нужна была апробация, которую мог дать только Алексей Павлович Окладников. И я решил напроситься сотрудником в его ангарскую экспедицию, база которой была в Иркутске.

Я начал налаживать связь с Окладниковым (он жил в Ленинграде) через моего верного старого друга Алексея Андреевича Быкова, хорошо знавшего Окладникова. Одновременно я стал усиленно изучать литературу по археологии Прибайкалья и Приангарья. Литературу присылала Аля, полностью полагавшаяся на мое благоразумие. Константина Владимировича Боголепова и вообще нашу геологическую партию я не хотел бросать второ-

- 206 -

пях. Ни Боголепов, ни Попов паспортов еще не получили, и судьба их была неизвестна. Алексей Андреевич убеждал меня в том, что я разыгрываю совершенно излишнее благородство. Это меня удивило. Быков был сам благороднейшим человеком. Видимо, желание видеть меня поскорее вернувшимся перевесило. Но я уже утвердился в своем намерении. Оставалось ждать.

Сейчас мне трудно вспомнить, почему пришлось ждать так долго. Скорее всего потому, что попасть в экспедицию к Окладникову в 1954 году я опоздал, и надо было ждать следующего лета.

Протекал последний год моего пребывания в Вельске. Приобрета уверенность в возвращении на этот раз уже не в Рязань, а в Москву, я постарался воссоздать в памяти мои рязанские архитектурные сюжеты и написал статью, которую мне переписывала набело Надежда Ивановна Нейвальдер. Это было мое первое возвращение к прежним занятиям за все время ссылки. Своего рода репетиция или тренировка ума. Она потом мне очень пригодилась. С наступлением весны я уже начал психологически подготавливать себя и своих друзей к расставанию. Я много их фотографировал, и сейчас они все передо мной, как живые. Кстати, я думал и о том, что смогу пригодиться Окладникову не только как художник, но и как фотограф. У меня к тому времени имелись два фотоаппарата: отечественная «Москва-1» и немецкая зеркалка «Эжакта», купленная у нашего геодезиста. Я уже умел проявлять и закреплять пленки, так что чувствовал себя во всеоружии.

Согласие Окладникова принять меня в свою ангарскую экспедицию было, наконец, получено, и мне надлежало прибыть в Иркутск.

И вот, в июле 1955 года наступил день расставания. Он был приурочен к очередному рейсу совхозного катера в Красноярск, с которым я намеревался доехать до ангарской Стрелки, а там, по примеру Али, пересест на попутную автомашину.

Очень теплым было прощание с семьей Даниленко. У них я жил последние два года, как член семьи. Константин Владимирович с Лидией Леонтьевной устроили торжественный прощальный обед. Затем собрались всей компанией и сфотографировались. Конечно, никаких речей не было, но были дружеские напутствия, пожелания. У меня вовсе не было тягостного чувства, что мы расстаемся навеки. Я был уварен, что все мои друзья получают паспорта и вернутся по домам. Что мы обязательно будем встречаться. «Вельская эпоха» вошла в наши жизни не про-

- 207 -

сто каким-то случайным эпизодом, а как нечто особенное, не рядовое, отмеченное силой и даже высотой духа. Я не берусь утверждать, что наша жизнь и работа в Вельске были своего рода показателем истинной сути русской интеллигенции, но что все мы оказались на высоте человечности — это правда. Думаю, что не всякое случайное сообщество людей могло проявить такую моральную стойкость. Я покидал Вельск с чувством глубочайшей благодарности за все, что я здесь увидел и получил. С палубы баржи, которую тащил катер, я долго смотрел на удаляющийся Вельск, на его строения, на ветряную мельницу, пока весь этот неповторимый мирок не скрылся за поворотом Ангары...

- 207 -

С А.П. ОКЛАДНИКОВЫМ

Как я и намечал, на Стрелке мне удалось перебраться с катера на попутную грузовую машину, и, отмахав на ней «с отбитыми печенками» 300 километров, я оказался снова в знакомом Красноярске. Первый приют я нашел в Доме колхозника, но затем, конечно, перебрался к Ильчукам. Девочки за прошедшие четыре года заметно повзрослели. Рая стала настоящей красавицей. У Сони я стал крестным отцом. Мне захотелось нанести «визиты вежливости» начальству кирпичного завода и майору Селезневу, которые в свое время по-человечески относились ко мне — ссыльному. На заводе я узнал, что Каплинский уже вернулся в Москву. А я уезжал в противоположном направлении, в Иркутск. Не делаю ли я ошибки? Эта мысль нет-нет да сверлила мой мозг. Но страх оказаться в Москве в униженном положении безработного гнал меня к Окладникову. В нем я видел свое «спасение».

В Иркутск я приехал впервые (не считая проезда его «транзитом» в телячьем вагоне в 1937 и 1947 годах). Мне надлежало явиться в Художественный музей, где была база археологической экспедиции Окладникова. Алексея Павловича ждали здесь со дня на день. Меня встретил директор музея Алексей Деметьевич Фатьянов, очень энергичный и добрый человек, видимо, не первый год друживший с Окладниковым. Не знаю, чем я расположил к себе Фатьянова: своими видом, рассказами о своей судьбе, готовностью, с какой Окладников приблизил меня к себе? Приехавший вскоре Алексей Павлович действительно отнесся ко мне очень участливо. Высокий, подвижный, очень живой и

- 208 -

простой в обращении, Окладников произвел на меня сильное впечатление. Он сделал меня своим секретарем. Мои тасеевские находки были тут же определены им как следы раннего железного века в Нижнем Приангарье. Дополнительного интереса Окладников к ним не проявил, и они до сих пор так и пылятся в моем домашнем архиве.

С Окладниковым и Фатьяновым мы подолгу засиживались по вечерам на скамье в ближайшем сквере. Я рассказывал о себе все без утайки и, вероятно, вошел в полное доверие. Начинался новый период в моей жизни, за которым должно было последовать Воскресение.

Ближайшая окладниковская программа была такова: купить моторную лодку и произвести на ней разведку вдоль Ангары до Братска, где уже работал один из отрядов экспедиции. Но еще до отплытия Окладников

поехал, взяв меня с собой, к верховьям Ангары. Там предполагалось строить Ангарскую ГЭС, и в связи с этим производил раскопки другой отряд экспедиции. Этот пункт носил название «Патроны».

Мы прибыли в «Патроны» и были встречены начальницей отряда Евгенией Федоровной Седакиной, у которой мне и надлежало в будущем работать. Но Окладников спешил в Братск. В лодочное плавание кроме меня Окладников брал трех ленинградских студентов, один из которых делал Окладникову уколы инсулина (Окладников страдал диабетом). Вместе с мотористом это составляло экипаж в шесть человек плюс груз. Едва мы отплыли от иркутской пристани, как лодку через плохо просмоленные щели в верхней части стало довольно быстро заливать водой. Глазеющая на аргонатов публика потешалась. Пришлось пришвартовываться к берегу, сушить груз. Тут же Окладников сократил экипаж до четырех человек.

Я остался, а двум ленинградцам велено было добираться до Братска пароходом.

Путешествие с А. П. Окладниковым на моторной лодке от Иркутска до Братска было лучшими днями моей жизни и работы в ангарской экспедиции. Я чувствовал себя обновленным, способным к интересной деятельности, открывающей дорогу в будущее. Мы делали остановки в примечательных местах, производили небольшие раскопки. Мне даже удалось вскрыть одно древнее погребение. Значительная остановка была в Балаганске, где тоже работал один из отрядов экспедиции Окладникова. Алексей Павлович был влюблен в Ангару и Приангарье. Высадившись в каком-нибудь археологически приметном месте, он легко ходил

- 209 -

в поисках признаков пребывания древнего человека и обязательно находил их. В своих тяжелых сапогах я едва поспевал за ним. При этом он никогда не терял хорошего настроения. Каких только историй он нам не рассказывал. Между прочим, Окладников был мой ровесник, но я чувствовал себя перед ним каким-то незнайкой. Его интересовало все: от ничтожного черепка до наскальных рельефов. На одном из ангарских островов было множество наскальных древних изображений. Мне впервые открывался этот мир. На отвесной стене скального массива, примерно на двухсаженной высоте длинной вереницей тянулись изображения оленей, сцены охоты и непонятные знаки, частью выбитые по контуру, а частью нанесенные красной охрой. Как это могло сохраниться в течение нескольких тысяч лет! Я фотографировал без устали. А мы плыли все дальше и дальше, разбивая к ночи палатку где-нибудь в особо привлекательном пункте.

Окладникову я обязан и тем, что он обратил мое внимание на деревянную архитектуру приангарских сел. Это были все старые села, не позже XVII в. В них виднелись строения с древними традициями. Я принялся их активно фотографировать. Через некоторое время, с вводом Братской ГЭС, все эти села должны были уйти на дно Братского моря.

Примерно через 4—5 дней мы доплыли до Братска. С братской горы, увидев нашу лодку, нам усиленно махали платками, шапками и кричали студенты археологического отряда. Здесь же оказалась и Е. Ф. Седакина, прибывшая на пароходе. Меня удивило, что древняя неолитическая стоянка, которую раскапывали студенты, находится так высоко над уровнем Ангары. Здесь я впервые увидел найденные при раскопках каменные изделия в виде рыб.

В Братске было немало старых домов. Еще стояли две башни старого (XVII в.) братского острога, в одной из которых сидел в заточении протопоп Аввакум. (Позднее она была перевезена в Москву, в музей «Коломенское».) Из Братска я совершил поход к порогу Падун, где тоже нашел очень старые дома. В моей голове уже созрел план будущей статьи.

Алексею Павловичу надлежало ехать на Лену. Перед отъездом он сказал мне то, о чем я мечтал: по возвращении в Москву он поможет мне устроиться в Институт археологии Академии наук СССР. Я посадил Окладникова на поезд и занялся, по его велению, погрузкой нашей ладьи на пароход, а потом, вместе с мотористом вернулся в Иркутск. Так закончилось мое первое путешествие по Ангаре.

- 210 -

Второе я совершил уже без Окладникова, с Е. Ф. Седакиной. Оно было более трудным. Приближалась осень, шли дожди. Неожиданно отказал лодочный мотор, и мы километров 500 шли на веслах. Промокшие и озябшие, мы разбивали на ночь палатку, выпивали по стакану водки, закусывая чем Бог послал. Никакая простуда к нам не приставала, что заставило меня вспомнить похожую картину в далеком Хатыннахе. На этот раз плавание растянулось на неделю. Зато мне удалось очень много фотографировать. Немало фотографий я привез и из поездки с отрядом Седакиной по старому якутскому тракту в Кудинскую степь. Работа близилась к концу. Я был очень доволен. Единственным плохим впечатлением осталась личность бухгалтера ангарской экспедиции. Этот с виду довольно приличный человек был пристрастен к вину и в нетрезвом виде грубо намекал мне на мою политическую неблагонадежность. Хорошо, что я забыл его фамилию. А. Д. Фатьянов,

наоборот, сблизился со мной. С его помощью в иркутской газете была напечатана моя статья о деревянном зодчестве Приангарья.

Получив расчет, купив себе медвежью шкуру, я распрощался с новыми друзьями и поехал в Москву. Как и Бельск, Ангара навсегда останется в моем сердце ступенькой к Воскресению.

- 213 -

ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Я вернулся в Москву осенью 1955 года, через два года после получения паспорта. На этот раз на Ярославском вокзале меня горячо встречали тетя Нина, Аля и Милица Ивановна Знаменская. Естественно, встреча с нездоровой Алей не могла быть бурной. С Алей и тетей Ниной я поехал на квартиру Алиной тети — Екатерины Александровны Левашовой, с которой Аля, имея свою комнату в другом районе Москвы, и жила. Вскоре приехал находившийся в Москве Алексей Андреевич, и начался (после обязательной ванны, конечно) праздник встречи.

Интересно отметить, что, как и при встрече 1947 года, никто не расспрашивал меня о пережитых трудностях, о том, что было. Меня тоже нисколько не тянуло к рассказам о пережитом. Хотелось смотреть вперед, а не назад. Все разговоры сводились к событиям дня: что делать, как жить, куда и к кому идти. Встреча с Людмилой Константиновной была очень трогательной, хотя оба мы знали, что к рязанской Весне не может быть возврата. Конечно, уже в ее отсутствие, когда я остался наедине с родными, решено было: зарегистрировать брак с Алей; прописаться в Алиной комнате, которую она намеревалась менять на Красноярск; изредка ночевать там, но жить в квартире у тети Кати. Так все и было сделано. Прописка, благодаря регистрации брака, прошла беспрепятственно.

Теперь уже я ловлю себя на некоторых странностях тогдашних событий. Например, я не предпринял никакого разговора с Алиной тетей о женитьбе на Але, о том, что буду жить здесь же. Это разумелось как бы само собой. Я уже входил в семью как зять. Но Аля намекнула мне, что за стол надо было бы платить тете Кате. Не может же она содержать нас. У меня были кое-какие накопления, но я понял, что надо срочно, не дожидаясь приезда Окладникова, устраиваться на работу. Куда?

- 214 -

Раньше, еще до возвращения, не мечтая о прописке в Москве, я согласен был жить и работать в Коломне, в Загорске, в Звенигороде, но, конечно, не в Рязани. Теперь же можно было устраиваться в Москве. О музеях не могло быть и речи, за 15 лет я деградировал. Память о том, что в Красноярске мне в свое время помог Каплинский, я разыскал его в Москве, но кроме теплой беседы с воспоминаниями из этой встречи ничего не вышло. Тогда я вспомнил о Вере Николаевне Голубкиной, племяннице Анны Семеновны Голубкиной, знаменитого русского скульптора. Вера Николаевна была очень заметной фигурой в Москве. При помощи Сергея Ивановича Лукьянова (мужа Веры Голубкиной) мне удалось поступить на оформительские работы на ВДНХ, которая в те годы была кормушкой для всякого рода художественной братии. Посмотрев на мой паспорт, администраторша сделала гримасу, но все же взяла меня на работу. У меня настолько еще сохранялся дискриминационный страх, что я с облегчением вздохнул.

Бригада, в которую я попал, занималась оформлением павильона «Торф». Мне надлежало мастерить макет торфоразработок с соответствующими машинами величиной чуть ли не в спичечный коробок.

Ползимы я занимался этим скучным делом, пока мне не помогла Людмила Константиновна. Как натура необыкновенно тонкая и чуткая, она продолжала считать себя одной из причин моей рязанской драмы и пошла на трудный шаг — просить сильных мира сего, своих знакомых ученых — доктора исторических наук Николая Николаевича Воронина и директора Института археологии Академии наук члена-корреспондента Бориса Александровича Рыбакова.

К первому мы пошли «в гости» на его тесную, сплошь заставленную книжными шкафами квартиру в Серповом переулке, где я познакомился и с женой Н. Н. Воронина, Екатериной Ивановной Горюновой, тоже археологом. Николай Николаевич, конечно, ничего не знал о том, что я уже в 1929—1930 годах читал его исследования по древнерусской архитектуре, а когда узнал, то отнесся ко мне более внимательно и пообещал, что «сделает что может».

Разговор Людмилы Константиновны с Б. А. Рыбаковым был, вероятно, более доверительным. Людмила Константиновна даже сказала: «Он лучше меня». Вероятно, это уже решало все. Но случилось так, что в это же время в Москву приехал А. П. Окладников. Встреча с ним была особенно теплой. Он повел меня в

- 215 -

ресторан «Баку», а оттуда прямо в Институт археологии, к Б. А. Рыбакову и, представляя меня, сказал: «Я ручаюсь за него, как за самого себя». С такими рекомендациями я и был принят в Институт — предел моих мечтаний.

Без научной степени я, естественно, не мог быть зачислен в научные сотрудники, и был определен лаборантом в архивный отдел, над которым шефствовал доктор исторических наук Николай Николаевич Воронин. Я был счастлив, что попал под его начало. Правда, Воронин взял с меня слово, что я не буду стремиться попасть из архивного отдела в научный сектор, но это потом как-то забылось. Не столько мной, сколько им, что было важнее.

В архивном отделе мне надлежало регистрировать полевые (раскопочные) негативы, что было чрезвычайно нудным делом. Воронин обещал мне, что будет брать меня с собой на раскопки, а это было уже выходом в науку. Вскоре я получил извещение о реабилитации. Наконец-то после пяти и даже шестилетнего перерыва я возвращался к тому, что чуть было не потерял. Приходилось вторично начинать все с нуля.

- 215 -

В ИНСТИТУТЕ АРХЕОЛОГИИ

В Институте я далеко не сразу вышел из, по существу, подсобных рабочих. Инвентаризация негативов — это не дело для 47-летнего человека, бывшего преподавателя истории искусства. Кроме того, на меня еще смотрели, как на художника, умеющего красиво написать объявление. И от этого я не отказывался. Некоторые изменения в мое положение внесли два важных обстоятельства. Во-первых, я очень быстро написал две статьи по ангарским материалам: одну — о деревянном зодчестве старожиллов Приангарья, и другую — о зодчестве по Якутскому тракту. Вероятно, новизна материала способствовала довольно быстрой их публикации в журнале «Советская этнография». Во-вторых, поехав с Н. Н. Ворониным в 1956 году на раскопки в Ростов Ярославский, я изучил там (по совету сотрудницы Русского музея Э. С. Смирновой) очень своеобразную домовую резьбу и опубликовал третью статью в том же журнале «Советская этнография». Это была уже заявка на выход из плена негативов. Вскоре мне дали двух помощниц, и я мог свободнее заняться приведением в порядок и публикацией рязанских материалов. Об одном

- 216 -

рязанском памятнике я сделал доклад на секторе славяно-русской археологии. Я до сих пор помню оживленные выражения лиц у некоторых молодых сотрудниц: откуда взялся этот никому неизвестный искусствовед?

Между тем, этот «искусствовед» продолжал работать вовсе не искусствоведом. Он писал объявления, оформлял выставку по итогам годовых работ, участвовал в конкурсе на лучший фотоснимок. (Я получил вторую премию за портрет Али.) Я не имел права быть недовольным. Ведь у меня не было археологического образования, не было даже диплома из Рязанского художественного техникума. Все отняло у меня Рязанское НКВД. Все нужно было начинать сначала. Но я сознавал, что стою в начале настоящего, заветного пути и должен теперь надеяться только на себя.

Но КГБ не дремал. Едва я освоился в новых институтских условиях, как однажды меня вызвал в коридор какой-то человек и, показав книжечку (не помню надписи), начал прощупывать: доволен ли я работой, какова атмосфера в Институте и т. п. Я понял, что мое освобождение — это фикция, что я как был, так и остался в лапах органов. Боже мой, неужели я такая опасная личность!

Беседа свелась к тому, что в назначенный день мне надлежало явиться в определенный дом на улице Горького. Я пришел. Передо мной восседал полковник. Тут же был и «мой» агент. Сначала полковник стал узнавать, с кем из бывших ссыльных я встречаюсь. Естественно, я ответил: «Ни с кем». «А с Каплинским?» — последовал другой вопрос. Я сразу понял, что все мои шаги в Москве известны. Мне было предложено продолжать встречи и запоминать ведущиеся разговоры. Я тут же сообщил все Каплинскому, и мы в течение долгого времени играли в кошки-мышки, пока с увольнением Хрущева все это не прекратилось. С тех пор у меня что-то произошло с голосовыми связками, и я хриплю по нынешний день.

Но я не падал духом. Единственное, что я вспоминаю со стыдом, — я воздержался от встречи с вернувшейся из ссылки Ариадной Сергеевной Эфрон. Случай с Каплинским насторожил меня, и я боялся подвергнуть нас обоим опасности. Чтобы заглушить голос совести, я с головой ушел в работу. Творческий подъем у меня был очень большой. Дома мне помогали Аля и ее тетя, а в Институте — Николай Николаевич

Воронин и Борис Александрович Рыбаков. Оба были моими ровесниками, но ни одним словом не показывали своего преимущества, как в знаниях, так и в

- 217 -

ученых званиях. Это очень облегчало мое психологическое и моральное состояние.

Николай Николаевич помогал мне, беря на свои археологически раскопки, производимые в старых русских городах. Мы жили вместе и в доверительных разговорах сблизились настолько, что Николай Николаевич нередко обращался ко мне за каким-нибудь советом. Кроме того, он никогда не довел надо мной своими громадными знаниями, а иногда даже признавался, что знает очень мало. Это было, конечно, каким-то недомоганием, от которого Николай Николаевич периодически очень страдал. Постепенно Николай Николаевич забыл о взятом с меня обещании не переходить в научный сектор и сам подвинул меня на большой научный труд, каковым оказалась работа над реконструкцией первоначального вида фасадной скульптуры Георгиевского собора в городе Юрьеве-Польском начала XIII в. Эта работа открывала мне дорогу в большую науку. Я ограничиваюсь здесь этими краткими словами о Н. Н. Воронине, так как считаю своим долгом написать книгу о нем, к чему уже готовлюсь. Не могу пройти мимо одного наблюдения. Мне казалось, что Б. А. Рыбаков, которому я благодарен не менее (ведь это он принял меня в трудные годы в Институт), несколько огорчен тем, что мои отношения с ним не стали столь близкими, как с Ворониным. Однажды он даже сказал: «С кем поведешься, от того наберешься». Намек был на некоторые странности в психике Н. Н. Воронина. И это было верно. Ведь и у меня был «комплекс неполноценности в знаниях». Борис Александрович, наоборот, всегда поражал меня своим чуть ли не построчным знанием древнерусских летописей, почему мог вести речь о древнерусских событиях так, как будто все это было вчера и происходило на его глазах. Это — феноменально!

Борис Александрович Рыбаков тоже всячески покровительствовал моим архитектурным занятиям, так что регистрация негативов в архиве отодвигалась на второй план. А вскоре я и совсем освободился от этого, так как мне были даны две молодые помощницы. Я должен был только консультировать их. С изменением моего положения в институте я стал числиться не лаборантом, а исполняющим обязанности младшего научного сотрудника с правом находиться в научном секторе. В это время стали появляться и первые мои научные публикации.

Большую роль в моем научном становлении-воскресении сыграли поездки с Н. Н. Ворониным в Суздаль (1959 г.) и Б. А. Рыбаковым в Любеч (1960 г.). Во время работы в Суздале я впервые

- 218 -

увидел древние белокаменные храмы Владимира, Боголюбова и знаменитую церковь Покрова на Нерли, о чем мечтал с молодости. Архитектура самого Суздаля увлекла меня своим изяществом. Главное же, именно в эту поездку я наконец-то воочию познакомился с таинственным Георгиевским собором, изучению которого отдал пять лет.

В Любече при содействии Б. А. Рыбакова, я окупился в русский XII в., что родило целый ряд моих живописных реконструкций. Любечская экспедиция была исключительно романтической. В выходные дни мы ездили на песчаные днепровские острова, а вечерами Борис Александрович подолгу доверительно беседовал со мной. Душой хоровой самодеятельности был молодой сотрудник Пудовин, вскоре неожиданно покончивший с собой... По вечерам мы много пели хором, и казалось, что молодость вернулась ко мне.

При всестороннем рассмотрении, пожалуй, работа по изучению первоначального вида Георгиевского собора, его скульптуры и мастеров была для меня как бы стержневой и основополагающей. Она требовала очень больших знаний, как натуральных, так и исторических, искусствоведческих, профессиональных. Надо было много читать. Я был еще работоспособен. С переводами мне очень помогала Екатерина Александровна. Так, она полностью перевела мне с немецкого основное сочинение Фанины Халле «Русская романика», а с французского — большие разделы многотомника Л. Рео о христианской иконографии. Но, конечно, надо бы хорошенько исследовать все фасадные рельефы Георгиевского собора в натуре. Известно было, что во время перестройки собора в XV в. все его рельефы были перепутаны. Вместе с фотографом Ю. В. Нескверновым я ездил в Юрьев-Польской каждое лето. Шаг за шагом удалось реконструировать отдельные композиции, потом соединить их в более крупные группы и, наконец, распределить по фасадам здания в его первоначальной форме. Передо мной предстала целая картина мироустройства в представлении человека XIII в. Многовековой ребус был разгадан.

Когда в 1964 году вышла моя первая книга «Скульптура Владимиро-Суздальской Руси, город Юрьев-Польской», то это произвело большое впечатление. Дмитрий Сергеевич Лихачев, с которым я еще не был лично знаком, сразу откликнулся похвальной рецензией, причем не где-нибудь, а в самом авторитетном журнале «Новый мир».

О Дмитрие Сергеевиче Лихачеве я, конечно, был очень наслышан, поэтому его положительный отклик на мою книгу стал

- 219 -

для меня душевным праздником. Когда вскоре Дмитрий Сергеевич появился в нашем институте, то я только и мог совершенно по-детски произнести: «Так вот вы какой!» С тех пор отечественный и международный авторитет Д. С. Лихачева рос стремительно, он стал мировой величиной, и я горжусь тем, что его отношение ко мне всегда оставалось неизменно добросердечным. Вернусь к своей книге.

Меня многие поздравляли. А когда в 1966 году вышла книга о мастерах и о стиле скульптуры Георгиевского собора, то сразу возник вопрос о защите диссертации. К этому времени кроме двух книг у меня было опубликовано, кажется, около 60 статей, чего, конечно, было достаточно для защиты. Но я не решался на этот шаг. Во-первых, у меня не было никакого диплома. Во-вторых, надо было сдавать кандидатский минимум. Сдавать экзамен по философии и иностранному языку в 58 лет! Это для нормального здорового человека далеко не по плечу. А мне после концлагеря, битья резиновой дубинкой по черепу, нервного истощения, при котором я не мог равнодушно слышать о диктатуре партии... о каком экзамене могла идти речь! Друзья-археологи подбадривали меня, одна из добрых сотрудниц шутя говорила, что готова переодеться мужчиной и сдать за меня французский язык...

Делались и административные попытки облегчить мне защиту диссертации. Дирекция Института археологии АН СССР, дирекции двух Институтов истории искусств при АН СССР и при Академии художеств СССР, а также Институт русского языка бомбардировали ВАК, председателя ВАК В. П. Елютина просьбами разрешить мне в виде исключения защиту диссертации без диплома и без сдачи кандидатского минимума. На все просьбы приходили отказы. Наконец, пришло разрешение на защиту без диплома. Я продолжал отказываться, работал над новыми и новыми статьями, число их увеличивалось. Ближайшие друзья не оставляли дела на полдороге и искали выхода. Брат моей ближайшей коллеги Н. Н. Белецкой, занимающий какое-то важное место в Ленинграде, посоветовал мне подать соответствующее заявление Елютину не как Председателю ВАК, а как Министру высшего образования. Я так и сделал.

И что же? Ровно через месяц получаю разрешение. Мне даже не верилось: неужели сбылось! В Институте археологии все было немедленно организовано, причем Б. А. Рыбаков предусмотрел защиту одновременно и докторской диссертации. Для этого были назначены не три, а четыре оппонента. Ими были: член-коррес-

- 220 -

пондент АН СССР А. В. Арциховский, доктор искусствоведения В. Д. Блаватский и два доктора исторических наук — О. И. Подобедова и С. О. Шмидт. 15 марта 1968 года защита успешно (единогласно) состоялась. Сначала я стал кандидатом, а через 10 минут (второе голосование) — доктором искусствоведения. Произошло это на тринадцатом году пребывания в Институте. Мне стукнуло 60 лет...

Таков был результат моих первых рязанских, еще полудилетантских занятий, колымских мечтаний, бельских попыток не угасить интереса к древнерусскому искусству и, наконец, активных институтских исследований. На все это потребовалось (с учетом репрессий), примерно, 38—40 лет! Думается, что, несмотря на разные препятствия, я все же выдержал испытание. Во всяком случае, подобного события в Институте археологии еще не было.